ИЛЛЮМИНАТОР

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Майкл Каннингем

Дом на краю света



Michael Cunningham

A Home at the End of the World

Дом на краю света
Майкл Каннингем

Аннотация
Майкл Каннингем. Дом на краю света
Вступление
ДОМ НА КРАЮ СВЕТА
  Часть I
    Бобби
    Джонатан
    Бобби
    Джонатан
    Элис
    Бобби
    Элис
  Часть II
    Джонатан
    Бобби
    Клэр
    Бобби
    Клэр
    Джонатан
    Элис
    Джонатан
    Клэр

Бобби
Клэр
Джонатан
Часть III
Бобби
Клэр
Элис
Джонатан
Бобби
Джонатан
Клэр
Бобби
Джонатан

Аннотация

Роман-путешествие во времени (из 60-х в 90-е) и в пространстве (Кливленд-Нью-Йорк-Финикс-Вудсток) одного из самых одаренных писателей сегодняшней Америки, лауреата Пулитцеровской премии за 1999 г. Майкла Каннингема о детстве и зрелости, отношениях между поколениями и внутри семьи, мировоззренческой бездомности и однополой любви, жизни и смерти.

На обложке: фрагмент картины Дэвида Хокни «Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)», 1971.

___

Майкл Каннингем родился в 1952 году в глухом углу американского штата Огайо. Уже первые его работы публиковались в самых популярных американских журналах, а в 1989-м рассказ «Белый ангел» был назван лучшим коротким рассказом США.

В 1999-ом Каннингем стал лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Часы», который тогда же признали лучшим романом года. Три года спустя экранизация «Часов» с Ни-

коль Кидман, Джулианой Мур, Мерил Стрип в главных ролях обошла киноэкраны всего мира. «Дом на краю света» — это, как всегда у Каннингема, мастерски и рискованно написанная панорама современной городской жизни. Потому в Голливуде с такой охотой берутся за сценарии по романам американского автора. Вслед за «Часами» в прокат вышел «Дом на краю света», сценарий к которому написал сам Каннингем, а главные роли исполнили такие звезды, как Колин Фарелл и Сисси Спейсек.

Майкл Каннингем
Дом на краю света

Вступление

«Дом на краю света» — первая книга Майкла Каннингема. В кратком предисловии к нью-йоркскому изданию Каннингем пишет, что работал над ней шесть лет и в не слишком комфортабельных условиях. По его словам, проблемой — особенно вначале — было буквально все «от исправной пишущей машинки до крыши над головой». В 1990 году, когда книга вышла в свет, ее автору исполнилось тридцать семь.

Действие романа начинается в середине 60-х — в эпоху «глупого оптимизма», как в интервью английскому журналу «Индепендент» (март, 1991) определяет эти годы сам Каннингем — и заканчивается на пороге 90-х, в совсем другом историческом воздухе. Все вывески и таблички, среди которых — несмотря на беды и неурядицы — мы как-то устроились обжились, вдруг разом выцвели и отлетели. Прежние объяснения уже

ничего не объясняют. Во всяком случае, так представляется Каннингему. Человек в пространстве его романа вновь оказывается один на один с огромным, непонятным и непредсказуемым миром — беззащитный и немножко смешной («галактики взрываются над его головой, а он в одних трусах в горошек»), так же плохо готовый к смерти, как и к жизни. Персонажи «Дома на краю света» ни в чем не уверены, даже когда — изредка — совершают решительные поступки. «Солнышко, — обращается к дочери одна из главных героинь: — когда-нибудь ты скажешь мне «спасибо»... — И тут же добавляет: — А может быть и нет». Такое отсутствие определенности задает особый пульсирующий ритм всей книге. Каннингему — и в этом, по-моему, один из секретов его художественного обаяния — стыдно утверждать, что он что-то знает, гораздо более стыдно, чем признаться в незнании. Это роднит автора с его персонажами, которые тоже не спешат делиться друг с другом своими самыми важными догадками. Открытые

читателю, эти крупицы «несомненного» — по крайней мере для них самих — знания, как правило, не выходят за пределы их внутренних монологов.

Отвечая на неминуемый вопрос об автобиографичности романа, касающегося таких больных тем, как взаимоотношения внутри семьи и между поколениями, однополая любовь, наркотики, СПИД, старение и одиночество, Каннингем в уже цитированном интервью предостерегает против прямых переносов и отождествлений. «Я не есть ни один из моих героев, — заявляет он. И продолжает: — Я заметил, что, если я начинал писать слишком автобиографично, получалось либо чересчур сентиментально, либо чересчур зло».

«Дом на краю света» — очень интимная и, при всей своей откровенности, очень целомудренная книга. Являясь — как и во всякой глубокой книге — главным объектом сюжета и основной пружиной сюжета, Тайна лишь просвечивает сквозь мастерски разработанную «бытовую» ткань, никогда не попадая на

первый план, где неизбежны нарочитость и искажения. Такая сдержанность позволяет Каннингему полностью освободить книгу от нравоучений, сохранив ее «сквозную» поэтику и сложно-зеркальную композицию. Недаром роман завершается эпизодом на озере, прозрачно рифмующимся с «водной» сценой из первой части.

Судя по стихотворному эпиграфу из Уоллеса Стивенса, да и по роду занятий, Каннингем — может быть, в этом-то и заключается положительный «message» романа? — верит в творчество, которое, как и дружба (в нее писатель тоже, кажется, верит), хотя и не может принести счастья — по крайней мере надолго («Я бы не сказал, что я был счастлив. Дело обстояло несколько сложнее»), — способно подарить «чувство дома», по которому так тоскуют его герои и, наверное, его читатели.

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН

ДОМ НА КРАЮ СВЕТА

Посвящается Кену Корбетту

Поэма, ставшая домом

И, поставив точку, он понял,
Что теперь у него есть гора,
И воздух, которым можно дышать,
И собственная дорога.
Он выстроил пространство, в котором
Все было на своих местах:
И слова, и сосны, и облака,
И совершенная даль, прощающая несовершенство.
Книга обложкой вверх пылилась у него на столе —
И, вечно ошибающийся, он безошибочно вышел
К скале, повисшей над морем,
И, вскарабкавшись на нее, лег,
С изумлением чувствуя, что он дома,

У себя дома.

Уоллес Стивенс

Часть I
Бобби

Однажды отец купил кабриолет «шевроле». Ни о чем не спрашивайте. Мне было пять лет. Просто в один прекрасный день он приехал на нем домой, причем с таким небрежным видом, словно купил не автомобиль, а пачку мороженого. Вообразите удивление матери, которая аптечные резинки и те хранила про запас на дверных ручках; мыла и вывешивала сушиться на веревочке полиэтиленовые пакеты, болтавшиеся потом на солнце, как ручные медузы. Представьте, как, пытаясь отбить сырный дух, она скоблит очередной пакет, уже послуживший ей по меньшей мере раза три-четыре, а тут подкатывает отец на «шевроле», подержанном, но все-таки настоящем, с хромированными бамперами, — огромный сверкающий металлический остров, целый мир серебристой автомобильной плоти.

Кабриолет с надписью «Продается» на лобовом стекле стоял в центре города, и отец решил, что он тот самый человек, который способен вот так просто взять и купить. Впрочем, уже при подъез-

де к дому его маниакальный энтузиазм заметно слабеет. Автомобиль — уже обуза. Застывшая улыбка, с которой он сворачивает к гаражу, идеально гармонирует с акульим оскалом радиаторной решетки.

Разумеется, машину придется продать. Мать к ней даже не подойдет. Нас с моим старшим братом Карлтоном один раз прокатят. Карлтон — в восторге. Я настроен скептически. Если отец может купить машину на улице, чего еще от него ждать? Кем делает его этот поступок?

Он везет нас за город. Придорожные стоянки завалены яблоками. На фермерских участках желтеют тыквы. Карлтон в диком возбуждении все время вскакивает на ноги, и его приходится тянуть вниз. Я помогаю. На Карлтоне ковбойский ремень с заклепками. Отец хватает его с одного боку, я — с другого. Мне это нравится. Я делаю полезное дело: помогаю держать Карлтона.

Мы проезжаем большую ферму, застывшую, как корабль на приколе, в волнах пшеницы. Белая крыша призрачно светится в вечерней дымке. Все мы, даже Карлтон, невольно замолкаем. В этом месте как будто есть что-то родное. Коровы жуют траву, деревья отбрасывают длинные тени. Мы — фермеры, говорю я себе, и вместе с тем

нам по карману кабриолет! На свете нет ничего невозможного! Когда вечером я еду на машине, мне кажется, что луна плывет следом.

— Мы дома! — кричу я, когда мы проносимся мимо фермы, сам не понимая, что говорю, — от совместного воздействия ветра и скорости в голове у меня явно что-то спуталось. Но ни Карлтон, ни отец ни о чем меня не спрашивают. Мы рассекаем живую тишину. Уверен, что в этот момент всем нам грезится одно и то же. Я запрокидываю голову, чтобы убедиться, что белый шар луны и вправду скользит за нами по бледно-сизому небу. Но вот Карлтон снова вскакивает и что-то кричит, подставив лицо бешеному напору встречного ветра, а мы с отцом тянем его назад, на сиденье этой огромной машины, туда, где ему ничто не угрожает.

Джонатан

В сумерках мы собрались на темнеющем гольфовом поле. Мне пять лет. В воздухе пахнет свежескошенной травой, и в сгущающейся мгле тускло поблескивают песчаные ловушки. Я еду на плечах у отца — одновременно всадник и пленник его огромности. Голыми ногами я, вздрагивая

от щекотки, прижимаюсь к его колючим, как наждачная бумага, щекам, а руками держу его за уши — большие, мягкие раковины, усеянные мелкими волосками.

В полумраке мамины красные губы и покрытые лаком ногти кажутся черными. Мать беременна — это уже заметно, — и люди уступают ей дорогу. Мы раскладываем свои алюминиевые шезлонги на второй травяной дорожке. Народу по случаю праздника видимо-невидимо. Там и сям над переносными жаровнями поднимаются струйки пахучего дыма. Я забираюсь к отцу на колени, и мне разрешают хлебнуть пива. Мать обмахивается воскресным юмористическим журналом. В сиреневом воздухе над нами кружатся комары.

В тот год для устройства фейерверка на Четвертое июля в Кливленд пригласили двух знаменитых братьев-мексиканцев. Эти братья показывали свои шоу в дни государственных и религиозных праздников по всему миру. Они родились в мексиканской глубинке, там, где хлеб выпекают в виде черепов и мадонн, а фейерверки предпочитают вершиной искусства.

Представление началось еще до появления первой звезды. Первые номера были невыразительны. Словно поддразнивая собравшихся,

братья начали с заурядных двойных и тройных петард, спиральных шутих и аэрозольных радуг, распадавшихся на грязновато-бурые орхидеи цветного дыма. Ничего сногсшибательного. Но вот, выдержав паузу, они взялись за дело всерьез. Оставляя в воздухе тонкий серебристый шлейф, вертикально вверх взметнулась новая ракета и, взорвавшись на излете, обратилась в пылающую лилию о пяти лепестках, а на конце каждого лепестка вспыхнуло еще по цветку. По толпе пробежал гул одобрения. Отец, обхватив громадной загорелой ладонью мой живот, спросил, нравится ли мне представление. Я кивнул. Завитки темно-русых волос густо выбивались из-под ворота его летней полосатой рубашки. Над нами на серебристых стеблях расцвело еще несколько лилий — малиновых, желтых и розовато-лиловых. Затем по небу принялись разгуливать гигантские змеи — по дюжине за раз, — со свистом изрыгавшие оранжевое пламя. Они сходились, расходились, снова сплетались, вычерчивая в воздухе невероятные кривые и неустанно шипя. Потом пространство заполнилось огромными беззвучными снежинками — одни были правильными кристаллами безупречной белизны, а из других в какой-то момент соткалась статуя

Свободы с голубыми глазами и рубиновыми губами. У тысяч зрителей вырвался вздох восхищения, раздались аплодисменты. Я помню шею отца в пятнышках засохшей крови, шероховатую кожу, неплотно облегающую узловатое устройство, поглощающее пиво. Когда я вскрикивал от какого-нибудь чересчур громкого залпа или от того, что несгоревшие цветные угольки падали, казалось, прямо на голову, отец успокаивал меня, уверяя, что бояться абсолютно нечего. Звук его голоса гулко отдавался у меня в животе и в ногах. Его ладные руки — на каждой ровно посередине как бы нехотя проступала одна-единственная вена — держали меня крепко и надежно.

Я хочу рассказать о физической красоте отца. Я понимаю, что это не принято. Как правило, рассказывая об отцах, выделяют такие их качества, как бесстрашие или безудержный гнев, иногда даже нежность. Но я — вспоминая своего отца — хочу особо отметить его безусловную красоту: симметричную мощь его гибких рук, светлых и мускулистых, словно вырезанных из ясеня; упругое изящество его легкой походки. Это был невысокий, плотный, пропорционально сложенный человек; темноглазый владелец кинотеатра, тихо влюбленный в кинематограф. У матери слу-

чались приступы мигрени и раздражительности, отец же всегда был бодр, всегда куда-то спешил и всегда надеялся на лучшее.

Когда он уходил на работу, мы с матерью оставались дома одни. Она либо выдумывала для нас какие-нибудь комнатные игры, либо просила меня помочь ей на кухне. Она не любила гулять, особенно зимой, потому что от холода у нее начинала болеть голова. Мать была родом из Нового Орлеана. Миниатюрная женщина с точными движениями. Замуж она вышла совсем юной. Иногда она садилась у окна (я должен был сидеть рядом) и глядела на улицу, словно в ожидании той минуты, когда зимний заоконный пейзаж превратится наконец во что-то привычное, во что-то такое, чему можно будет довериться с естественной беззаботностью полнокровных, громогласных огайских матрон, уверенно пилотирующих свои колоссальные автомобили, набитые продуктами, детьми и престарелыми родственниками. Исполинские пикапы громыхая проносились мимо нашего дома, подобные разукрашенным танкам на парадах в честь военных побед.

— Джонатан, — шептала мать. — Эй, малыш! О чем ты думаешь?

Это был ее любимый вопрос.

— Не знаю, — отвечал я.

— Расскажи что-нибудь, — просила она. — Расскажи мне какую-нибудь историю.

Я понимал, что нужно что-то говорить.

— Ребята идут с санками к реке, — начинал я. (За окном двое соседских мальчишек в шерстяных клетчатых шапочках тянули по снегу облезлый снегокат. Они были старше меня и вызывали во мне смешанное чувство страха и восхищения).

— Они идут кататься по льду. Но им нужно быть осторожными — там проруби. Один маленький мальчик недавно провалился в прорубь и утонул.

Так себе рассказ! Но ничего лучшего придумать с ходу я просто не мог.

— Откуда ты об этом знаешь? — спросила она.

Я пожал плечами. Мне казалось, я сам это выдумал. Я не всегда умел отделить то, что происходило на самом деле, от того, что только могло произойти.

— Ты боишься? — спросила она.

— Нет.

Я представил, как скольжу по широкой ледяной глади, ловко огибая полыньи с рваными, зазубренными краями, куда с печальным, обре-

ченным, едва различимым всплеском падают другие мальчики.

— С тобой ничего плохого не случится, — сказала мать, гладя меня по голове. — Ни о чем не беспокойся. Нам с тобой ничто не угрожает.

Я кивнул, хотя и услышал нотки неуверенности у нее в голосе. На ее лице — у матери был тяжелый подбородок и маленький нос — дрожал резкий отблеск холодного зимнего света, ударившегося об обледенелую мостовую и зеркальным рикошетом угодившего к нам в дом, где, гуляя по комнатам, он то вспыхивал на столовом серебре, то переливался на гранях люстры.

— А как насчет какой-нибудь *смешной* истории? — спросила мать. — По-моему, было бы сейчас очень кстати.

— Хорошо, — отозвался я, хотя не знал ни одной смешной истории. Юмор был для меня чем-то совершенно загадочным. Я умел рассказывать лишь о том, что видел. За окном появилась мисс Хайдеггер, старушка из соседнего дома. Можно было подумать, что ее пальто сшито из мышиных шкурок. Она подобрала газетный лист, занесенный ветром к ней во двор, и проковыляла обратно в дом. Из разговоров родителей между собой я знал, что мисс Хайдеггер смешная. Смешными

считались ее страсть к безупречной чистоте и ее убежденность в том, что школы, телефонная компания и лютеранская церковь находятся в руках коммунистов. Отец иногда говорил высоким надтреснутым голосом:

— Эти коммунисты опять прислали нам счет за электричество. Попомните мои слова: они выживают нас из наших домов!

Услышав что-нибудь в этом роде, мать всегда смеялась, даже тогда, когда и вправду надо было оплачивать счета и на лице у нее проступала тревога, особенно заметная в глазах и в уголках рта.

Сидя в тот день у окна, я тоже решил попробовать изобразить мисс Хайдеггер. Писклявым, срывающимся голосом, вообще говоря, не сильно отличавшимся от моего собственного, я произнес:

— Посмотрите, эти гадкие коммунисты закинули газету на мой участок!

Я встал, на негнущихся ногах прошаркал на середину комнаты и, взяв с журнального столика «Тайм», потряс им над головой.

— Эй, коммунисты! — проквакал я. — Оставьте нас в покое! Перестаньте выживать нас из наших домов!

Мать восхищенно расхохоталась.

— А ты злой, — сказала она.

Я подошел к ней, и она ласково взлохматила мне волосы. Солнечный свет трепетал на тюлевых занавесках и клубился в глубокой голубой конфетнице на столике у дивана. Нам ничто не угрожало.

Отец работал с утра до ночи. Днем он приходил домой обедать и снова уходил. Я до сих пор не понимаю, чем он занимался все это время, — по моим представлениям, управление одним-единственным не слишком процветающим кинотеатром не могло требовать присутствия владельца с раннего утра до позднего вечера. Однако отец работал именно так, и мы с матерью ни о чем его не расспрашивали. Он зарабатывал нам на жизнь, на дом, защищавший нас от кливлендских зим. А знать больше нам и не требовалось.

Приходя домой обедать, отец приносил на себе запах мороза. Он был как дерево за окном — такой же большой и непреложный. Когда он раздевался, золотистые волоски на его руках поднимались и наэлектризованно подрагивали в мягком, прогретом воздухе гостиной.

Однажды за обедом отец похлопал мать по животу, ставшему к тому времени круглым и твердым, как баскетбольный мяч, и заявил:

— Тройня! Придется покупать новый дом. Две спальни нас уже не устроят. Нет, даже думать нечего!

— Давай сначала расплатимся за отопление, — ответила мать.

— Через год, всего один год, — продолжал он, — мы сможем позволить себе дом попросторнее.

Отец часто говорил о переменах. Если вести себя должным образом, все обязательно устроится. Нужно только следить за своими поступками и мыслями.

— Посмотрим, — миролюбиво отозвалась мать.

Отец встал и погладил ее плечи, которые при этом целиком исчезли у него в ладонях. Наверное, если бы захотел, он мог обхватить ее шею большим и средним пальцами одной руки.

— Ты думай о ребенке, — сказал он, — и о своем здоровье. Остальное я беру на себя.

Мать не противилась его ласкам, но — судя по выражению лица — удовольствия от них не получала. С приходом отца ее взгляд становился таким же настороженным, как и во время наших совместных выходов на улицу. Она начинала нервничать, как будто вместе с отцом в дом проникало что-то постороннее, что-то из чужого, заоконного мира.

Отец надеялся, что мать что-нибудь ответит, чтобы можно было и дальше плыть в этом нескончаемом потоке наших семейных разговоров. Но она молчала. Ее плечи под его пальцами были болезненно напряжены.

— Ну что ж, мне пора на работу, — наконец произнес он. — До встречи, старина! Ты уж присматривай тут за всем!

— Хорошо, — сказал я.

Он похлопал меня по спине и крепко поцеловал в щеку. Мать встала и начала мыть посуду. Я остался сидеть за столом, наблюдая, как отец прячет свои сильные руки в рукава пальто и вновь исчезает за дверью.

В тот вечер, когда мать, уложив меня в постель, смотрела внизу телевизор, я прокрался в ее комнату и накрасил губы ее помадой. Даже в темноте я разглядел, что ничего особенно обворожительного не вышло — больше всего я был похож на клоуна. Но все-таки я выглядел по-новому. Я нарумянил щеки и нарисовал черные брови поверх собственных бесцветных.

Потом я на цыпочках проскользнул в ванную. Снизу доносились мелодичный смех и переливы негромкой музыки. Я поставил табурет на то место, где, бреясь по утрам, всегда стоял отец,

залез на него и заглянул в зеркало. Мои крашеные губы были огромными и бесформенными, румяна лежали неровно. Я не был красавцем, но мне казалось, что при определенных условиях я могу им стать. Нужно только следить за своими поступками и мыслями. Осторожно, так, чтобы не скрипнули несмазанные петли, я открыл дверцу подвесной аптечки и вытащил папин баллончик с «Барбазолом». Я точно знал, что делать: энергичным, нетерпеливым движением баллончик следовало встряхнуть, затем напрыскать на левую ладонь воздушную горку белоснежной пены и, наконец, с беспечной щедростью нанести ее на подбородок и шею. Накладывание косметики требует собранности минера; бритье — торопливое действие, лишенное всякой тщательности. После него на коже остаются багровые точки запекшейся крови, а в раковине — жалкие комки слипшихся волосков, безжизненных, как лоскутки змеиной кожи.

Намылив подбородок, я долго смотрелся в зеркало. Мои подведенные глаза темнели, как пауки, над застывшими волнами снежной пены. Я не был похож ни на женщину, ни на мужчину. Я был чем-то еще, чем-то особенным. В тот момент я понял, что есть много способов стать красивым.

Мамин живот все рос и рос. Во время одного из наших походов по магазинам я потребовал и получил пластмассовую куклу с ярко-алыми губами и васильковыми глазами, захлопывающимися — миниатюрные веки-ставенки издавали при этом характерный клацающий звук, — когда куклу переворачивали на спину. Подозреваю, что покупка куклы не была случайностью. Вероятно, родители рассчитывали таким образом помочь мне справиться с комплексом обделенности. Мать научила меня пеленать и купать куклу в кухонной раковине. Даже отец проявлял интерес к здоровью моего игрушечного ребенка.

— Ну, как малышка? — спросил он как-то перед обедом, когда я вынимал негнущееся тельце из раковины.

— Хорошо, — сказал я.

Вода вытекала из ее сочленений. От ее желто-лимонных волос, пучками торчавших из аккуратных дырочек в черепе, пахло мокрым свитером.

— Славная девочка, — сказал отец и погладил твердую пластмассовую щеку своим огромным пальцем.

Я ликовал. Значит, он тоже ее любит.

— Да, — сказал я, заворачивая безжизненное

созданье в толстое белое полотенце.

Отец опустился на корточки, пахнув на меня пряным запахом своего одеколона.

— Джонатан! — сказал он.

— А?

— Ты ведь знаешь, что вообще-то мальчики не играют в куклы?

— Угу.

— Это твой ребенок, — сказал отец, — и когда ты дома, все в порядке. Но другие ребята могут тебя не понять. Поэтому играй с ней только здесь, хорошо?

— Хорошо.

— Значит, договорились, — он похлопал меня по плечу, — ты будешь играть с ней только в доме.

— Хорошо.

Я стоял перед ним, маленький, со спеленутой куклой в руках, испытывая первое в жизни настоящее унижение. Я вдруг увидел всю дикость, всю несуразность своего поведения. Разумеется, я знал, что это всего лишь игрушка, причем чуть-чуть позорная, какая-то неправильная игрушка! И как только я мог позволить себе думать иначе?

— Ты себя нормально чувствуешь? — спросил отец.

— Угу.

— Вот и отлично. Ну, мне пора! Проследи тут за всем!

— Папа!

— Что?

— Мама не хочет ребенка, — сказал я.

— С чего ты взял? Конечно хочет.

— Нет. Она мне сама сказала.

— Джонатан, детка, и мама, и папа очень рады, что у нас будет еще один ребеночек. А ты разве не рад?

— Мама совсем не хочет. Она мне сама сказала. Она говорит, что он тебе нужен, а ей нет.

Я взглянул в его огромное лицо и почувствовал, что добился некого подобия контакта. Его глаза вспыхнули, а на носу и щеках проступила сетка кровеносных сосудов.

— Неправда, дружище, — сказал он. — Просто мама иногда говорит не совсем то, что думает. Поверь, она рада этому ребенку не меньше нас с тобой.

Я молчал.

— Ну вот, я уже опаздываю, — сказал он. — Поверь, когда у тебя появится сестренка или братик, мы все ее ужасно полюбим. Или его. Ты будешь старшим братом. Все будет замечательно!

Он немного помолчал и добавил:

— Присматривай тут за всем, пока меня нет.

Потом погладил меня по щеке своим гигантским большим пальцем и ушел.

Ночью я проснулся от приглушенного шума, доносившегося из-за двери родительской спальни в конце коридора. Мать с отцом переругивались свистящим шепотом. Я лежал и ждал, сам не знаю чего. Вскоре я уснул, и до сих пор у меня нет полной уверенности, не приснилась ли мне эта ссора. Мне и сегодня бывает трудно отделить то, что произошло на самом деле, от того, что только могло произойти.

Когда однажды декабрьским вечером у матери начались схватки, меня оставили с нашей соседкой, мисс Хайдеггер, мутноглазой подозрительной старушкой. Ее волосы от чересчур заботливого ухода превратились в редкие седые волосы, сквозь которые просвечивала розоватая кожа черепа.

Пока я наблюдал, как родители садятся в машину, мисс Хайдеггер стояла рядом, источая легкий аромат увядших роз. Когда машина скрылась из виду, я сказал:

— Вообще-то мама не собирается рожать.

— Не собирается? — вежливо переспросила

она, явно не зная, как вести себя с детьми, когда они начинают говорить странные вещи.

— Она не хочет рожать, — продолжал я.

— Ну-ну, знаешь, как ты полюбишь малыша! Вот привезут его мама с папой домой, сам увидишь, какой он будет сладенький! Ты даже представить себе не можешь!

— Мама не хочет ребенка, — не унимался я. — Он нам не нужен.

Тут мисс Хайдеггер не выдержала. Ее морщинистые щеки густо покраснели, и, возмущенно фыркнув, она ушла на кухню готовить ужин. Она приготовила какую-то болтанку из чего-то мягкого и вареного, что мне, с моим детским пристрастием к нежной пище, страшно понравилось.

Отец позвонил из больницы уже за полночь. Мы с мисс Хайдеггер оказались у телефона одновременно. Мисс Хайдеггер — в голубом фланелевом халате — сняла трубку и застыла, неестественно выпрямившись, часто-часто кивая морщинистой головой. Я догадался, что что-то случилось, по ее глазам, вдруг подернувшимся тончайшей сверкающей пленкой, — так выглядит лед на реке перед тем, как окончательно растаять, когда это даже не лед, а скорее призрак льда, парящий над

лучисто-карей водой.

Ребенок отменяется, объяснили мне, как авиарейс или подгоревший пирог. Лишь много лет спустя по каким-то обрывочным фразам мне удалось восстановить реальную картину обмотавшейся пуповины и разорванной плоти.

У матери была клиническая смерть, и ее чудом вернули к жизни. Ей пришлось сделать полное выскабливание. Новорожденная девочка скончалась сразу, успев лишь один-единственный раз пискнуть под флюоресцентными лампами родильного отделения.

По-видимому, у отца просто не было сил сообщить мне эту новость, и он предоставил это мисс Хайдеггер. Когда она положила трубку, ее лицо выражало такое смятение, с каким, наверное, приветствуют саму смерть. Я понял, что произошло что-то ужасное.

— Бедные вы, бедные, — пробормотала она, — бедный мальчик.

Случившееся, хотя я так и не понял, что именно случилось, явно давало повод для скорби. Но несмотря на все мои старания почувствовать себя несчастным, я, напротив, ощущал воодушевление и чуть ли не радовался возможности хорошо себя проявить в непростой ситуации.

— Ты только не пугайся, детка! — сказала старушка влажным голосом с призвуком подлинного ужаса. В горле у нее что-то булькало. Поколебавшись, я повел ее к стулу, и — к моему удивлению — она послушно пошла за мной. Сбегав на кухню, я принес ей стакан воды — ничего более подходящего к случаю я придумать не мог.

— Ты только не пугайся, я побуду с тобой, — повторила она, когда я положил на стол подставку для стакана. Она попробовала затянуть меня к себе на колени, но у меня не было ни малейшей охоты там сидеть. Я остался стоять у ее ног. Она погладила меня по волосам, а я дотронулся до ее острого узловатого колена, обтянутого фланелью.

— А казалось бы, так хорошо себя чувствовала! Так чудно выглядела! — произнесла она с какой-то обреченной полувопросительной интонацией.

Осмелев, я прикоснулся к ее тонкой, дряблой старческой руке.

— Ах ты бедняжка, — сказала она. — Ты только не бойся, я никуда не уйду.

Я стоял, не выпуская ее костлявой руки. Она улыбнулась. Мелькнула ли тень удовольствия в ее улыбке? Может быть, и нет. Скорее всего,

мне просто показалось. Я нежно поглаживал ее руку. Мы провели так довольно много времени, притихшие, но не сломленные и смутно довольные собой, — как две старые девы, научившиеся находить утешение в бездонном море людского страдания.

Мать вернулась из больницы через неделю, замкнутая и как будто смущенная. Войдя в дом, они с отцом огляделись по сторонам так, словно попали сюда впервые, и то, что они увидели, не вполне соответствует их ожиданиям.

В отсутствие матери мисс Хайдеггер населила наши комнаты собственными запахами: смесь водянистого амбре ее цветочных духов с ароматами непривычной еды. Она пожала родителям руки и торопливо юркнула за дверь, как будто в доме с минуты на минуту должен был вспыхнуть пожар.

Как только соседка ушла, мать с отцом опустились рядом со мной на колени. Они окружили, буквально окутали меня собой, и я зарылся в них, провалился в их родные свежие запахи.

Отец заплакал. Я никогда до этого не видел его в слезах, а тут он рыдал в голос, издавая клокочущие, склизкие всхлипы, похожие на те звуки, что производит засорившийся кран. В порядке

эксперимента я положил свою руку на его. Он не скинул ее, не обругал меня. Его светлые волоски торчали у меня между пальцами.

— Все в порядке, — прошептал я, но, кажется, он меня даже не слышал. — Все в порядке, — сказал я громче.

Однако заметного облегчения мои слова ему не принесли.

Я взглянул на мать. Она не плакала. Ее лицо было бледным и пустым, словно вовсе лишенным выражения. Мать напоминала полое тело, в которое не вдохнули еще человеческую душу. Но, почувствовав на себе мой взгляд, она резким сомнамбулическим движением притянула меня к груди. От неожиданности я выпустил отцовскую руку. Мать с силой вдавила мое лицо в складки своего пальто, и я потерял отца. А она прижимала меня к себе все сильнее и сильнее. Мои уши и нос уже полностью исчезли в меховом ворсе. Рыданья отца стали глуше — миновав поверхностный холодный слой, я все глубже вжимался в родное душистое тепло. В какой-то момент я попытался вырваться и возвратиться к отцу, но силы были слишком неравными. И тогда, перестав сопротивляться, я целиком отдался более хищному горю матери.

Мать сделалась еще большей домоседкой, чем прежде. По утрам она часто брала меня к себе в постель, где мы порой оставались до полудня: читали, смотрели телевизор, играли в игры и рассказывали друг другу истории. В глубине души я знал, чем мы занимаемся в эти долгие утренние часы: готовимся к тому времени, когда нас будет только двое. Мы учились жить вдвоем, без отца.

Чтобы развеселить мать, я пародировал разных людей — кого угодно, кроме мисс Хайдеггер. Время от времени я изображал мать, заставляя ее буквально визжать от смеха. Я напяливал ее шарфы и шляпы и говорил с новоорлеанским акцентом, в моем исполнении представлявшим собой нечто среднее между выговором южан и жителей Бронкса.

— О чем ты думаешь? — спрашивал я, растягивая слова. — Солнышко, расскажи мне что-нибудь!

Мать всегда хохотала до слез.

— Ты просто бесподобен, — говорила она. — А может быть, отдать тебя в актеры? Ей-богу, ты смог бы обеспечить безбедную жизнь своей слабоумной старушке матери.

Когда мы наконец вставали, она, быстро одевшись, начинала убираться и готовить с

неутомимостью подлинного художника. Приходя с работы, отец не массировал больше ее плечи, не целовал ее в лоб или в кончик носа с нарочито громким чмоканьем. Не мог. Вокруг матери образовалось силовое поле — прозрачное и твердое, как стекло. Я видел, как оно разрасталось, когда отец входил в дом, принося на пальто угрожающие запахи внешнего мира. Внутри этой прозрачной оболочки мать оставалась прежней: умное, слегка воспаленное лицо, точные движения хирурга, какими она сервировала стол и подавала превосходно приготовленный обед, — к ней только нельзя было прикасаться. Мы оба чувствовали это — и отец, и я — тем определеннее, чем необъяснимее было наше чувство. Мать была сильным человеком. Мы обедали (обеды становились все изысканнее, на кулинарном поприще мать брала все новые и новые высоты), вели обычные будничные разговоры, после чего отец целовал воздух рядом с нами и уходил обратно на работу.

Однажды в конце весны я проснулся ночью от шума настоящей ссоры. Родители были внизу. Даже ругаясь, они почти не повышали голос, поэтому до меня долетали лишь отдельные слова. Приглушенно, как из плотного мешка, я услы-

шал, как отец произнес слово «наказание», на что спустя целую минуту мать ответила: «То, что ты хочешь… это… это эгоистично». Я лежал в темноте и слушал. Вдруг раздались шаги — отец поднимался по лестнице. Я подумал, что он идет ко мне, и искусно подделал ангельский сон: голова — ровно посередине подушки, губы слегка приоткрыты. Но отец прошел мимо к их с матерью общей спальне. Я услышал, как скрипнула дверь, и все стихло.

Мать не пошла за ним. Дом молчал, объятый зимней ледяной тишиной, только темные листья сирени и кизила терлись о стекла. Я, съежившись, лежал в постели, не зная, чего ожидать в такую ночь. Попытки снова уснуть ни к чему не привели.

В конце концов я вылез из кровати, вышел в коридор и подошел к родительской спальне. Дверь осталась полуоткрытой. Коридорный сумрак был прорезан тяжелым розовато-золотистым светом лампы в пергаментном абажуре, висевшей у них над кроватью. Из кухни долетало резкое мелодичное пощелкивание — мать очищала орехи-пеканы.

Отец, раскинувшись, лежал на их двуспальной кровати, являя собой совершенный образ

покинутости. Его лицо было обращено к стене, на которой в серебряной рамке синела пустынная парижская улица. Рука безвольно свесилась вниз, огромные пальцы замерли в воздухе; грудь вздымалась и опускалась в мерном ритме сна.

Я стоял у двери, не зная, что предпринять, в тайной надежде, что он почувствует мой взгляд, заметит меня и начнет сетовать, что меня разбудили. Но он лежал в той же позе, и тогда я бесшумно вошел в комнату. Пора было что-то сказать, но я не мог ничего придумать и решил, что само мое присутствие должно будет к чему-нибудь привести. Я окинул взглядом комнату: на низком двухтумбовом шкафчике стояла мамина косметика и духи на перламутровом подносе. В зеркале, забранном в дубовую раму, отражался кусок противоположной стены — аккуратный четырехугольник обоев в цветочек. Я подошел к кровати и, не имея никакого плана дальнейших действий, осторожно тронул отца за локоть.

Он поднял голову и посмотрел на меня чужим, отсутствующим взглядом, так, словно мы уже много лет не виделись и теперь он мучительно пытается вспомнить, как меня зовут. У него было такое лицо, что я чуть не умер от страха. На какое-то мгновение мне показалось, что он все-таки

ушел от нас, что его уже нет, что он окончательно потерял свою отцовскую составляющую и теперь передо мной был просто мужчина, большой, как автомобиль, но совершенно беспомощный, как младенец. Пораженный этой переменой, я стоял перед ним в своей желтой пижаме и улыбался виноватой улыбкой.

Но уже в следующую секунду он пришел в себя. Его лицо собралось, приняло знакомое выражение, и он накрыл мою руку своей мягкой ладонью.

— Эй, — сказал он, — а ты что тут делаешь?

Я пожал плечами. Я и сегодня не могу сказать правду без того, чтобы перед этим немного не помолчать.

Отец мог бы взять меня к себе в постель. Этот жест выручил бы нас обоих — по крайней мере на какое-то время. Я желал этого всеми фибрами души. Я бы отдал все, чем владел в самых необузданных фантазиях, за то, чтобы он взял меня на руки и прижал к себе, как в тот праздничный июльский вечер, когда небо волшебно раскалывалось над нашими головами. Но, видимо, ему было стыдно, что его поймали за семейным скандалом. Получалось, что он, разбудив ребенка, наорал на жену, после чего бросился на кровать,

как девочка-подросток с разбитым сердцем. И с этим уже ничего нельзя было поделать.

— Иди ложись, — сказал он, возможно, чуть резче, чем ему самому хотелось.

Наверное, он все-таки надеялся каким-то образом спасти положение, полагая, что, если поведет себя достаточно решительно, можно будет сделать некий кульбит во времени и заштопать разошедшуюся ткань моего сна. И тогда утром в моей памяти сохранятся лишь обрывки смутных сновидений.

Но я его не послушался. Ведь я пришел, чтобы утешить его, а он, он отсылает меня спать. Меня душила обида, слезы навернулись на глаза. Должно быть, от этого ему стало еще невыносимей. А мне всего лишь требовалось знать, что я ему нужен, что своей отзывчивостью и добротой я все-таки завоевал право на его любовь.

— Джонатан! — сказал он. — Джонатан! Пошли!

Я позволил ему отнести меня в мою комнату. У меня не было другого выхода. Он взял меня на руки, и впервые в жизни я не испытал удовольствия от его прикосновений, его пряного запаха, округлой ясности его лба. В эти мгновения мне передалась закрытость матери, ее особое умение

держать дистанцию. Я много раз пародировал ее и в тот момент на ходу просто не мог придумать ничего другого. Если бы отец погладил мои усталые плечи, я бы сжался, если бы он вошел в дом, деловито обивая снег с ботинок, я бы в панике вспомнил о пригоревшем суфле из шпината.

Он уложил меня в постель, укрыл и довольно ласково попросил закрыть глаза. Ничего плохого он не делал. Но я не помня себя от ярости соскочил на пол и бросился к коробке с игрушками. У меня ломило в затылке и звенело в ушах, новые, неведомые чувства нахлынули на меня.

— Джонатан! — сердито сказал отец.

Он попробовал было схватить меня, но не успел. Сунув руку в коробку с игрушками, я нащупал на самом дне гладкую пластиковую ногу и, выудив за нее куклу, крепко прижал ее к груди.

Отец растерянно остановился около моей детской кроватки. На ее деревянной спинке на лугу, украшенном розовыми цветочками в четыре лепестка, в экстазе танцевал мультипликационный кролик.

— Она моя! — истерически выкрикнул я.

Пол поплыл у меня под ногами, и я еще сильнее вцепился в куклу, словно только она одна могла помочь мне сохранить равновесие.

Отец потряс головой. Единственный раз на моей памяти ему изменило его непоколебимое добродушие. Он хотел столь многого, а мир съеживался у него на глазах. Его избегала жена, бизнес не приносил ощутимого дохода, а единственный сын — и других детей уже не будет — любил кукол и тихие комнатные игры.

— Господи, Джонатан, — взревел он. — Господи боже ты мой! Да что с тобой, черт возьми? Что?

Я молчал. Мне нечего было ему сказать, хотя я понимал, как он этого ждет. — Она моя! — вот все, что я мог предложить ему в качестве ответа. Я так сильно прижал к себе куклу, что ее жесткие ресницы больно впились мне в грудь через пижаму.

— Прекрасно, — сказал он уже спокойнее, тоном побежденного. — Прекрасно. Она — твоя!

Повернулся и вышел.

Я слышал, как он спускается по лестнице, вынимает из стенного шкафа в холле свою куртку; слышал, что мать так и не смогла заставить себя с ним заговорить; слышал, как он закрывает за собой входную дверь с тщательностью, предполагающей, что он не вернется уже никогда.

Он вернулся на следующее утро, проведя эту ночь на диване в своем кинотеатре. Спустя какое-то время мы, преодолев взаимную неловкость,

вновь зажили по-старому — нормальной семейной жизнью. Между матерью и отцом установились добрые, немного ироничные отношения, не предполагавшие ни страстных поцелуев, ни ссор. Они стали уступчивыми и нетребовательными, как повзрослевшие брат и сестра. Отец не задавал мне больше непосильных вопросов, хотя тот единственный его вопрос продолжал потрескивать у меня в затылке, как неисправная электропроводка. Достижения матери в области кулинарии получили известность. В 1968 году фотографию нашей семьи поместили в воскресном приложении к «Кливленд пост»: мы с отцом — оба прекрасно одетые, исполненные законной гордости и нетерпения — наблюдаем за тем, как мать нарезает креветочный пудинг.

Бобби

Мы жили тогда в Кливленде — в самом центре всего. Шли шестидесятые — по радио целыми днями пели про любовь. Все это в прошлом. Кливленд давно промотал свои богатства, и его река пересохла. Но в те времена нас было четверо: мать, отец, Карлтон и я. Мне было девять, Карлтону исполнилось шестнадцать. Между нами

просились на свет еще несколько братьев и сестер, но все они, как бессильные язычки пламени, угасли в материнской утробе. Мы не плодовиты. Родственников у нас немного. Фамилия моей семьи — Морроу.

Отец преподавал музыку школьникам старших классов. Мать обучала «нестандартных детей», то есть тех, кто мог не задумываясь назвать день, на который выпадет Рождество в 2000-м году, но забывал расстегнуть штаны, входя в уборную.

Район, в котором мы жили, назывался Вудлон. Он был застроен одноэтажными и двухэтажными домами ярких, оптимистических расцветок. Вудлон граничил с кладбищем. Сразу за нашим домом начинался заросший густым кустарником овраг, за которым открывалось поле, усеянное гладко отполированными плитами. Я ничего не имел против кладбища. Оно даже казалось мне красивым. Неподалеку от нашего дома среди более традиционных надгробий возвышался каменный ангел в виде женской фигуры с маленькой грудью и решительным выражением лица. Дальше, в более богатом секторе, молчаливым напоминанием о бессмертных людских свершениях белели миниатюрные мечети и парфеноны. В раннем детстве мы с Карлтоном часто

играли на кладбище, а когда немного подросли, курили там «траву» и пили виски. Благодаря Карлтону я в свои девять лет в криминальном отношении был самым продвинутым учеником четвертого класса. Я посещал сомнительные места. Я вообще ничего не предпринимал, не посоветовавшись с братом.

Вот он за несколько месяцев до смерти в метельный зимний день. Валит снег, все белым-бело — и земля и небо. Карлтон пробирается между могильными плитами, я бегу следом. Снежная крупа обжигает лицо. Передо мной как огонь пылает его красная вязаная шапочка. Волосы Карлтона на затылке собраны в хвостик — аккуратная сосновая шишка идеальной формы. На свой манер Карлтон экономен и даже практичен.

За завтраком мы проглотили по таблетке, вернее, Карлтон принял целую таблетку, а я — с учетом моего нежного возраста — получил половинку. Эти таблетки называют «промытое стекло». Ими прочищают зрение, как «Виксом» прочищают заложенный нос. Родители на работе, зарабатывают на хлеб. Мы специально вышли на улицу, чтобы, вернувшись в дом, с новой силой пережить его теплоту и надежность.

Человек должен испытывать потрясения, счи-

тает Карлтон.

— По-моему, начинает действовать, — сообщаю я.

На Карлтоне заношенная до блеска куртка из оленьей кожи. Его подружка нашила на нее в районе лопаток синий сверкающий глаз.

— Кажется, я что-то чувствую, — говорю я, глядя в этот ослепительный глаз.

— Рано, — отзывается Карлтон. — Не дергайся. Все в свое время.

Мне и весело и жутковато. Ведь это не шутки. Карлтон уже несколько раз пробовал наркотики, но я проделываю это впервые. Мы запили таблетки апельсиновым соком, когда мать подавала бекон. Карлтон любит рисковать.

Снег набивается в буквы, выгравированные на надгробьях. Я, глотая ветер, озираюсь по сторонам, силясь понять: все вокруг действительно какое-то странное или только кажется таким под воздействием наркотика? Три недели назад, когда одна семья на другом конце города мирно смотрела телевизор, на крышу их дома рухнул спортивный самолет. Ветер кружит снег, и неясно, сыплется ли он с неба на землю или поднимается в небо с земли.

Карлтон направляется к нашему излюблен-

ному месту — огромному склепу с колоннами у входа. Настоящий дворец. К скатам остроконечной крыши лепятся каменные купидоны с недоразвитыми крылышками и лицами дебелых матрон. В глубине небольшой галереи железные двери, непосредственно ведущие в обиталище мертвых. Летом на этой галерейке прохладно, зимой почти безветренно. Мы держим там бутылку виски.

Карлтон находит бутылку, откручивает пробку и делает долгий-долгий глоток. Он весь осыпан снежными блестками. Потом передает бутылку мне, и я тоже пью, хотя и не так много. Даже зимой от склепа тянет сыростью, как из колодца. Ветер ворошит на мраморном полу палые листья и перекатывает желтую обертку «M&M's».

— Что, страшно? — спрашивает меня Карлтон.

Я киваю. Мне и в голову не приходит ему соврать.

— Не бойся, Кузнечик, — говорит он. — Страх сковывает. Если не бояться, наркотик не причинит тебе никакого вреда.

Я киваю. Мы стоим под навесом, по очереди отхлебывая из бутылки. От уверенности Карлтона мне как будто становится теплее.

— В Вудстоке[1] можно целыми днями сидеть на таблетках! — говорю я.

— Это точно! Дети Вудстока, новая Америка! Все верно!

— Неужели там действительно кто-то живет? — спрашиваю я.

— Что значит «неужели»? Концерт окончен, но люди-то никуда не делись. Новые люди! Так что не сомневайся.

Я снова киваю, на этот раз удовлетворенно. Мы будем жить в новой стране. Я сам уже не тот. Меня даже зовут по-новому — Кузнечик. Прежде меня звали Роберт.

— Мы все время будем на таблетках! — говорю я.

— А ты как думал?!

Я вижу мрамор, снег и светящееся лицо Карлтона. Его глаза горят, как неоновые лампочки. Сам не зная почему, я чувствую, что Карлтону сейчас открыто будущее, призрак которого парит над каждым из нас. В будущем Карлтона люди не ходят в школу и на работу. Нас всех — и совсем скоро — ждет жизнь совершенной, ослепительной

---

[1] Примечания: 1

Вудсток — город в районе Катскилских гор на востоке штата Нью-Йорк. Известен главным образом тем, что в 1969 г. неподалеку от него состоялся знаменитый фестиваль рок-музыки. (Здесь и далее — прим. перев.)

простоты, жизнь среди деревьев на берегу реки.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

— Отлично, — отвечаю я, и это чистая правда.

С обнаженного дерева с шумом срываются голуби и, сделав полукруг, вдруг меняют стальную окраску на серебристую. В этот момент я понимаю: наркотик действует. Все предметы вокруг обретают лучистость и как бы становятся самими собой. И как только Карлтон мог это предвидеть?

— Ого, — шепчу я.

Его рука ложится мне на плечо.

— Спокойно, Кузнечик, — говорит он. — Среди этой красоты бояться нечего! Я с тобой.

Мне не то чтобы страшно, мне — странно. Я даже не представлял, насколько реально все окружающее. На мраморе у моих ног лежит веточка с гроздью сморщенных коричневых ягод. В месте надлома она мягкая, белая, волокнистая. Деревья живые!

— Я с тобой, — повторяет Карлтон. И это правда.

Несколько часов спустя мы сидим на диване перед телевизором, настоящие пай-мальчики. На кухне мать готовит ужин. Звякает крышка о кастрюлю. Мы тайные агенты. Я изо всех сил стараюсь скрыть ошеломленность.

Отец мастерит стенные часы из готовых деталей. Ему хочется передать нам что-то такое, что и мы могли бы оставить в наследство своим детям. Слышно, как он работает в подвале: что-то пилит, прибивает. Я знаю, что лежит сейчас перед ним на козлах — длинный ящик из сырой древесины. Он собирается наклеить на него лепное украшение. По его лбу медленно сползает жемчужная капля пота. В тот день я открыл в себе способность видеть все комнаты дома одновременно. Причем с поразительной ясностью. Вот мышь копошится в стене. Электрические провода вьются под штукатуркой, как змеи.

— Шш, — говорю я Карлтону, хотя он и так молчит, глядя на экран в просветы между растопыренными пальцами. Хлопают выстрелы. Пули с характерным свистом выбивают белесые фонтанчики пыли из бетонной стены. Я понятия не имею, что показывают.

— Мальчики, — доносится из кухни голос матери.

Своим новым слухом я различаю, как она шлепает по гамбургерам, превращая их в плоские лепешки.

— Накройте на стол, как положено добропорядочным гражданам.

— Хорошо, ма, — отвечает Карлтон мастерски подделанным будничным тоном. Отец в подвале бухает молотком. Я слышу, как стучит сердце Карлтона. Он похлопывает меня по руке, давая понять, что все идет нормально.

Мы накрываем на стол: ложка-нож-вилка-треугольнички бумажных салфеток. Все как положено, тут нас не собьешь. Потом я разглядываю обои: на них золотистая ферма на фоне гор. Коровы жуют траву, деревья отбрасывают длинные золотистые тени. Этот вид повторяется трижды — на трех стенах.

— Куз… — шепчет Карлтон. — Кузя…

— Мы все сделали правильно? — спрашиваю я.

— Мы все сделали замечательно, малыш. Как ты, а?

Он легонько щелкает меня по затылку.

— По-моему, отлично.

Я пристально вглядываюсь в обои, словно собираясь войти внутрь.

— «По-моему»? Ты сказал «по-моему»? Сейчас мы с тобой отправимся в космос. Иди сюда.

— Куда?

— Иди сюда.

Он подводит меня к окну. За стеклами нервно мечется снежная крупа. Под фонарем она кажет-

ся серебряной. Похожие на ранчо дома хранят тепло, неярко освещая растущие сугробы. Это улица Кливленда. Наша улица.

— Сейчас мы с тобой полетаем, — шепчет Карлтон, наклонившись к само-моему уху. Он открывает окно. Снег врывается в комнату, искрится на ковре.

— Полетели, — командует он.

Мы напрягаемся, вытягиваемся и… летим. Черный ночной ветер бьет в лицо. На какую-то ничтожную малость мы отрываемся от толстого бежевого ковра из искусственной шерсти. Победа! Секрет левитации в том, чтобы взлететь прежде, чем тело осознает противозаконность своих действий. Я и сегодня готов поклясться, что это именно так!

Мы оба знаем, что на мгновение оторвались от пола, и поражает это нас не больше, чем, скажем, тот факт, что с неба иногда падают самолеты или что мы скоро покинем дом, в котором живем с детства. Мы снова на земле. Карлтон трогает меня за плечо.

— Вот так-то, Кузнечик, — говорит он. — Чудеса и вправду происходят. Обалденные чудеса!

Я киваю. Он опускает стекло, которое въезжает обратно в паз с губным, чмокающим звуком.

Из холодной стеклянной черноты на нас глядят наши отражения. На кухне мать кидает на шипящую сковородку гамбургеры. В подвале под лампочкой в колпачке-абажуре отец наклоняется над длинным ящиком, готовясь разместить в нем часовой механизм, маятник и циферблат. Где-то над головой гудит невидимый самолет. Я испуганно смотрю на Карлтона, а он ободряюще улыбается и крепко прихватывает меня сзади за шею.

Март. Снег стаял уже почти всюду. Я иду по кладбищу, размышляя о своей бесконечной жизни. Одно из безусловных достоинств Кливленда в том, что, в какую бы сторону от него ты ни направлялся, невольно чувствуешь, что изменяешь жизнь к лучшему. По моим расчетам, от нас до Вудстока, штат Нью-Йорк, миль триста пятьдесят. Я шагаю на восток, туда, где мы с Карлтоном прячем бутылку. Я собираюсь немного тяпнуть за мое славное будущее.

Подойдя к склепу, я слышу тихие постанывания и застываю на месте, не зная, на что решиться. Звук похож на долгий предсмертный стон, забирающийся все выше и выше, к верхнему *до*, что-то вроде «ааааааАа». Волчий вой, разворачивающийся от конца к началу. Смыться или

все-таки попытаться выяснить, что происходит? Я выбираю второе — иначе не получится истории. В историях моего брата люди всегда совершают рискованные безрассудства. Кстати, неплохой способ разобраться, как поступить, — нужно только вообразить себя персонажем рассказов Карлтона.

Прижавшись к мраморной стене, я, затаив дыхание, огибаю склеп. Выглядываю из-за девичьего плеча херувима. На земле Карлтон и его подружка. Мелькает обнаженная плоть, вокруг валяется скомканная одежда, какая-то невнятная куча-мала. На одно из надгробий одноглазым часовым наброшена кожаная куртка Карлтона.

Я пригибаюсь как можно ниже. Передо мной голые девичьи руки и родная спина Карлтона. И Карлтон, и его подружка стонут, лежа на сухой зимней траве. Выражения ее лица мне не видно, но лицо брата сведено болезненной гримасой, жилы на шее вздулись. Я никогда не думал, что это больно. Я смотрю, стараясь научиться, прижавшись к холодным каменным крыльям.

Карлтон замечает меня довольно скоро. На какое-то мгновение его блуждающий опрокинутый взгляд задерживается на фигуре херувима, и тут рядом с каменной головой статуи он видит

еще одну голову, и не чью-нибудь, а своего родного брата. Наши глаза встречаются, и мы оба понимаем, что наступил момент, когда необходимо принять какое-то решение. Руки девушки продолжают обнимать его худющую спину с выпирающими позвонками. Карлтон решает улыбнуться. Он улыбается и подмигивает мне.

Я разворачиваюсь — так стремительно, что дерн вылетает у меня из-под ног, — и бросаюсь бежать. Лавируя между плитами, я пролетаю кладбище, перемахиваю овраг и наконец, перепрыгнув через забор, оказываюсь возле качелей и стола для пикников на заднем дворе нашего дома. Что-то особенное было в том, как он мне подмигнул. Сердце у меня колотится, как у воробья.

Я иду на кухню и застаю там мать, моющую фрукты. Она спрашивает меня, что случилось. Ничего, отвечаю я. Ничего особенного.

Мать вздыхает, разглядывая неказистое яблоко. На занавесках синеют чайные чашки. Мать трет яблоко щеткой. Она считает, что снаружи они отравлены химикатами.

— Где Карлтон? — спрашивает она.

— Не знаю.

— Бобби!

— Угу?

— Что происходит?

— Ничего.

Теперь сердцебиение у меня как у колибри, не стук, а одно сплошное жужжание.

— По-моему, ты что-то скрываешь. Ты можешь ответить на мой вопрос?

— Да.

— Твой брат употребляет наркотики?

Уже легче. Значит, все дело в наркотиках. Я знаю, почему она спрашивает. Недавно к нам в дом нагрянула полиция. Они сновали по комнатам, как голодные акулы, делали какие-то пометки в блокнотах. В общем, что-то вроде обыска. Карлтон — известная личность в наших краях.

— Нет, — говорю я.

Мать, со щеткой в одной руке и с яблоком в другой, пристально смотрит мне в глаза.

— Ты ведь не стал бы мне врать, а?

Она что-то знает. Ее нервы, как чуткие антенны, улавливают все, что творится в доме. Она слышит, как пыль садится на столешницы, чувствует, как в холодильнике скисает молоко.

— Нет, — отвечаю я.

— Что-то не так, — вздыхает она.

Мать — маленькая, энергичная женщина. Гля-

дя вокруг, она щурится, словно от всех предметов исходит резкий болезненный свет. Она выросла на ферме в Висконсине и все детство окучивала грядки, опасаясь то дождей, то засухи. Она и сегодня по застарелой привычке не ждет от жизни ничего хорошего.

Я выхожу из кухни, симулируя внезапный интерес к кошке. Мать идет за мной, продолжая сжимать в руке щетку. Похоже, она все-таки решила выскрести из меня правду. Я ускоряю шаги, не сводя глаз с задранного кошачьего хвоста.

— Ты можешь не убегать от меня, когда я к тебе обращаюсь?! — говорит мать.

Но я не останавливаюсь, мне даже интересно, сколько еще я смогу вот так продержаться. Кис-кис-кис-кис, бормочу я. В передней бьют стенные часы, которые собрал отец.

Я поворачиваю к часам. Мать настигает меня у искусственной пальмы, настигает и хватает за шиворот.

— Я же сказала тебе, чтобы ты остановился, — кричит она, и я получаю весьма чувствительный удар щеткой. Потом она хватает меня за ухо. Кошка улепетывает в темпе presto.[2]

---

[2] Примечания: 2

Быстро *(итал.);* обозначение одного из самых быстрых музыкальных темпов.

Примерно минуту я стою не двигаясь, показывая, что я ее понял. От ее подзатыльника — а она бьет меня еще раз — перед глазами у меня прыгают цветные круги.

— Ты можешь остановиться?! — кричит она.

Но я уже снова срываюсь с места. Наш дом ориентирован с запада на восток. С каждым шагом я все ближе к Вудстоку.

Карлтон возвращается домой насвистывая. Мать ведет себя с ним как с засидевшимся гостем. Но ему наплевать. Он явно в приподнятом настроении. Он треплет мать по щеке и называет ее «профессор». Он ее совсем не боится, и поэтому она и вправду ничего не может с ним сделать.

Мать никогда не бьет Карлтона. Она мучается с ним, как работницы фермы с вороной-воровкой. Ее раздражение столь давнее и глубокое, что почти граничит с уважением. Мать дает Карлтону очищенное яблоко и напоминает о том, что она с ним сделает, если он наследит на ковре.

Я жду в нашей комнате. Вместе с Карлтоном в комнату врывается запах лежалого кладбищенского снега и мокрой сосновой хвои. Карлтон с хрустом откусывает яблоко и поворачивается ко мне.

— Привет, Кузнечик, — бросает он.

Я в небрежной позе лежу на кровати, пытаясь извлечь из губной гармошки что-то похожее на пару тактов из одной вещи Боба Дилана. В глубине души я всегда верил, что смогу научиться хотя бы держаться по-умному. Я важно киваю.

Карлтон плюхается на свою кровать. К черной резиновой подошве его башмака пристал раздавленный крокус — первый в этом году.

— Ну, Кузнечик, — говорит он, — все, теперь ты уже не мальчик.

Я снова киваю. Неужели на этом все и кончится?

— Должен тебе сказать, — весело продолжает Карлтон (он явно доволен собой и жизнью), — это было здорово!

Я выжимаю что могу из диланской «Blowin in the Wind».[3]

— Старик, — говорит Карлтон, — когда я тебя увидел, ну, как ты подглядываешь за нами, знаешь, что я подумал? Вот! Вот теперь это реально! Понимаешь меня?

Он помахивает огрызком яблока.

— Ага, — отвечаю я.

— Кузнечик, представляешь, ведь у нас с ней

---

[3] Примечания: 3
«Ветер в лицо» *(англ.).*

никогда ничего такого не было. Одни разговоры. А как дошло до дела, и ты тут как тут! Будто почувствовал!

Я киваю, и на этот раз уже не просто так. Конечно, это наше общее приключение. Все правильно! События начинают обретать смысл.

— Кузнечик, — говорит Карлтон, — мы тебе тоже подыщем подружку. Ведь тебе уже девять. Пора! И так засиделся в девственниках!

— Ты серьезно? — спрашиваю я.

— Старик, мы подберем тебе девочку из шестого класса, какую-нибудь поо-пытнее. Накуримся и все вместе пойдем в кладбищенскую рощу. Я просто обязан присутствовать при твоей дефлорации. А то как же ты без старшего брата?!

Я все хочу как бы между прочим спросить его о связи между сексом и физической болью, но тут до нас долетает разгневанный голос матери:

— Нет, он все-таки напакостил! Нет, он все-таки изгваздал ковер!

Начинается общесемейный скандал. В качестве свидетеля мать призывает отца. Отец приходит и становится у двери. У него лицо «некогда красивого» человека. Однако красота эта сильно поблекла от излишнего долготерпения. В последнее время отец решил освежить свой облик

кое-какими модными штрихами вроде эспаньолки и ботинок из телячьей кожи.

Мать тычет в следы, которые в виде аккуратных полумесяцев тянутся от двери к братниной кровати. С кровати свешиваются злодейские ноги Карлтона. Ужасающе грязные орудия преступления все еще на нем.

— Ты видишь, — обращается мать к отцу, — ты видишь, как он ко мне относится?!

Отец, здравомыслящий человек, предлагает Карлтону немедленно привести все в порядок. Но мать считает, что этого мало. Ей нужно, чтобы он в принципе понял, что так себя не ведут.

— Разве я многого требую? — кричит она. — Я не требую, чтобы он отчитывался, куда ходит, не требую, чтобы он объяснил, с какой стати нашим домом вдруг заинтересовалась полиция. Я требую только одного: чтобы он не пачкал ковер! Больше ничего!

— Давай-ка убери эту грязь, — советует Карлтону отец.

— И все, да? — не унимается мать. — Значит, он сейчас приберется, и мы тут же его простим, так, что ли?

— Ну а что ты предлагаешь? Чтобы он языком это вылизал?

— Я хочу, чтобы он хотя бы немного думал о других! — отвечает мать, беспомощно косясь на меня. — Вот чего я хочу.

Я растерянно пожимаю плечами. Мне жалко мать, но я не из ее команды.

— В общем, так, — заявляет она. — Больше я в этом доме пальцем о палец не ударю. Сами теперь наводите чистоту, а я буду телевизор смотреть и фантики от конфет на пол бросать.

Она разворачивается и уходит, решительно рассекая воздух. По дороге она хватает стакан с карандашами, какое-то время смотрит на него, а потом высыпает карандаши на пол. Они, как гадальные палочки, ложатся парами и крест-накрест.

Отец выходит за ней. Он кричит ее имя. Мать зовут Изабел. Слышно, как они идут по дому. «Изабел, Изабел, Изабел», — зовет отец, а мать, которой, должно быть, понравился вид разбросанных карандашей, скидывает на пол все новые и новые вещи.

— Надеюсь, телевизор она бить не станет, — говорю я.

— Она сделает то, что ей сейчас нужно сделать, — отзывается Карлтон.

— Ненавижу ее, — говорю я.

На самом деле я в этом не уверен. Но чтобы выяснить, так это или нет, мне требуется произнести эти слова, послушать, как они звучат.

— Она покруче любого из нас, — обрывает меня Карлтон. — Ты думай, что говоришь, Кузнечик!

Я ничего не отвечаю. Вскоре я встаю и начинаю подбирать карандаши, предпочитая это занятие валянью на кровати и проявлению преданности сообразно переменчивой обстановке. Карлтон приносит губку и начинает оттирать грязь.

— Напачкал — убрал, — комментирует он. — Все просто.

Момент для расспросов о любви явно упущен, и у меня хватает выдержки и чутья не форсировать эту тему. Я знаю, что случай еще представится. А пока я составляю аккуратный букет из карандашей. Мать в бешенстве носится по дому.

Спустя какое-то время — уже после того, как Карлтон, отец и я подобрали с пола все, что она расшвыряла, — я вновь лежу на кровати, размышляя о жизни. Карлтон, понизив голос, разговаривает по телефону со своей девицей. Мать, немного успокоившаяся, но все еще опасная, готовит обед, мурлыча какую-то медленную мелодию 40-х годов. Может быть, именно эта песня звучала из всех музыкальных автоматов, когда

самолет ее первого мужа рухнул в Тихий океан. В подвале отец играет на кларнете. Он всегда играет там, среди аккуратно развешанных молотков, стамесок и прочих инструментов, отбрасывающих непомерные тени в неярком свете одинокой лампочки. Если приложить ухо к полу, слышно, как он извлекает из кларнета долгий негромкий стон, напоминающий кошачий вой. Есть какое-то особое наслаждение в том, чтобы лечь на ковер и слушать игру отца, просачивающуюся сквозь половицы. Прижавшись ухом к полу, я пытаюсь подыгрывать ему на губной гармошке.

В тот год родители решили устроить вечеринку в честь возвращения тепла. Зима была долгой и суровой, и вот наконец на газонах и между могильными плитами показались первые маргаритки.

Вечеринки в нашем доме — события церемонные. Друзья родителей, левацки настроенные огайские романтики, все без исключения школьные учителя, приносят вино и гитары. Несмотря на то, что они ходят на службу и берут в банках кредиты на покупку недвижимости, они считают себя провозвестниками свободы, секретными агентами, выполняющими некую особую миссию. Да, сейчас они притворяются педагогами,

но это только временно — пока не дописаны их романы, не окончены диссертации или просто не скоплены деньги, чтобы не работать больше нигде и никогда.

Мы с Карлтоном в роли прислуги: принимаем пальто, разносим напитки. Нас используют так с самого детства, и мы охотно демонстрируем свое раннее развитие и готовность помочь ближнему. Мы точно знаем, что и как нужно делать. Крупная дама с ярко накрашенными губами, отдавшая свои девичьи годы преподаванию математики в девятом классе, называет меня мистер Райт.[4] Заместитель директора школы в русской меховой шапке спрашивает нас с Карлтоном, за кого мы собираемся голосовать — за демократов или за социалистов.

Мои тайные прикладывания к спиртному не пропали даром — я здорово навеселе.

Но главная опасность подстерегает вечеринку уже ближе к ночи. Раздается стук в дверь, и я бегу открывать. Мне, как ярмарочному воришке, не терпится поскорее узнать, кто еще пожаловал. Стараясь изобразить из себя благовоспитайного трезвого мальчика, я открываю дверь, и что же?

---

[4] Примечания: 4
Правильный *(англ.).*

Вместо очередных наивных взрослых я вижу друзей моего брата — банду нестриженых хулиганов в высоких армейских башмаках. Впереди — подружка Карлтона в просвечивающем одеянии из бахромы.

— Привет, Бобби, — бросает она.

Она родом из Нью-Йорка — в ней есть особый столичный шик.

— Привет, — говорю я.

Я отступаю в сторону, подавив ретроградный импульс немедленно захлопнуть дверь и вызвать полицию. Компания, состоящая из трех девушек и четырех парней, вваливается в дом в облаке наркотического дыма. Проходя мимо меня, они хитро ухмыляются.

На самом деле это набег. Карлтон стоит в дальнем углу комнаты возле проигрывателя, выбирая новую пластинку. Его подружка пробирается через толпу прямо к нему. У нее расслабленная, вихляющая походка, которая некоторым почему-то кажется привлекательной. Вид у нее такой, словно она собралась хорошенько проучить всех присутствующих.

Выражение лица Карлтона наводит меня на мысль о заранее спланированной акции. Мать требует объяснений. На ней длинное темно-бор-

довое платье с открытыми плечами. Когда она принаряжается, видно, как хороша она была в молодости, да и сейчас тоже. Карлтон — в нее. Я похож на отца.

Карлтон что-то торопливо объясняет. Хотя ясно, что это решение дается матери с трудом и не без душевной скорби, незваным гостям позволено остаться. Один из них, некий Эдди Хаскелл, несмотря на всю свою нечесаность и замызганную кожаную куртку, отпускает ей комплимент — говорит, что она отлично выглядит. Матери это явно приятно.

Итак, получив официальное разрешение, банда остается. Я пробираюсь к Карлтону и становлюсь рядом с ним, с того боку, что не занят его девицей. Мне хочется сказать ему что-то остроумное, что-то такое, что объединило бы нас против всех прочих в этой комнате. Я даже понимаю примерно, что именно хочу сказать, но, будучи подвыпившим девятилетним мальчиком, никак не могу оформить свою мысль в виде членораздельного высказывания.

— Херня, старик, — вот все, что мне удается из себя выдавить. Подружка Карлтона хохочет. Ей смешно, что маленький мальчик говорит такие слова. У меня возникает сильное желание сказать

ей все, что я о ней думаю, но мне всего девять лет, и я выпил слишком много «Тома Коллинса». Да и будь я трезвее, едва ли я выдумал бы что-нибудь кроме грубоватой остроты.

— Погоди, Кузнечик, — говорит мне Карлтон. — Настоящая вечеринка только начинается.

По тому, как блестят его глаза, я понимаю наконец, что он задумал. Он организовал встречу поколений, свидание друзей родителей со своими друзьями. Это жест в стиле Вудстока! Карлтон режиссирует будущее, в котором представители разных поколений действуют сообща. Я соглашаюсь подождать и отправляюсь на кухню, чтобы незаметно от всех хлебнуть еще джину.

На кухне я застаю отца. Он, наклонившись, стоит у холодильника. Бабочки-магниты парят над его головой.

— Ну как, нравится тебе вечеринка? — спрашивает он меня, теребя эспаньолку. Отец все еще привыкает к тому, что он теперь человек с бородой.

— Ага.

— Мне тоже, — грустно говорит он.

Профессия школьного учителя совсем не то, о чем он мечтал. Ему пришлось пойти на это из-за денег.

— Как тебе эта музыка? — спрашивает он.

Карлтон поставил «Роллинг стоунз». Микки Джаггер исполняет «19th Nervous Breakdown».[5] Широким жестом отец обводит комнату, дом, гостей — все, что окутано музыкой.

— Мне нравится, — говорю я.

— Мне тоже.

Он помешивает в коктейле пальцем и облизывает его.

— Я обожаю ее, — очень громко говорю я.

Почему-то, разговаривая с отцом, мне всегда хочется повысить голос. Если б я мог, я полными пригоршнями начерпал бы музыки из воздуха и напихал ее себе в рот.

Нет, так я сказать не могу, нет. Я бы сказал, что положительно отношусь ее интенциям. Я бы сказал, что, если развитие музыки пойдет в этом направлении, я не встану у нее на пути.

— Угу, — говорю я.

Мне не терпится поскорее вернуться к гостям, но обижать отца тоже не хочется. Если он почувствует, что его избегают, он может затосковать и начать в чем-то каяться, а это еще пострашнее маминой ярости.

---

[5] Примечания: 5

«Девятнадцатый нервный срыв» *(англ.).*

— Наверное, я кажусь своим ученикам слишком консервативным, — продолжает отец. — Может быть, вы, ребята, просветите меня за лето, что слушает нынешняя молодежь.

— Обязательно, — громко говорю я.

Еще минуту мы проводим в молчании, не зная, что сказать.

— Стало быть, ребята, вечеринка вам нравится, да? — говорит он. — Пока все идет хорошо, да?

— Здорово, — отвечаю я. — Мы замечательно проводим время.

— Я так и думал.

— Я тоже.

Я уже подобрался к двери на расстояние одного прыжка.

— Пока, — бросаю я и вновь ныряю в толпу.

Что-то изменилось за время моего недолгого отсутствия. Вечеринка набрала обороты. Кто знает почему? Причиной ли тому эпоха, погода, случайное сочетание звезд? Друзья Карлтона не выходят за рамки приличий, а друзья родителей решили временно оставить свои песни в стиле «фолк» и поучиться у молодых. Карлтон танцует с женой заместителя директора. Друг Карлтона Фрэнк, сильно смахивающий на неандертальца и лицом, и уровнем интеллекта, находящимся

у нижней границы нормы, танцует с нашей матерью. Я замечаю, что отец тоже вышел за мной из кухни. Он располагается у стеночки, на периферии событий. Я прыгаю в самую гущу и приглашаю на танец учительницу математики с фуксиновыми губами. Она в восторге. Она большая и легкая, как дирижабль, и мы без труда выплываем на середину комнаты. Мать, славящаяся своими строгими правилами, танцует свободно и самозабвенно. Это для всех новость. Ее красота новостью не является.

Накал вечеринки повышается. Возбуждение растет. Карлтон ставит все новые и новые диски: Дженис Джоплин, «Дорз», «Грейтфул дэд». Будущее — прекрасно, всех нас ждет еще множество таких вечеров. Даже нашего отца вытаскивают танцевать. Он взмахивает руками и трясет животом, как большая неуклюжая птица, тщетно пытающаяся взлететь. Но как бы то ни было, он тоже танцует. Мать целует его в щеку.

Спустя какое-то время я в блаженно-пьяной дреме клюю носом, сидя на диване. Мне снится, что я летаю, когда мать трогает меня за плечо. Я открываю глаза и с улыбкой смотрю в ее раскрасневшееся довольное лицо.

— Тебе давно пора спать, — говорит она бар-

хатным голосом, вся — сама доброта. Я вылезаю из кровати и выскакиваю в холл. Посещения инопланетян я пропускать не собираюсь, и тут уж ничто меня не остановит — ни гнев матери, ни огорчение отца. Но как же быть? Мне стыдно показаться в пижаме. А вдруг там и вправду инопланетяне? Тогда они решат, что я в этом доме стою на самой низшей ступени развития. Пока я раздумываю, переодеваться мне или нет, народ начинает возвращаться, рассуждая о странной игре самолетных огней в тумане. Возобновляются танцы.

Наверное, в какой-то момент Карлтон перепрыгнул через забор позади дома. По-видимому, он решил, что правильней побыть одному на тот случай, если пришельцы захотят забрать кого-то с собой. Через несколько дней я вот так же выйду ночью на улицу и буду стоять там, где стоял мой брат. Ручеек на дне оврага превратится в целую реку талого снега, на другой стороне будет мерцать кладбище, как пустынный призрачный город. На небе будет сиять полная луна. Наверное, и Карлтон вот так же загипнотизированно смотрел на ту сторону реки, где в бледном лунном свете серебрились могильные камни и ангел воздевал к небесам свои белые руки.

Мои родители никак не могут понять, почему он кинулся к дому с такой скоростью. Они предполагают, что он увидел что-то на кладбище, чего-то испугался и побежал, спасаясь от наваждения, но по-моему, выйдя из оцепенения, он просто хотел как можно быстрее вернуться к музыке и людям, в гам и суету продолжающейся жизни.

Кто-то закрыл раздвижные стеклянные двери. Подружка Карлтона лениво смотрит через них во двор, отражаясь в прозрачном стекле. Я тоже смотрю. Карлтон мчится к дому. Как поступить? Он ведь сейчас стукнется носом! Ну и ладно. Так ему и надо. Даже смешно. Девушка тоже видит его сквозь собственное отражение и кричит, пытаясь его предупредить, но тут Карлтон врезается в дверь.

Это настоящий взрыв! Осколки стекла сверкая разлетаются по комнате. Мне кажется, что ему даже не особенно больно, скорее он потрясен; это как грохнуться в воду с большой высоты. Какое-то время он стоит, растерянно моргая. Танцы обрываются, все взоры устремляются на него. Боб Дилан поет «Just Like a Woman».[6] Ошарашенный Карлтон подносит руку к шее и вынимает

[6] Примечания: 6
Совсем как женщина» *(англ.).*

застрявший кусочек стекла. И вот тут начинает хлестать кровь. Она бьет из него фонтаном. Мать кричит. Карлтон делает шаг вперед в объятья своей девушки, и они падают. Мать бросается на них сверху. Все наперебой начинают давать советы: не поднимайте его! Вызовите «скорую»! Я наблюдаю из холла. Кровь хлещет, впитываясь в ковер, забрызгивая все вокруг. Мать с отцом пытаются зажать рану руками, но кровь прорывается у них между пальцами. Карлтон прежде всего растерян, впечатление такое, что он до сих пор не вполне осознал, что происходит.

— Все нормально, — говорит ему отец, пытаясь остановить кровь. — Все нормально, ты только не шевелись, все нормально!

Карлтон кивает. Он держит отца за руку. В его глазах отсвет удивления.

— Да почему же никто ничего не делает?! — кричит мать.

Кровь, бьющая из Карлтона, становится все темнее и темнее, она уже почти черная. Я смотрю. Отец все еще старается зажать рану, а Карлтон сжимает его руку. Волосы матери перемазаны кровью. Кровь стекает по ее лицу. Подружка Карлтона прижимает его к груди, гладит по голове, что-то шепчет ему на ухо.

Он умирает еще до приезда «скорой». Видно, как жизнь постепенно уходит из него. Когда мышцы его лица расслабляются, мать испускает дикий вопль. Какая-то часть ее существа покидает ее и уносится туда, где она теперь будет рыдать и гневаться вечно. Я чувствую, как, улетая, она проходит сквозь меня. Мать накрывает собой тело Карлтона.

Карлтон похоронен неподалеку от нашего дома. Прошло уже много лет, мы давно живем в будущем, оказавшемся совсем не таким, как мечталось. Мать проводит дни затворницей в гостевой комнате. Отец, проходя мимо, бормочет приветствия двери.

Примерно через год после гибели Карлтона, уже за полночь, я слышу шаркающие шаги в гостиной. Что это — привидение? Я выглядываю из своей комнаты и вижу отца в пижаме мышиного цвета.

— Папа!

Он не видя смотрит в мою сторону.

— А?

— Это я, Бобби.

— А, Бобби, — говорит он. — Как дела, молодой человек?

— Нормально, — отвечаю я. — Папа!

— Что, сынок?

— Ложись! Что ты не спишь?

— Да-да, — отзывается он. — Я просто вышел попить и вот заблудился в темноте. Да-да, я ложусь.

Я беру его под руку и веду обратно в комнату. Стенные часы бьют четверть часа.

— Извини, — говорит отец. Я довожу его до кровати.

— Ну вот, — говорю я. — Все нормально?

— Все прекрасно. Лучше не бывает.

— Ладно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи… Бобби!

— А?

— А ты бы не хотел немного посидеть со мной? Мы бы поговорили о чем-нибудь. Как тебе такое предложение?

— Хорошо.

Я присаживаюсь на краешек его матраса. На тумбочке у кровати тикают часы.

Я различаю негромкий хрипловатый звук его дыхания, попискивание и стрекот огайской ночи. Белый ангел смотрит своими незрячими глазами на небольшой серый памятник, поставленный на могиле Карлтона. Над нами, мигая, проносятся самолеты. Даже сейчас кто-то летит в Нью-Йорк или Калифорнию, навстречу приключениям.

Я не ухожу, пока бормотанье отца не переходит в похрапывание.

Месяц назад подружка Карлтона вместе со своей семьей переехала в Денвер. Я так и не узнал, что она шептала ему тогда. Непосредственно во время трагедии она вела себя на редкость мужественно, а потом расклеилась. На похоронах она рыдала так неистово, что матери — ее постаревшей и чуть более рыжей копии — пришлось ее увести. Ей потребовалась помощь психиатра. Все, включая моих родителей, рассуждали о том, как тяжело, наверное, пережить такое в ее возрасте. Я благодарен ей за то, что она обнимала моего умирающего брата. Но она ни разу не призналась в том, что, несмотря на весь пережитый ужас, ее жизнь все-таки продолжается. Правда, она хоть пыталась его предупредить. Я способен оценить всю запутанность ее переживаний. Однако, пока она жила в Кливленде, я не мог смотреть ей в лицо. Не мог говорить с ней о ее боли. Даже сейчас я не могу заставить себя написать ее имя.

Джонатан

В сентябре нас, семиклассников из разных начальных школ, перевели в центральную школу

средней ступени, разместившуюся в гигантском здании из белого кирпича. Название школы, выложенное метровыми алюминиевыми буквами, тускло поблескивало над главным входом. Суровая сдержанность этих букв как нельзя лучше соответствовала моим представлениям об атмосфере, царящей внутри. Слухи были неутешительными: домашние задания, отнимающие как минимум четыре часа в день; преподавание нескольких предметов исключительно на французском; драки в туалетах на бритвенных лезвиях. В общем, с детством можно было попрощаться.

В первый же день, когда мы с моим приятелем Адамом пошли в школьный кафетерий на ланч, в очереди за нами оказался диковатого вида парень, неряшливый и длинноволосый — само воплощение подстерегающих нас опасностей.

— Здорово, — сказал он.

Понять, к кому он обращается — ко мне, Адаму или еще кому-нибудь поблизости, — было невозможно. Чуть удивленный взгляд его розоватых, водянистых глаз был направлен нам под ноги.

Я кивнул, полагая, что подобная реакция удачнее всего проведет меня между Сциллой высокомерия и Харибдой заискивания. Вступая в

новую фазу моей жизни, я взял на себя несколько обязательств. Кругленький, похожий на юного бизнесмена Адам, с которым мы дружили со второго класса, принялся сосредоточенно оттирать невидимое пятно со своей накрахмаленной клетчатой рубашки. Адам был сыном таксидермиста и испытывал инстинктивное недоверие ко всему неизвестному.

Держа в руках желтые пластиковые подносы, мы медленно продвигались вперед.

— У вас какой срок? — спросил парень. — Ну, в смысле, вас на сколько сюда упекли?

Эти слова уже определенно адресовались нам, хотя его взгляд продолжал блуждать где-то на уровне наших щиколоток. Решив, что теперь это уже вполне уместно и оправданно, я взглянул в его широкое красивое лицо с тонким, слегка раздваивающимся на кончике носом и тяжелым подбородком, позволяющим предположить наличие индейской крови. Над верхней губой и на подбородке пробивался бледный пушок.

— Пожизненно, — сказал я.

Парень кивнул с таким задумчивым видом, словно я высказал что-то необычайно тонкое и значительное.

Повисла пауза. Похоже, Адам собирался и

дальше симулировать глухоту, избрав тактику вежливого неучастия в происходящем. Я изо всех сил старался выглядеть хладнокровным. Молчание затянулось, позволяя случайным участникам ни к чему не обязывающего разговора без потерь возвратиться в обжитой мир собственных забот. Адам с преувеличенным интересом уставился куда-то в начало очереди, как будто там происходило нечто совершенно потрясающее. И тут я, изменив самому себе, сделал то, чего с некоторых пор твердо решил никогда не делать, — начал трепаться.

— Да, — сказал я. — Вот так вот! До сих пор все было просто, ну, в том смысле, что мы, в общем-то, были еще маленькими. Не знаю, где учился ты, но у нас в Филморе устраивали переменки, завтраки нам приносили, а тут у некоторых парней кулак с мою голову. Я сам еще не был в туалете, но, говорят, если семиклассник туда сунется, восьмиклассники переворачивают его вверх ногами и макают головой в унитаз. Ты что-нибудь насчет этого слышал?

Адам досадливо отколупывал ниточку со своего воротника. Мои уши вспыхнули.

— Не… — не сразу ответил незнакомец. — Я ни о чем таком не слыхал. Перед третьим уроком я

заходил выкурить косяк, и все было спокойно.

Насмешки в его голосе не было. Мы приблизились к столу, где краснолицая буфетчица выдавала порции макаронной запеканки, политой сверху мороженым.

— Ну, может, это и брехня, — сказал я. — Но ребята здесь есть крутые, это точно. В прошлом году одного парня вообще убили.

Адам смерил меня таким взглядом, словно я был новым пятном на его рубашке. Я нарушил свое второе правило. От безобидного трепа перешел к самому настоящему вранью.

— Серьезно? — сказал парень.

Чувствовалось, что мое сообщение его заинтересовало, но не потрясло. На нем была голубая вылинявшая рубашка и старая кожаная куртка, лохматящаяся на концах рукавов.

— Да, — сказал я. — Семиклассника. Об этом во всех газетах писали. Он был толстый и немного недоразвитый. Ходил с портфелем и в очках, знаешь, на таком черном эластичном шнурке. Короче, восьмиклассники сразу же стали над ним издеваться. Сначала так, не очень серьезно, и, если бы он вел себя по-умному и не выступал, наверное, им самим бы скоро надоело. Но он был слишком нервный, и чем больше они к нему

лезли, тем больше бесился.

Мы продвинулись в очереди и получили мисочки с зернами кукурузы, вощеные стаканчики с молоком и квадратные песочные пирожные, покрытые желтой сахарной глазурью. Мы сели за один стол, просто потому что история еще не кончилась. Я рассказывал ее весь ланч, подробно живописуя все новые и новые издевательства, которым подвергали неуклюжего мальчика малолетние садисты: украденные очки; бомба-хлопушка, подложенная в его шкафчик для одежды; дохлая кошка, засунутая ему в портфель, — и бессильный гнев несчастной жертвы. Адам то слушал меня, то начинал разглядывать ребят, сидящих за соседними столиками, с откровенностью человека, убежденного в том, что собственная незначительность превращает его в невидимку. Мы доели макароны, кукурузу и уже принялись за пирожные, когда доведенный до отчаяния очкарик начал мстить, натянув проволоку поперек парковой дорожки, где старшеклассники гоняли на своих забрызганных грязью велосипедах. Он привязал проволоку к стволам деревьев на уровне шеи, но не сумел как следует ее закрепить. Вскоре — дожевывая пирожные, мы шли уже на следующий урок

— полиция обнаружила его бездыханное тело в пруду. Его новые очки на эластичном шнурке были на месте.

Мы втроем подошли к двери нашего с Адамом математического кабинета. (Мы с Адамом договорились посещать как можно больше занятий вместе.) Я закончил рассказ уже на пороге.

— Да, дела, — сказал незнакомец.

И все. Больше он ничего не сказал. Только тряхнул головой.

— Меня зовут Джонатан Главер, — представился я.

— А меня… меня Бобби Морроу.

— Адам Бяло… — нерешительно произнес Адам, словно и сам не вполне верил в возможность существования такой фамилии. Это были его первые слова за все время.

— Еще увидимся, — сказал я.

— Ага. Да, старик. Увидимся.

Когда он повернулся, я заметил линялый синий глаз, нашитый сзади на его куртку.

— Чудной, — сказал Адам.

— Угу.

— А я думал, ты всерьез решил больше не врать. Ведь ты поклялся.

Так оно и было. Мы обменялись клятвами. Я

поклялся не выдумывать больше своих историй, а он — не инспектировать без конца свою одежду в поисках несовершенства.

— Это была сказка. А сказка не то же самое, что вранье.

— Ты сам чудной, — сказал Адам, — не лучше его.

— Возможно, — ответил я не без некоторого удовлетворения, — очень может быть.

— Да тут и сомневаться нечего.

Какое-то время мы наблюдали за тем, как синий глаз, уменьшаясь, исчезает в глубине бежевого коридора.

— Чудной, — еще раз сказал Адам.

В его голосе звучало подлинное возмущение. Правила чистоты и скромности касались всех и должны были соблюдаться неукоснительно. Одной из привлекательных для меня черт личности Адама была его безрадостная, но, очевидно, добровольная готовность оставаться в тени. На фоне его размеренности и осмотрительности я оказывался гораздо большим авантюристом, чем это было в действительности. В его обществе я был рисковым малым. Во время наших редких и, прямо скажем, не слишком опасных совместных «приключений» я всегда воспринимал Адама

как некий гибрид Бекки Тэтчер с Санчо Пансой, а себя чем-то вроде Гека Финна и Тома Сойера в одном лице. Купание голышом или украденная плитка шоколада, по мнению Адама, заставляли усомниться в незыблемости тех самых границ, которые я как раз и мечтал нарушить. Адам помогал мне приблизиться к моему собственному романтическому идеалу, хотя в последнее время я стал несколько трезвее оценивать всю ничтожность наших криминальных эскапад и сильно подозревать, что он едва ли последует за мной в более глубокие воды.

На следующий день в кафетерии мы опять столкнулись с Бобби. Он ждал нас, вернее сказать, вновь очутился в очереди рядом с нами. У него был особый талант: все, что он делал, представлялось случайностью. Вся его жизнь могла оказаться цепью нечаянных совпадений. Все складывалось как бы само собой, помимо его воли. Но так или иначе — он снова стоял за нами в очереди.

— Здорово, — сказал он.

Сегодня его глаза были еще краснее, взгляд — расфокусирован.

— Здорово, — отозвался я.

Адам наклонился, чтобы отцепить ниточку,

приставшую к манжету его вельветовых брюк.

— День номер два, — сказал Бобби. — Осталось всего полторы тысячи. Да-а.

— Нам правда осталось учиться полторы тысячи дней? — спросил я. — То есть это что, реальная цифра?

— Угу. Ну, может, один-два дня туда-сюда.

— Ничего себе! Значит, два года здесь, четыре — в старших классах, четыре — в колледже… Да-а… Полторы тысячи дней!

— Нет, старик, колледж я не считал.

Он улыбнулся с таким видом, словно даже мысль о колледже была чем-то грандиозным и немного абсурдным, вроде видения колонизатора: серебряный чайный сервиз в джунглях.

— Ясно, — сказал я.

Снова повисла пауза. Снова, презрев демонстративное невнимание Адама, вновь сосредоточившегося на начале очереди, где краснощекая буфетчица выдавала какие-то коричневые треугольнички под коричневым соусом, я начал молоть языком. На этот раз я рассказывал о неком экспериментальном университете, в котором обучали технике выживания в современном мире: как путешествовать, если у тебя в кармане ни гроша; как исполнять блюз на фортепьяно; как

отличать подлинную любовь от неподлинной. Ничего сверхоригинального! Я, в общем-то, не был каким-то особо одаренным выдумщиком. Не слишком рассчитывая на силу вдохновения, я пользовался приемом «заговаривания» слушателей, громоздя нелепицы одну на другую, по примеру комика Граучо Маркса. Мне казалось, что само количество изобретенных фактов не может не придать рассказу некоторой убедительности.

Бобби слушал, не подвергая сомнению ни единого слова. Он не настаивал на отделении более или менее вероятного от совершенно несуразного. Глядя на него, можно было подумать, что все земные реалии — начиная от половинок персика, плавающих в янтарных лужицах сиропа, которые выдавали в школьном кафетерии, и кончая моим рассказом о колледже, посылающем своих студентов на неделю в Нью-Йорк без единого цента в кармане, — в равной мере удивительны и забавны. В ту пору я не мог еще до конца оценить состояние человека, выкуривающего больше четырех косяков в день.

Слушая, Бобби улыбался и периодически произносил что-нибудь вроде «Ага» или «Ого».

Мы опять сели за один стол, а потом он снова

проводил нас на урок математики.

Когда он ушел, Адам сказал:

— Знаешь, я ошибся вчера. Ты еще чуднее его.

Меньше месяца понадобилось нам с Адамом, чтобы убедиться, что от нашей детской привязанности осталось одно воспоминание. Мы попробовали было спасти нашу дружбу, потому что, несмотря на взаимные попреки и недовольство, когда-то и вправду искренне любили друг друга; мы делились секретами, давали друг другу клятвы. Но, похоже, теперь пришло время расстаться. Как-то раз, когда мы зашли в магазин грампластинок, я предложил Адаму украсть альбом Нила Янга. В ответ он окинул меня уничтожающим взглядом налогового инспектора, взглядом, в котором можно было прочитать возмущение не только этим конкретным проявлением моей непорядочности, но и осуждение всей моей бесцельной и безалаберной жизни, и сказал:

— Ты ведь даже ни разу его не слышал.

— Ну и что, — возразил я и отошел от него и его аккуратного мирка, где все учтено и разложено по полочкам, к группе старшеклассников, обсуждавших совершенно неведомого мне тогда

Джимми Хендрикса. Я украл «Electric Ladyland»[7] уже после того, как Адам с удрученным вздохом человека, оскорбленного в лучших чувствах, покинул магазин.

Расставались мы не без раздражения и ревности. У меня уже был новый друг, у него — нет. Окончательный разрыв произошел теплым октябрьским утром на автобусной остановке. Мглистый осенний свет лился с бледно-голубого неба, на котором то тут, то там проступало пузатое облако, похожее на мягкий пакет молока. Отозвав Адама в сторону (на остановке ждали автобуса еще несколько школьников), я показал ему две желтые таблетки, которые вытащил из маминой аптечки.

— Что это? — спросил Адам.

— На пузырьке было написано «валиум».

— Что это такое?

— Не знаю. Какой-то транквилизатор. Давай проглотим и посмотрим, что будет.

Адам остолбенел.

— Проглотим эти таблетки? — переспросил он. — Прямо сейчас?

— Эй! — прошептал я. — Ты что? Потише!

---

[7] Примечания: 7

«Электрическая земля женщин» *(англ.).*

— А потом пойдем в школу? — продолжал он еще громче.

— Ну да! Давай попробуем!

— Но ведь мы даже не знаем, что от них с нами будет!

— Вот и выясним заодно. Давай! Наверное, раз мать их принимает, они не особенно вредные.

— Твоя мама больна, — сказал он.

— Не больше, чем все остальные, — ответил я.

Желтые круглые таблетки, размером со шляпку гвоздя, лежали у меня на ладони, отражая матовое осеннее утро. Чтобы прекратить затянувшуюся дискуссию, я взял и проглотил одну.

— Дикость, — грустно сказал Адам. — Дикость.

Он повернулся и отошел от меня к другим ребятам. Наш следующий разговор состоялся через двенадцать лет в Нью-Йорке, когда он с женой вынырнул из коралловой полутьмы гостиничного бара. Он рассказал мне, что стал владельцем химчистки, специализировавшейся на особо трудных заказах: свадебные платья; старинные кружева; ковры, впитавшие в себя вековую пыль. Мне показалось, что он вполне счастлив.

Я спрятал вторую таблетку обратно в карман и провел утро в блаженной полудреме, идеально гармонирующей с погодой. За ланчем я снова

встретился с Бобби. Мы оба улыбнулись и сказали друг другу «Здорово, старик». Я протянул ему таблетку, предназначавшуюся Адаму, которую он тут же с благодарностью проглотил без лишних вопросов. В тот день я ничего не рассказывал. Я почти совсем не открывал рта. Но, как выяснилось, молчать со мной Бобби было так же интересно, как и слушать мою болтовню.

— Мне нравятся твои сапоги, — сказал я, когда он в первый раз сидел на полу моей комнаты, скручивая косяк. — Ты где такие достал? Или нет, погоди, это, наверное, нетактичный вопрос. В общем, по-моему, у тебя очень клевые сапоги.

— Спасибо, — отозвался он, мастерски заклеивая косяк кончиком языка. Вопреки моим заверениям, что я курю марихуану с одиннадцати лет, я не делал этого еще ни разу.

— Вроде неплохая, — сказал я, кивнув на полиэтиленовый пакетик с золотисто-зеленым порошком, который Бобби извлек из кармана своей кожаной куртки.

— Ну… вообще-то… нормальная, — сказал он, закуривая.

Его спотыкающиеся фразы не содержали иронии, скорее уж в них можно было расслышать почти болезненную неуверенность и замеша-

тельство. Как будто он не сразу может вспомнить нужное слово.

— Пахнет приятно, — сообщил я. — Но я все-таки открою окно. Вдруг мать зайдет.

Я считал, что нам просто необходимы общие враги, как-то: администрация Соединенных Штатов, наша школа, мои родители.

— У тебя, — сказал он, — замечательная мать.

— Нормальная.

Он протянул мне косяк. Естественно, я постарался изобразить из себя уверенного профессионала. Разумеется, затянувшись, я закашлялся так, что меня чуть не вырвало.

— Довольно крепкая, — сообщил он и, сделав элегантную затяжку, снова передал мне косяк без дальнейших комментариев.

Я вновь захлебнулся дымом, но, придя в себя, получил косяк в третий раз, как будто ничего не произошло и я на самом деле был тем заправским курильщиком марихуаны, каким хотел показаться. В третий раз у меня вышло чуть получше.

Вот так, не изобличая моей неопытности, Бобби начал знакомить меня с нравами поколения.

Мы вообще не расставались. Это была внезапная безоглядная дружба, какая вспыхивает иногда между одинокими и самолюбивыми

подростками. Постепенно Бобби перенес ко мне свои пластинки, постеры и одежду. Побывав однажды у него, я сразу понял, от чего он бежит: в доме стоял кислый запах давно не стиранного белья и несвежих продуктов, по комнатам, ставя ноги с пьяноватой тщательностью, бесцельно бродил вечно молчащий отец. Бобби ночевал в спальнике у меня на полу. В темноте я часто прислушивался к его дыханию. Иногда ему что-то снилось и он стонал.

Просыпаясь по утрам, он в первое мгновение недоуменно озирался, а когда понимал наконец, где находится, улыбался. Солнечный свет падал на островок золотистых волосков у него на груди, превращая их в медные.

Я купил себе сапоги, как у него, и начал отращивать волосы.

Со временем он начал говорить свободнее, почти не запинаясь.

— Мне нравится этот дом, — сказал он как-то зимним вечером, когда мы по обыкновению бездельничали в моей комнате, куря «траву» и слушая «Дорз». Снежинки, шурша о стекло, слетали, кружась, на пустынную, безмолвную

мостовую. «Дорз» исполняли «L. A. Woman».[8]

— Сколько может стоить ваш дом? — спросил он.

— Скорее всего, недорого, — ответил я. — Мы не богаты.

— Я бы хотел когда-нибудь жить в таком доме, — сказал он, протягивая мне косяк.

— Да брось ты, — сказал я.

У меня были для нас другие планы.

— Серьезно, — сказал он. — Мне нравится.

— Нет, — сказал я. — Просто ты сейчас под кайфом. На самом деле ты так не думаешь.

Он затянулся. Курил он красиво — изящно, почти по-женски придерживая косяк большим и средним пальцами.

— А я все время буду под кайфом, — заявил он, — чтобы мне всегда нравился этот дом и Кливленд и вообще чтобы все было как сейчас.

— Ну, есть и другие способы прожить эту жизнь, — ответил я.

— Нет, скажи, а неужели тебе здесь не нравится? Я не верю. Ты сам не понимаешь, что у тебя есть!

— Понимаю, — сказал я. — У меня есть мать,

---

[8] Примечания: 8
«Женщина из Лос-Анджелеса» *(англ.)*.

которая каждое утро спрашивает, что именно я хотел бы съесть на обед, и отец, который почти не вылезает из своего кинотеатра.

— Да… — ухмыльнулся Бобби.

Его широкая в запястье рука, покрытая светлыми волосками, лениво покоилась у него на колене. Просто и небрежно, словно в этом не было ничего особенного.

Мне кажется, я знаю, когда моя симпатия переросла во влюбленность. Однажды ранней весной мы с Бобби сидели в моей комнате, слушая «Грейтфул дэд». Это был обычный вечер моей новой жизни. Бобби передал мне косяк, я взял его, а он, убирая руку, недоуменно взглянул на темно-каштановое родимое пятно на внутренней стороне запястья. По-видимому, за все прожитые им тринадцать лет он никогда не замечал его, хотя я обращал на него внимание уже не раз: смещенная немного вбок небольшая пигментная клякса вокруг сеточки вен. Родимое пятно удивило его и, как мне показалось, чуть испугало. Он осторожно дотронулся до него указательным пальцем правой руки с выражением какой-то детской капризности на лице. И тут, как бы уловив спектр его переживаний по поводу этого крохотного несовершенства, я вдруг осознал,

что он живет внутри своей плоти так же и с тем же самым смешанным чувством смущения и любопытства, как я — внутри своей. До этого я думал — хотя никогда бы в этом не признался даже себе самому, — что все остальные немножко ненастоящие; что их жизнь — это некое сновидение, составленное из отдельных фрагментов и настроений, похожих на мгновенные снимки — дискретные и однозначные. Бобби прикоснулся к своему родимому пятну со страхом и нежностью. Вся сцена заняла несколько секунд, и драматизма в ней было не больше, чем, скажем, в эпизоде с человеком, взглянувшим на часы и присвистнувшим от удивления. Но в этот момент Бобби как бы открылся мне. Я увидел его. Он был здесь. Вот сейчас он жил в этом мире, потрясенный и слегка испуганный самой возможностью находиться здесь, сидеть в этой комнате, обитой сосновыми планками.

Это длилось какое-то мгновение, но я был уже на другом берегу. После того вторника я уже не мог, даже если бы очень захотел, не думать о Бобби. Все отличительные свойства его личности, все его поступки сделались для меня какими-то особенно реальными, и я то и дело пытался представить себе, что это значит — быть им.

Вечер за вечером мы, как сыщики, бродили по улицам. Мы подружились с парнем по имени Луи, ночевавшим в ящике от рояля. Он покупал нам красное вино в обмен на продукты, которые я утаскивал с нашей кухни. Через пожарные тюки мы вылезали на крыши домов в центре города, чтобы пережить это ни с чем не сравнимое ощущение пребывания на высоте. Наглотавшись таблеток, мы часами шатались по свалке, сверкающей, как алмазная копь: нам попадались таинственные гроты и какие-то особенные холмы, лучащиеся лунным, выбеленным светом, который я все пытался поймать руками. На попутках мы ездили в Цинциннати, чтобы проверить, успеем ли мы смотаться туда-обратно прежде, чем нас хватятся мои родители.

Однажды — вечером в четверг — Бобби привел меня на кладбище, где были похоронены его брат и мать. Мы закурили.

— Старик, — сказал Бобби, — я не боюсь кладбищ. Покойники такие же, как мы с тобой, и хотели они того же самого.

— А чего, по-твоему, мы хотим? — спросил я, чувствуя, что марихуана начинает действовать.

— Э, старик, — сказал он, — ну, просто того же, чего они.

— Так чего же?

Бобби пожал плечами.

— Я думаю, жить.

Он провел ладонью по траве и протянул мне косяк, мокрый от его и моей слюны. Я выдул белую струю дыма в небо, на котором мерцали Плеяды. За нами светились огни Кливленда. Промчавшаяся мимо машина оставила в прохладном воздухе несколько тактов «Helter Skelter».[9]

Настал апрель. Купальный сезон еще не открылся, но по моему настоянию мы отправились в карьер, едва стаяли последние сугробы. Я знал, что мы будем купаться нагишом. Я подгонял время.

Был ясный, словно промытый долгими холодами, весенний день. Небо было бледно-голубым, как талый лед. Из-под земли показались уже первые, самые неприхотливые цветы с толстыми стеблями. Карьер находился в трех милях от города. Небо отражалось в его темной неподвижной воде. Не считая нас с Бобби и одинокой коровы цвета жженого сахара, которая прибрела с пастбища попить на мелководье, на берегу никого не было. Можно было подумать, что мы приехали

---

[9] Примечания: 9

Песня из репертуара «Битлз».

на высокогорное ледниковое озеро в Гималаях.

— Красиво, — сказал Бобби. Мы закурили.

С ясеня, на котором еще не раскрылись почки, вопросительно вскрикнув, сорвалась голубая сойка.

— Мы просто обязаны искупаться, — сказал я. — Просто обязаны.

— Нет, старик. Еще слишком холодно. Вода ледяная, — возразил он.

— Все равно. Сегодня первый день официального купального сезона. Если мы сегодня не искупаемся, завтра снова пойдет снег.

— Кто тебе сказал?

— Это всем известно. Пошли.

— Ну, не знаю, — сказал он. — Холодновато.

Тем временем мы вышли на засыпанную галькой полосу пляжа, где у самого края воды стояла корова, поглядывающая на нас своими большими и черными, как уголь, глазами. Очертаниями карьер напоминал лошадиную подкову, окруженную по периметру зубчатым полукругом известковых скал.

— А по-моему, совсем не холодно, — сказал я Бобби. — В это время года вода здесь как на Бермудах. Смотри.

Подгоняемый страхом, что мы так ничего и не

совершим сегодня, кроме как одетые выкурим косяк у кромки темной воды, я полез наверх по глинистому склону. Скалы в этом месте карьера поднимались вверх метров на семь, и летом самые отчаянные смельчаки ныряли с них в воду. У меня никогда и в мыслях не было прыгать с такой высоты. Особой храбростью я не отличался. Но в тот день я в своих новых, все еще жавших мне ковбойских сапогах вскарабкался на потрескавшееся известняковое плато, расцвеченное первыми желто-бурыми крокусами.

— Здесь давно лето, — закричал я Бобби, сиротливо стоявшему на пляже (Бобби курил, прикрывая косяк ладонью). — Только не пробуй воду. Залезай сюда и прыгнем. Так надо.

— Не, Джон, — крикнул он. — Слезай!

И тут в состоянии какой-то гудящей приподнятости я начал расстегивать рубашку. Нет, это был уже не робкий, вечно смущающийся Джонатан. Тот, кто раздевался сейчас под удивленным взором пьющей воду коровы, был и отважен и уверен в себе.

— Джон! — крикнул Бобби чуть настойчивей.

Когда я скинул рубашку, стянул сапоги и носки, меня охватило беспричинно восторженное чувство, какого я не испытывал еще никогда.

Чувство это росло по мере того, как все новые участки кожи соприкасались со светом и сверкающим ледяным воздухом. Я становился все легче, все могущественнее. Наконец я не слишком грациозно вылез из джинсов и длинных трусов и замер — голый, костлявый, безумный, в лучах холодного солнца.

— Вот так! — крикнул я.

— Эй, старик, не смей, — крикнул Бобби снизу. Но ради Бобби, ради моей новой жизни я прыгнул.

Вода, оказывается, была все еще покрыта прозрачной коркой льда, тончайшей мембраной, которую я заметил, лишь пробив ее. Я услышал негромкий треск и увидел взметнувшиеся вверх осколки льда. А потом я провалился в невероятный, немыслимый холод. На бесконечно долгое мгновение у меня перехватило дыхание и, как мне показалось, остановилось сердце. Моя плоть в животной панике облепила скелет. Я умираю, отчетливо подумал я. Вот, значит, как это бывает.

Затем я вынырнул на поверхность, вторично пробившись сквозь лед. Сознание выскользнуло из моего тела, и откуда-то сверху я увидел, как плыву к берегу, тщетно пытаясь вдохнуть. Мои

легкие превратились в два стиснутых кулака. В воздухе сверкали алмазные кусочки льда.

Бобби по пояс вбежал в воду, чтобы помочь мне выбраться. Я помню, как мокрые джинсы облепили его ноги. Помню, как у меня мелькнула мысль о том, что он загубит свои сапоги.

Мне понадобилось еще какое-то время, чтобы осознать, что он во все горло орет на меня.

— Кретин! — вопил он. (Его губы были совсем близко от моего уха.) — Кретин!

Отвечать я не мог — я был слишком занят своим дыханием. Он отвел меня подальше от воды и только тогда, ослабив хватку, позволил себе полномасштабную тираду. Мне ничего неоставалось, как, стоя на гальке, ловить ртом воздух, дрожать и слушать.

Сначала он просто бегал взад-вперед, словно между двух невидимых объектов, удаленных друг от друга примерно метра на четыре.

— Ублюдок! — орал он. — Кретин!

Потом — пробежки становились все короче — закружился волчком практически на одном месте. Лицо у него было пунцовым. Наконец он вроде бы уже совсем остановился, но напоследок все-таки сделал еще три полных оборота, словно в нем раскручивалась невидимая пружина. При

этом он не переставая что-то орал. Постепенно его речь превратилась в какой-то неразборчивый возмущенный клекот, поток невнятного гневного бормотанья, обращенный, казалось, даже не ко мне, а к небу, скалам и безмолвным деревьям.

Я молчал. Я никогда прежде не только не видел подобной ярости, но даже не представлял себе, что такое бывает. Оставалось надеяться на то, что когда-нибудь он выдохнется.

Спустя какое-то время он, без всяких объяснений, полез на скалу, где осталась лежать моя одежда. Его гнев немного утих, но отнюдь не прошел. Я голый стоял на гальке. Вернувшись, Бобби швырнул мне под ноги одежду и сапоги.

— Одевайся! Сейчас же!

В его голосе звучало неподдельное осуждение.

Я повиновался.

Когда я оделся, он поверх моей куртки накинул на меня свою.

— Не надо, — сказал я. — У тебя самого джинсы мокрые.

— Заткнись, — сказал он. И я заткнулся.

Мы пошли к автостраде ловить попутку в город. Бобби крепко прижимал меня к себе, обняв за плечи.

— Какой же ты кретин, — бормотал он. — Насто-

ящий придурок! Придурок! Просто придурок!

Он обнимал меня все время, пока мы стояли, подняв большие пальцы, на краю шоссе, и потом, когда двое студентов из Оберлина посадили нас на заднее сиденье своего «фольксвагена». Он прижимал меня к себе всю дорогу.

В доме он тут же включил обжигающий душ, помог мне раздеться и загнал в ванну. И лишь после того, как я вышел, обмотавшись полотенцами, тоже снял с себя мокрую одежду и сам залез под душ. Когда он вышел, он был весь усеян сверкающими каплями, а бледные волоски приклеились к его груди. Мы пошли в мою комнату, поставили пластинку Джимми Хендрикса и скрутили косяк. Мы сидели, завернувшись в полотенца, и курили.

— Какой же ты придурок, — тихо сказал он. — Ты же мог погибнуть. Ты понимаешь, что бы со мной было тогда?

— Нет, — сказал я.

— Я бы… мне… не знаю…

И посмотрел на меня с такой грустью… Тогда я сунул косяк в пепельницу и сделал то, что потребовало от меня гораздо больше мужества, чем прыганье со скалы в ледяную воду, чем все мои прежние отчаянные поступки, вместе взятые, —

я положил свою ладонь ему на руку, сильную, мускулистую руку, покрытую золотистыми волосками. Я смотрел в пол, на плетеный ковер и доски цвета спелой тыквы. Бобби не отдернул руки.

Прошло около минуты. Сейчас или никогда. Замирая от ужаса, с бешено колотящимся сердцем, я начал осторожно поглаживать его руку кончиком указательного пальца. Вот, подумал я, вот сейчас он обо всем догадается и убежит, содрогаясь от отвращения. И тем не менее я продолжал водить пальцем по его руке. Страх и желание были настолько сильны и так переплелись, что их почти нельзя было отличить друг от друга. Бобби не отстранился, но и не отвечал на мои ласки.

Я взглянул ему в лицо. В выражении его горящих, немигающих глаз появилось что-то звериное, рот был расслабленно полуоткрыт. Я понял, что ему тоже страшно, и именно это позволило мне переместить руку ему на плечо. Я почувствовал, как его кожа над гладким широким изгибом лопатки покрылась мурашками. Я слышал, как он дышит, как опускается и поднимается его грудь.

Быстро — выдержка окончательно изменила мне — я положил руку ему на бедро. Он вздрогнул,

поморщился, но не отодвинулся. Я сунул руку под полотенце и заметил, как по его глазам скользнула тень страха и удовольствия. Поскольку я понятия не имел, что делать, я просто продублировал те движения, которые применял к самому себе. Когда он напрягся и затвердел в моей руке, я расценил это как жест прощения.

Затем он протянул руку и с неожиданной нежностью прикоснулся ко мне. Мы не целовались и не обнимались. Джимми пел «Purple Haze».[10] Где-то в глубине дома гудели батареи.

Мы вытерлись потом салфетками «Клинекс» и молча оделись. Впрочем, едва мы оделись, Бобби снова раскурил косяк и снова заговорил своим обычным тоном об обычных вещах: об очередных гастролях «Грейтфул дэд», о наших планах заработать на машину. Мы сидели на полу в моей комнате и курили — обыкновенные американские подростки в обыкновенном доме, объятом скукой и пробивающейся зеленью огайской весны. В тот день я получил еще один урок: к любви между мальчиками, как ко всякой нелегальной практике, лучше всего относиться спокойно, будто к чему-то заурядному. Правила

---

[10] Примечания: 10
«Пурпуровая мгла» *(англ.).*

хорошего тона требуют избегать каких бы то ни было обсуждений и комментариев. И мы, несмотря на всю нашу неопытность и смущение, повели себя именно так — как чуткие прирожденные преступники.

Элис

Когда наш сын Джонатан привел его к нам домой, им обоим было по тринадцать лет. Он казался голодным, непредсказуемым и опасным, как бездомный пес.

— Бобби, — спросила я, в то время как он сосредоточенно поглощал жареного цыпленка, — ты давно живешь в Кливленде?

Его волосы напоминали наэлектризованное гнездо. На нем были ковбойские сапоги и кожаная куртка с синим выцветшим глазом на спине.

— Всю жизнь, — ответил он, обгладывая цыплячью ножку. — Я просто был невидимкой, а теперь решил стать как все.

Можно было подумать, что дома его вообще не кормят. Он оглядывал нашу столовую с такой неприкрытой жадностью, что на какое-то мгновение я ощутила себя ведьмой из «Ханса и Гретель». Я вспомнила, как ребенком в Новом

Орлеане наблюдала за термитами, прогрызающими наличники на окнах в гостиной, и как изъеденные деревянные завитушки ломались потом в пальцах, словно кусочки сахара.

— Ну что ж, добро пожаловать в материальный мир, — сказала я.

— Спасибо, мэм, — ответил он без улыбки.

После чего снова вгрызся в цыплячью косточку с такой силой, что она треснула. Когда он ушел, я сказала Джонатану:

— Да, типчик. Где ты его нашел?

— Это он меня нашел, — отрезал Джонатан.

Характерной особенностью его переходного возраста стала несколько аффектированная лаконичность. Его кожа была еще совсем гладкой, а голос — по-мальчишески звонким, и, по-видимому, он решил, что самый верный способ казаться взрослым — это вот такая резковатая вескость речи.

— А где он тебя нашел? — мягко поинтересовалась я.

В конце концов, я всего-навсего наивная любопытная южанка. Даже теперь, после стольких лет, проведенных в Огайо, мне иногда удавалось извлечь выгоду из своего происхождения.

— Он подошел ко мне в первый же день заня-

тий и с тех пор не отставал.

— По-моему, он какой-то странный, — заметила я. — Честно говоря, он меня даже немного напугал.

— Он с характером, — ответил Джонатан, явно давая понять, что обсуждение закончено. — Его старшего брата убили.

В Новом Орлеане у нас было специальное название для той социальной группы, к которой явно принадлежал Бобби и куда входили неблагополучного вида подростки, чьи родственники несколько чаще обычного умирали насильственной смертью. Тем не менее я не могла не признать, что характер у него действительно есть.

— Давай сыграем в карты! — предложила я.

— Не, мам. Не хочется.

— Ну, хоть разок. Ты должен дать мне возможность отыграться.

— Ну ладно, только один раз.

Мы убрали со стола, и я раздала карты. Но играла я рассеянно. Мне не давал покоя этот мальчик. С какой алчностью оглядывал он нашу гостиную! Джонатан забирал взятку за взяткой. Я поднялась наверх за свитером, но согреться так и не смогла.

Джонатан взял даму пик.

— Поосторожней! — воскликнул он. — Сегодня со мной шутки плохи!

Он так радовался выигрышу, что даже на время забыл о своем новоприобретенном хладнокровии. Я не могла понять, почему он не пользовался большей популярностью в школе. Он был и умен, и красив, красивее большинства мальчиков, встречавшихся мне в городе. Может быть, мое южное воспитание лишило его необходимой грубоватости, сделало слишком мягким и открытым для этого жестокого города на Среднем Западе? Впрочем, не мне судить. Какая мать хотя бы немного не влюблена в своего родного сына?

Нед вернулся домой за полночь. Я читала лежа наверху, когда услышала, как он отпирает входную дверь. Выключить свет и притвориться спящей? Нет. Скоро мне исполнится тридцать пять. Я приняла кое-какие решения, касающиеся нашего брака.

Я услышала, как он дышит, поднимаясь по лестнице. Я легла чуть выше и одернула ночную рубашку. Вот он в дверях нашей спальни — мужчина сорока трех лет, все еще привлекательный по обычным меркам. В последнее время он начал седеть — с висков, в канонической манере стареющего героя-любовника.

— Ты еще не спишь?

По его тону нельзя было понять, радует это его или огорчает.

— Не могу оторваться, — ответила я, указывая на книгу.

Ну вот, опять не то сказала. «Тебя ждала» — вот как надо было ответить. Однако не спала я именно из-за книги. Неужели, чтобы исправить нашу жизнь, необходимо постоянно мелко подвирать? Я продолжала надеяться, что это не так.

Он шагнул в комнату, расстегивая рубашку, из-под которой показалась волосатая, с проседью грудь.

— Похоже, «Избавление» для Кливленда все-таки чересчур, — сказал он. — Уже звонили несколько возмущенных родителей.

— Я вообще не понимаю, зачем ты его заказал, — заметила я.

Он снял рубашку и, скомкав, сунул в корзину для белья. Капельки пота поблескивали у него под мышками. Когда он повернулся, я увидела у него на спине обильную растительность, напоминающую своими контурами карту Африки.

Нет! Сосредоточиться на его доброте, на его мягком юморе! На его стройной фигуре.

— Ты что? Мне крупно повезло, — сказал он. —

Это же будущий чемпион проката. На семичасовом зал был заполнен почти на три четверти.

— Ясно, — сказала я.

Я положила книгу на ночной столик. Получился глуховатый, но удивительно звучный хлопок.

Он снял брюки. Будь я другим человеком, я бы весело сказала: «Дорогой, пожалуйста, сначала снимай носки, а потом — брюки. Мужчина в трусах и черных носках — это невыносимо!»

Но я была тем, чем была. Нед аккуратно повесил брюки и какое-то время стоял в трусах и темных эластичных носках. Почему-то он упорно покупал именно такие носки, хотя от них у него уже вытерлись волосы на голенях и, когда он их снимал, на коже оставался красноватый узорчатый отпечаток.

Он надел штаны от пижамы поверх трусов и только тогда присел на край кровати, чтобы стянуть носки. Нед редко бывал совсем голым, разве что в ванной.

— Уф, — выдохнул он. — Как же я вымотался!

Я дотронулась до его потной спины. Он вздрогнул.

— Не бойся, — сказала я. — Я с самыми добрыми намерениями.

— «Нервная Нелли», — улыбнулся он.

— Сегодня Джонатан привел нового приятеля. Ты бы его видел.

— Что, еще хуже Адама? — спросил он.

— Намного. Только совсем в другом роде. В этом есть что-то пугающее.

— То есть?

— Ну, он какой-то немытый. Настороженный. И впечатление такое, что дома его вообще не кормят.

Нед покачал головой.

— Знаешь, — сказал он, — по-моему, не надо вмешиваться. Джонни сам с ними разберется.

Я почувствовала, что во мне поднимается волна раздражения. Нед так мало бывает дома. И поэтому все, происходящее здесь в его отсутствие, представляется ему чем-то вроде непритязательной комедии, милого фильма о жителях одного дома на окраине города. Я продолжала поглаживать его спину. — Но мне как-то не по себе, — сказала я. — Адам и другие по сравнению с ним просто дети. А этот, по-моему, может и украсть, и бог знает что еще сделать. Понимаешь, я испугалась, что Джонатан тоже изменится: начнутся девочки, машины, невесть что еще.

— Конечно, начнутся, бабуся, — отозвался Нед и уютно забрался под одеяло. Я понимаю, какое

кино крутилось сейчас у него в голове — веселая комедия из жизни тинейджеров: безобидные развлечения, первые свидания, друзья-хиппи и т. д. и т. п. Возможно, он прав. Но мне такой беззаботный подход был недоступен. Я не могла объяснить ему, как меняется восприятие, если это не фантазии, а твой ежедневный, ежечасный опыт. Попытайся я что-нибудь сказать, тут же оказалась бы в роли беспокойной клуши с атрофированным чувством юмора.

— Ты не против, если я потушу свет? — спросил он. — Или хочешь еще почитать?

— Нет. Туши.

Мы легли рядышком и некоторое время молча дышали в темноте. Казалось бы, у нас не должно быть проблем с темами для разговора. Но, возможно, самым главным открытием в области семейной жизни стала для меня ее непреходящая формальность, и это при том, что телесные привычки другого известны тебе лучше своих собственных. Однако за исключением обремененности этим знанием мы ничем не отличались от просто мужчины и женщины на очередном свидании, проходящем к тому же не слишком успешно.

— Я сегодня приготовила цыпленка с эстраго-

ном, — сказала я. — Ты бы видел, как он на него набросился. Как будто неделю не ел.

— Ты о друге?

— Да.

— Как его зовут?

— Бобби.

На улице громко мяукнула соседская кошка. После смерти мисс Хайдеггер ее дом последовательно переходил к трем разным семьям, отличительными особенностями которых было невероятное количество недокормленных собак и кошек и склонность к внезапным отъездам. Наш район явно хирел.

— Нед!

— Угу?

— Я сильно постарела?

— Больше шестнадцати тебе не дашь, — сказал он.

— Мне давным-давно не шестнадцать.

Тридцать четыре! Когда-то казалось, что это уже старость! Сейчас вообще ничего не кажется. Однако мой сын скоро будет бриться. Он начнет от меня что-то скрывать, куда-то уезжать на машине…

Я не знала, как объяснить Неду, чтобы он понял мои чувства: я перестаю играть главную роль в

этой пьесе. Я не могла сказать этого прямо, буквально такими словами. Они не пробились бы сквозь домашний воздух нашей спальни.

— Что такое тридцать четыре, малыш?! — сказал он. — Ты посмотри, с кем разговариваешь. Я уж и не помню, когда мне было тридцать четыре.

— Да… извини. Все это пустая болтовня.

Я протянула руку и погладила его грудь под одеялом. Его кожа опять покрылась мурашками. Он не привык к таким знакам внимания с моей стороны.

— Ты великолепно выглядишь, — сказал он. — Ты в самом расцвете сил.

— Нед!

— Мм?

— Я правда тебя люблю. Господи, как давно я этого не говорила!

— Я тебя тоже очень люблю, малыш.

Я провела пальцем по его руке — вниз от плеча к запястью.

— Я сегодня сентиментальная, — сказала я. — Все. Становлюсь нежной.

— Ты и так нежная! — сказал он.

— Сейчас точно.

В моем ровном голосе не было прямого обо-

льщения, но и холодности тоже не было.

Нед дотронулся пальцами до моих пальцев. Раньше я думала, что все просто: либо ты любишь мужчину и с удовольствием с ним спишь, либо нет. Я никогда не предполагала, что можно любить человека, не испытывая к нему плотского влечения.

Нед прочистил горло. Я потянулась поцеловать его, и он позволил мне себя поцеловать. В его пассивности было что-то трогательное, что-то девственное, почти девичье, хотя он и царапал меня своей щетиной.

— Сегодня я нежная, — повторила я, и на этот раз мне удалось произнести эти слова шепотом на выдохе. По-моему, это была неплохая имитация желания — желания, которое я и вправду могла испытать, если бы он приласкал меня так же робко и смущенно, как принял мой поцелуй.

— Хм, — произнес он (тихое рычание, идущее откуда-то из глубины горла).

Я почувствовала особенную легкость под ложечкой — ощущение расширяющейся возможности, чего не знала с ним уже довольно давно. Все еще могло произойти.

Затем он приподнял голову и тоже поцеловал меня в губы. Я ощутила давление его зубов. Лег-

кость улетучилась, но я не сдалась. Я ответила на его поцелуй и стиснула пальцами его обнаженное плечо. Оно было влажным от пота. Под ладонью я чувствовала его жесткие скрученные волоски. Его зубы, лишь слегка смягченные верхней губой, продолжали настырно давить на мои.

И я поняла, что ничего не выйдет. Во всяком случае, этой ночью. Я выпала из происходящего. Внимание покинуло мое тело и переместилось в дальний угол комнаты, откуда принялось с неодобрением наблюдать, как сорокатрехлетний мужчина грубо целует свою жену, водя липкими от пота руками по ее стареющим бедрам. Конечно, я могла бы длить это и дальше, но ничего нового бы не произошло. Разве что усилилось смутное раздражение, всегда сопутствующее фальши.

Я отстранилась и несколько раз быстро поцеловала его в шею.

— Нед, — прошептала я, — просто обними меня и полежим так минутку, хорошо?

— Конечно, — сказал он покладисто. — Конечно.

Мне показалось, что на самом деле он испытал облегчение.

Какое-то время мы лежали, прижавшись друг

к другу. Потом Нед ласково поцеловал меня в макушку и отвернулся. Мы никогда не спали обнявшись. Ни разу в жизни. Вскоре он уже мерно посапывал. Проблем со сном у него не было. Как и почти со всем остальным. У него был особый дар: он умел сообразовывать свои желания с реальным положением дел.

Ладно, может быть, то, что произошло сегодня, — только начало. Может быть, завтра я смогу сделать следующий шаг.

Мне не хотелось превращаться в семейного монстра — истеричную мать, вечно недовольную жену. Я снова дала себе несколько обещаний и заснула уже тогда, когда за окнами голубел рассвет.

Джонатан не расставался с Бобби, который теперь регулярно обедал у нас. Разумеется, Нед не возражал, иначе это был бы уже не Нед. Он словно отгородился от мира неким подобием фильтра, отцеживающего и обезвреживающего происходящее.

У меня такого фильтра не было.

Бобби никогда никуда не спешил. Всегда был свободен. При этом он ни разу не пригласил Джонатана к себе, что, впрочем, меня не слишком огорчало. Хотя и казалось немного странным.

— Бобби, а чем занимается твой отец? — как-то спросила я его.

Он уже проглотил несколько кусков хлеба домашней выпечки, обмакнув их в белый соус, хотя ни Джонатан, ни Нед, ни я еще даже не приступили к еде.

— Он учитель, — ответил он. — Только не в нашей школе. В Рузвельте.

— А мать?

— Она умерла. Около года назад.

Он запихал в рот очередной кусок и протянул руку за следующим.

— Мне очень жаль, — сказала я.

— Почему? Ведь вы же ее не знали.

— Ну, я употребила эти слова в более широком смысле. Я хотела сказать, что сочувствую твоей потере.

Продолжая жевать, он взглянул на меня так, словно я заговорила на санскрите.

Потом спросил:

— Как вы готовите этот соус?

— Масло, уксус, — ответила я. — Лимон. Немного вермута. Ничего сложного на самом деле.

— Никогда такого не ел, — сказал он. — А хлеб вы тоже сами испекли?

— Хлеб — это мое хобби, — ответила я. — Я разве

что во сне его не пеку.

— Ничего себе!

Изумленно тряхнув головой, он потянулся за новым куском.

После обеда мальчики поднялись в комнату Джонатана, и через секунду раздалась музыка — непривычный грохот ударных, от которого задрожали половицы. Бобби принес свои пластинки.

— Господи, этот парень — настоящий сирота, — сказал Нед.

— Он не сирота, — возразила я. — У него есть отец.

— Ну ты понимаешь, о чем я говорю. Парню приходится несладко.

Я начала убирать со стола. В детстве, я помню, были такие районы, куда мы вообще не заходили. Их для нас как бы не существовало — белое пятно на карте.

— Ну да. Поэтому Джонатан так с ним и носится. Если бы он был еще и колченогим, наверное, обедал бы у нас каждый день, а не через день, как сейчас.

— Что с тобой? — сказал Нед. — Я тебя не узнаю.

Я поставила тарелку Бобби на тарелку Джонатана

на. Чтобы создать иллюзию того, что он все съел, Джонатан художественно распределил свою еду по краям. Он был такой худущий, что иногда при ярком освещении казался почти прозрачным. Тарелка Бобби была без единого пятнышка, как будто он вылизал ее языком. И на скатерти, там, где он сидел, не осталось ни крошки.

— Я знаю, — ответила я. — И мне его искренне жаль. Но что-то в этом мальчике меня пугает.

— Он просто дикий, вот и все. Растет без матери и, естественно, не слишком ухоженный. По-моему, мы можем позволить себе обогреть одного дикого мальчика, как ты считаешь?

— Да, конечно.

Я понесла грязные тарелки в кухню. Добрый Нед и бессердечная Элис. Нед принес оставшуюся посуду.

— Не волнуйся, — сказал он, стоя за моей спиной. — Все мальчишки приводят домой диких друзей. Джонатан от этого не испортится, поверь мне.

— Но я не могу не волноваться, — сказала я, включая воду. — Ему тринадцать лет. Это… ну, мне трудно объяснить. Как будто вдруг открылась тайная сторона самого Джонатана. Что-то, что он тщательно скрывал, что-то такое, о чем

мы даже не догадывались.

— По-моему, ты все чересчур драматизируешь.

— Ты думаешь?

— Да. Если бы мне не нужно было сейчас убегать, я бы рассказал тебе о Робби Коуле. Он был моим лучшим другом в школе. Меня особенно восхищало, как он открывал бутылки зубами. А он еще много чего умел.

— Ну вот ты и вырос таким.

— Я женился на тебе, — ответил он.

— Похвально. Хотя и не тянет на великое жизненное свершение.

— Я женился на тебе, и мне принадлежит лучший кинотеатр Кливленда и его окрестностей. И мне пора отправляться на работу.

— Пока.

Он обнял меня за талию и громко чмокнул в шею. Я почувствовала его специфический запах — смесь природного запаха кожи и цитрусового крема после бритья. Я словно оказалась на его территории, внутри его защитной оболочки и на какой-то миг поверила, что все проблемы рано или поздно разрешатся и все будет хорошо. Я повернулась и нежно поцеловала его в колючую щеку.

— Не грусти, — сказал он.

Я обещала постараться. Пока он был дома, это казалось возможным. Но едва он уходил, эта возможность таяла, как свет от фонарика, который он брал с собой на улицу. Я наблюдала за ним из окна кухни. Может быть, самым поразительным в Неде была его способность вот так, как ни в чем не бывало, шагать по этому городу из серого камня и желтого кирпича, продуваемого насквозь такими ветрами, от которых сжималось сердце.

Я взяла новую поваренную книгу с рецептами французской народной кухни и начала планировать завтрашний обед.

Было уже около одиннадцати, а Бобби все не уходил. Наконец я не выдержала.

— Мальчики, — крикнула я, — вы не забыли, что завтра в школу?!

Даже сейчас, спустя тринадцать лет, меня поражало, что я могу «звучать» так по-взрослому, как настоящая мама.

Я читала газету, когда Бобби наконец сошел вниз.

— Спокойной ночи, — сказал он.

В его манере говорить и держаться было что-то от иностранца, пытающегося освоиться с местными обычаями. Больше всего он напоминал беженца из отсталой страны, голодного и отча-

янно пытающегося произвести благоприятное впечатление. То, как он произнес «спокойной ночи», было точной копией моего обращения к нему.

— Бобби, — начала я, не зная на самом деле, что сказать дальше. Просто он так выжидательно смотрел на меня…

— А?

— Мне искренне жаль, что с твоей матерью случилось несчастье, — сказала я. — Надеюсь, ты не воспринял мои слова за обедом как простую формальность.

— Нет, я все понял.

— А как вы с отцом справляетесь? Сами готовите, убираетесь, да?

— Угу. А еще раз в неделю к нам приходит домработница.

— А почему бы тебе как-нибудь не привести папу к нам на обед? Скажем, на следующей неделе?

Он посмотрел на меня угрюмо-вопросительно, как будто я нарушила некое неписаное правило его страны и теперь остается только выяснить, сделала ли я это умышленно или нечаянно, и все дело просто в коренном отличии местных обычаев.

— Не знаю, — сказал он.

— Пожалуй, я сама ему позвоню. А теперь, мне кажется, тебе пора домой. Уже поздно.

— Да, хорошо.

Не скажи я этого — уверена, он бы так и не сдвинулся с места.

— Спокойной ночи, — сказала я, и эти слова как эхо вернулись ко мне, произнесенные мальчишеским голосом.

Когда он ушел, я поднялась наверх и постучалась к Джонатану.

— Да? — сказал он.

— Это я. Можно?

— Ага.

Он лежал на кровати. В колонках хрипел гнусавый мужской голос в сопровождении акустической гитары. Окно было открыто, хотя уже начался ноябрь. Мне показалось, что я уловила запах сладковатого дыма, так и не растворившийся до конца в зябком колючем воздухе.

— Хорошо пообщались? — спросила я.

— Отлично.

— Бобби непросто живется, да?

— Он справляется.

— А ты знал, что его мать умерла?

— Ага.

— А что с ней случилось?

— Точно не знаю. Вроде бы от передозировки снотворного. Ей врач прописал. Она несколько лет принимала эти таблетки, а потом стала жаловаться, что они больше не действуют. Так что, может быть, это просто несчастный случай.

— И брат у Бобби тоже умер, да?

Джонатан кивнул.

— Ну это уж точно был несчастный случай. Не убийство. После этого мать и начала пить снотворное.

Он сообщал мне эти факты почти с гордостью, как будто они были доказательством неких жизненных достижений Бобби.

— О Господи! Случаются же несчастья у людей!

В комнате становилось ужасно холодно. Я подошла и закрыла окно. Еще чуть-чуть — и изо рта пар пойдет.

— А с нами никогда ничего не происходит, — сказал Джонатан. — Ничего плохого.

— Нам везет.

Отвернувшись от окна, я вдруг увидела на стуле кожаную куртку Бобби. Ее единственный, как у циклопа, ирисовый глаз размером с хоккейную шайбу глядел на меня с вытертой кожи.

— Бобби забыл свою куртку.

— Он оставил ее мне поносить, — отозвался

Джонатан. — Это была куртка его брата. А я сегодня в школе отдал ему свою.

— Как? Свою новую ветровку? Ты обменял ее на это?

— Ага. Бобби часто вспоминает брата. Похоже, он действительно был стоящим парнем. После его смерти вся их семья, можно сказать, развалилась.

— Ты знаешь, сколько стоит твоя ветровка? — спросила я.

Он посмотрел на меня по-новому — жестко, нижняя челюсть агрессивно выставлена вперед.

Я решила не наседать и дать ему время переварить мои слова.

— Что ты думаешь насчет тушеной телятины к завтрашнему обеду? — спросила я. — Хочу попробовать один рецепт: телятина с грибами и репчатым луком.

— Мне все равно, — ответил он, пожимая плечами.

Я поежилась, обхватив себя руками. Все-таки тут было жутко холодно.

— Давай быстренько сыграем в карты, — предложила я. — Мне нужно смыть позор. Я так ужасно проигралась последние два раза — не могу людям в глаза смотреть от стыда.

— Нет, я устал.
— Ну один разок.
— Нет, мам.
— Ну что ж.

Я еще немного помедлила, хотя явно пора было оставить его в покое. Свет от лампы, купленной мной десять лет назад, падал на его светлые волосы и четко очерченное, скульптурное лицо. Он унаследовал мои черты, но как бы в улучшенном варианте. Их излишняя резкость (чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть в зеркало) в его внешности была смягчена.

— Спокойной ночи, — сказал он.

— Спокойной ночи, родной.

Я никак не могла уйти, хотя понимала, что мое присутствие сейчас его только раздражает. Будь я посмелее, я бы сказала ему: «Не надо. Пожалуйста, не начинай меня ненавидеть. Твоя жизнь никуда от тебя не денется. Для этого не обязательно выталкивать из нее меня».

Я молча вышла из комнаты, полная им почти в той же мере, как во время беременности.

Я пригласила Бобби и его отца на обед в ближайший вторник. Они приехали, опоздав на полчаса, с двумя бутылками вина.

— Извините, — сказал отец. — Весь город объ-

ездили. Никак не могли найти приличного «Шардоне». Я надеюсь, вы любите «Шардоне».

Я уверила его, что мы обожаем «Шардоне».

У него была эспаньолка и горчичного цвета пиджак с медными пуговицами. Его лицо, испещренное красноватыми прожилками, являло собой буйство поврежденных капилляров. Это был как бы постаревший, спившийся Бобби.

Его звали Бертон. За обедом он почти не притронулся к еде. Он пил вино, курил «Пэлл-Мэлл» и лишь изредка, в промежутке между этими двумя занятиями, подцеплял вилкой кусочек камбалы, секунду-другую держал его на весу и отправлял в рот, обращая на него не больше внимания, чем плотник на какой-нибудь никчемный гвоздь.

— Как вам ученики в Рузвельте? — спросил его Нед.

На лице Берта Морроу выразилось замешательство. Я сразу же узнала это выражение.

— С ними бывает трудновато, — ответил он ровным голосом. — В основном это неплохие ребята, но иногда с ними непросто.

Мгновение спустя Нед сказал:

— Понятно.

— Мы стараемся сохранять добрые отношения, — сказал Берт. — В смысле, я стараюсь.

Стараюсь не обижать их, и в общем-то, мне кажется, у меня это получается.

Он повернулся к Бобби:

— Как ты думаешь, получается у меня?

— Да, пап, — ответил Бобби.

Взгляд, брошенный им на отца, не выражал ни любви, ни ненависти. У отца с сыном явно было одно общее свойство: их обоих было очень легко привести в изумление, и тот и другой часто реагировали на самый обычный вопрос так, словно он задан привидением. Они были похожи на двух добрых придурковатых старших братьев из сказки — тех, кого не пронять ни ласками, ни колдовством. Джонатан сидел между ними, сверкая своими умными голубыми глазами.

— Я пытаюсь делать то же самое, — сказала я. — Просто не мешать Джонатану набираться жизненного опыта. Господи, я вообще не понимаю, как можно наказывать, чего-то требовать. Иногда я сама чувствую себя ребенком.

И Бобби, и его отец посмотрели на меня совершенно ошеломленно.

— Я очень рано вышла замуж, — продолжила я. — Мне было всего на несколько лет больше, чем им сейчас, и, уж конечно, я не планировала полюбить северянина Неда Главера и переехать

в Огайо, где дует этот жуткий канадский ветер с озера. Брр… Но и по-другому я не могла поступить.

Нед подмигнул и сказал:

— Я называю ее Елена из Луизианы. До сих пор жду, что в один прекрасный день отряд южан оставит деревянного коня на лужайке у нас перед домом.

Берт закурил новую сигарету, дал дыму вытечь из приоткрытого рта и теперь наблюдал, как он змеится над столом.

— Что-то можно было сделать иначе, — отозвался он. — Мне кажется, вы это хотите сказать. Да, конечно.

Я немного разбиралась в психологии и, конечно, понимала, что Джонатану необходимо освободиться от нас с Недом, так сказать, разорвать путы: в каком-то смысле убить нас и потом воскресить снова, когда он станет уже взрослым человеком со своей собственной судьбой, а мы ослабеем и состаримся. Я все понимала, я не была дурой.

Но как-то уж слишком быстро все закрутилось, да и Бобби казался мне сомнительным проводником в будущее. В тринадцать лет перед нами открывается такое множество дорог и мы так

плохо понимаем, что последствия нашего выбора могут сказываться десятилетиями. Помню, как я, когда мне самой исполнилось тринадцать, твердо решила сделаться разговорчивой и раскованной, чтобы легче было вырваться из мира моих родителей с их безмолвными обедами и длинными книжными вечерами, нарушаемыми лишь мерным боем часов. Мне было чуть больше семнадцати, когда я встретила Неда Главера, красивого, остроумного мужчину двадцати с лишним лет, владельца кабриолета «крайслер», прекрасного рассказчика.

Ночью я сказала Неду:

— Ну, теперь по крайней мере понятно, откуда это в Бобби.

— Что «это»?

— Все. Вообще все, что в нем есть. Или чего в нем загадочным образом не хватает.

— Да ты его просто терпеть не можешь!

— Я не желаю ему ничего дурного, — отозвалась я. — Но сейчас у Джонатана очень важный период. И я не уверена, что ему полезно так много общаться с таким мальчиком, как Бобби. Тебе не кажется, что интеллектуально Бобби немного отстает?

— Милая, это просто детское увлечение, и оно

скоро пройдет. Надо чуть больше доверять своему ребенку. За тринадцать лет мы уж наверное вложили в него кое-что.

Я ничего не ответила. Я хотела сказать ему: «Это я кое-что в него вложила, а ты пропадал в своем кинотеатре», но промолчала. Мы лежали засыпая. Ни о каком сексе не могло быть и речи. Для меня это было совершенно исключено. Но время еще есть, думала я.

Может быть, мои попытки сохранить дружбу с Джонатаном были слишком назойливыми. Может быть, мне не следовало так настырно лезть к нему в душу. Но я просто не могла поверить, что мне понадобится какая-то особая твердость и дипломатичность в общении с собственным сыном, с моим болезненно уязвимым ребенком, еще совсем недавно делившимся со мной всем, что приходило ему в голову. Ведь мы так много играли вместе, обменивались секретами…

Мы перестали играть в карты, ходить в субботу по магазинам. Бобби продолжал расхаживать в голубой ветровке, а порой и в рубашках Джонатана. Часто оставался ночевать. Мы стелили ему в комнате Джонатана на раскладушке. Со мной он был неизменно корректен в своей несколько искусственной иммигрантской манере.

Однажды мартовским утром я резала грейпфрут на завтрак. Джонатан сидел за столом в кухне. Бобби в тот день с нами не было.

— Неплохая погодка… особенно для утиной охоты, — сказала я.

— Ага, — отозвался Джонатан, — *для утиной охоты.*

Он пародировал мою интонацию, мой южный выговор.

Наверное, мне следовало пропустить эту шпильку мимо ушей. Проигнорировать ее и продолжать готовить завтрак. Но я не сдержалась и, повернувшись к нему, вежливо спросила:

— Что ты сказал?

Он самодовольно ухмыльнулся. Я повторила свой вопрос:

— Милый, что ты сказал? Я не расслышала.

Он встал и направился к двери, бросив на ходу:

— Обойдемся сегодня без завтрака, дорогая.

Он продолжал меня передразнивать. Сиротливый глаз глядел на меня с его куртки.

Следующая сцена произошла вечером, когда мы смотрели телевизор; на этот раз Бобби тоже был с нами. Нед, как всегда, торчал в кинотеатре. Мы смотрели «Звездный путь».

— Пусть манеры у мистера Спока не бог весть какие, — сказала я, — но все равно он мне больше всех нравится.

— Его путешествие продлится пять лет, — отозвался Джонатан. — Если бы ты была его женой, тебе бы понадобилась дюжина детей, чтобы не скучать.

Опять можно было просто весело рассмеяться, но я никак не могла привыкнуть к его новому, откровенно подловатому тону.

— А мне казалось, что наше общение нужно не только мне, — сказала я.

— Ну разумеется. Ведь тринадцатилетние ребята больше всего на свете любят ходить по магазинам и готовить.

Бобби, по своему обыкновению, сидел на полу. По каким-то неведомым причинам он избегал мебели.

— Кончай, Джон, — сказал он.

— Ну я же просто так, шучу, — сказал Джонатан.

— Все равно, кончай.

И Джонатан замолк. Больше за весь вечер он не произнес ни слова. Его ноги в черных ковбойских сапогах — на покупке которых он настоял — казались какими-то гигантскими военными

орудиями.

Бобби постриг ногти на руках и начал причесываться. Вместо сапог он носил теперь обычные черные кроссовки.

Он всегда держался со мной учтиво, даже больше, чем учтиво, — предупредительно. Проявлял интерес к процессу приготовления моих обедов и спрашивал, как мои дела. Отвечать было нелегко, потому что я не вполне понимала, с кем, собственно, разговариваю. Его по-прежнему окружала аура иностранности, хотя со временем он стал чуть естественнее изображать среднестатистического телеперсонажа. Его манеры сделались чуть более светскими. Он стал регулярно стричься и даже иногда появлялся в новой одежде, не всегда при этом принадлежавшей Джонатану.

Однажды майским вечером, проходя мимо комнаты Джонатана, я услышала какую-то новую, непривычную музыку. Не такую пронзительную, как обычно. Я уже привыкла к постоянному дикому шуму, как привыкают к собачьему лаю. Скрежет электрогитар и грохот ударника стали для меня новой формой тишины. Но эта музыка была совсем другой: приятный женский голос в сопровождении фортепьяно.

Поколебавшись, я все-таки постучалась и сама

поразилась, каким по-мышиному робким получился мой стук. Ведь это мой родной сын, это мой дом. Я имела право постучать в дверь его комнаты. Я снова постучалась, чуть громче.

— Да, — раздался из-за двери голос Джонатана.

— Это я. Можно к вам на минуточку?

Наступила тишина, нарушаемая лишь мелодичными фортепьянными аккордами. Но уже в следующий миг Бобби распахнул дверь.

— Здрасьте, — сказал он, улыбаясь.

Он выглядел как-то нелепо в своей новой бизнесменской рубашке в полоску и джинсах. В глубине комнаты мрачно сидел Джонатан. На нем были черные сапоги и футболка.

— Не хочу вам мешать, ребята, — начала я и вновь с раздражением отметила нотки малодушия в своем голосе. Я держалась как бедная родственница, явившаяся на традиционный ежегодный обед.

— Вы нам не мешаете, — отозвался Бобби. — Совсем нет.

— Я… просто… мне стало интересно, что это за музыка. Какая-то непривычная.

— Вам нравится? — спросил Бобби.

Может быть, это ловушка? Может быть, сказав «да», я окажусь мишенью для насмешек? Ну и

пусть! Переборов свои девичьи страхи, я ответила как тридцатипятилетняя женщина:

— По-моему, очень хорошая. Кто это поет?

— Лора Найро, — ответил Бобби. — Да, она здорово поет. Это старая вещь. Хотите послушать?

Я бросила взгляд на Джонатана. Конечно, мне полагалось отказаться. Отказаться и вернуться к своим делам за сценой — к своим полотенцам и простыням. Но я согласилась.

— Хорошо, — сказала я, — просто минуточку.

И благодарно шагнула в комнату, в которую когда-то могла входить без спроса. За последний год Джонатан обклеил все стены фотографиями длинноволосых рок-певцов с тяжелыми взглядами. По комнате витал грустный женский голос. Отовсюду смотрели суровые мужские глаза.

Джонатан сидел на полу, обхватив руками голени и подтянув колени к груди. Он сидел так с четырехлетнего возраста — это была поза мрачной задумчивости. Может быть, впервые в жизни я увидела в мальчике будущего мужчину, хоть и в свернутом виде. Многое из того, что есть уже сейчас, останется с ним на всю жизнь. Почему-то это поразило меня, хотя ничего оригинального в этом открытии не было. Взросление Джонатана представлялось мне скорее чем-то мгновенным;

просто в один прекрасный день передо мной возникнет добрый, внимательный незнакомец. Я чувствовала, что и права и неправа одновременно.

Бобби взял конверт от пластинки и протянул его мне, как если бы я была потенциальной покупательницей.

— Вот, — сказал он.

Когда я взяла у него конверт, он покраснел не то от гордости, не то от смущения.

Конверт был темно-шоколадного цвета. С него на меня смотрела довольно невзрачная девушка с высоким бледным лбом и мягкими черными волосами, расчесанными на прямой пробор.

Романтическая, непопулярная ученица школы для девочек, вызывающая скорее жалость, чем насмешки. Я хорошо знала этот тип девочек. Я сама легко могла превратиться в такую и предприняла титанические усилия, чтобы этого не случилось. Начала первой заговаривать с людьми, рисковать, встречаться с мальчиками, которых нельзя было представить маме. Нед Главер приехал из Мичигана в ярко-голубом кабриолете. Он был обходительным, остроумным, немного слишком взрослым для меня.

— Мне нравится, — сказала я. — У нее чудесный

голос.

Идеальная реакция хорошо воспитанной дамы средних лет. Я торопливо вернула конверт, словно эта пластинка была мне не по средствам.

— Она бросила петь, — сказал Бобби. — Вышла замуж и переехала то ли в Коннектикут, то ли еще куда.

— Жаль, — сказала я.

Мы стояли друг против друга в смущении, как незнакомцы на вечеринке. Я физически ощущала — лбом и плечами — желание Джонатана выпихнуть меня поскорее из комнаты.

— Ну, — сказала я, — спасибо, что приютили старушку.

— Всегда рады, — отозвался Бобби.

Песня кончилась, и началась следующая, более быстрая, которую, как мне показалось, я узнала. Да. «Джимми Мак». Ее исполняли когда-то Марта и Ванделлы.

— Эту я знаю, — сказала я. — Ну, то есть я ее слышала.

— Да? — сказал Бобби.

И вдруг он сделал нечто фантастическое. Он начал танцевать.

Можно было подумать, что ему изменила речь и танец был единственное, что ему оставалось.

Он проделал все с такой естественностью, словно это было логическим продолжением разговора. Он начал ритмично покачивать бедрами и притопывать. Пол заскрипел под его кроссовками.

— Да, конечно, — сказала я. — Это старая-престарая песня.

Я поглядела на Джонатана. Он был потрясен. Наши глаза встретились, и на какой-то миг мы восстановили нашу былую общность, вновь объединенные страхом перед местными нравами. Я даже на секунду представила, что, когда мы останемся одни, он покажет мне пародию на Бобби, на этот танец с широко развернутыми плечами и затуманенным взглядом, — просто чтобы меня посмешить.

Но тут Бобби взял меня за руку и осторожно потянул на себя.

— Ну же, — сказал он.

— Нет-нет. Это совершенно исключено.

— Не принимается, — весело отозвался он, не отпуская моей руки.

— Нет, — повторила я.

Но, очевидно, моему голосу недоставало уверенности. Возможно, виной тому было мое южное воспитание, моя впитанная с молоком матери убежденность, что нельзя огорчать людей ни при

каких обстоятельствах. Я даже усмехнулась тому, насколько неубедительно прозвучало мое «нет».

Продолжая двигаться в такт музыке, он мягко развернул меня к себе. Танцевал он лучше, чем можно было предположить. Я сама неплохо танцевала когда-то — та девушка, какой я мечтала стать, должна была уметь танцевать, — так что обмануть меня было невозможно. Одним мальчикам можно было довериться в танце, другим нет, и дело тут было даже не в каких-то внешних признаках, это просто сразу чувствовалось, что называется, кожей. Они излучали уверенность. Они словно окутывали вас своей щедрой грациозностью, простым касанием рук убеждая в том, что вы не сделаете ни одного неверного движения. Я была потрясена не меньше, чем если бы он выпустил стаю голубей из рукавов своей полосатой рубашки.

И я взяла его другую руку и начала танцевать, стараясь двигаться как можно лучше, презрев раздражение сына и угрюмые взоры рок-певцов. Бобби смущенно улыбался. Женский голос вел мелодию с грустной непринужденностью, как будто чья-то закомплексованная кузина вдруг на несколько минут обрела невероятную, непредставимую свободу.

Когда песня кончилась, я убрала руки и поправила волосы.

— Боже мой, — сказала я. — Видите, во что вы втянули пожилую женщину?

— Все замечательно, — сказал Бобби. — Вы отлично танцуете.

— Ты хотел сказать «танцевала». На заре неолита.

— Нет, — сказал Бобби. — Это вы зря.

Я перевела взгляд на Джонатана и увидела ровно то, что и ожидала: от мелькнувшего было чувства единства не осталось и следа. На лице его было написано не просто неодобрение, а недоумение, неузнавание, словно я лишь отдаленно напоминала его мать.

— Ну, мне пора, — сказала я, — с радостью бы задержалась еще, но пододеяльники меня не простят.

И поспешно вышла. Уже через секунду меланхолическую девушку сменил грубый мужской голос и оглушительный скрежет электрогитар.

Нед вернулся домой поздно. Я уже спала. Проснувшись посреди ночи, я обнаружила его рядом с собой, мирно посапывающего во сне. Я лежала и разглядывала его. А ведь когда-то Нед тоже был маленьким. Этот факт никогда особенно

не потрясал мое воображение, хотя я видела фотографии: улыбающийся Нед выглядывает из-под несоразмерно большой шляпы; худущий большеглазый Нед в сандалиях на пляже. Я сама запихивала на чердак картонную коробку с его машинками и оловянными солдатиками. И все-таки до конца я этого как-то не осознавала. Ведь этот мужчина — то, что выросло из мальчика. Когда мы встретились, ему было двадцать шесть, мне — семнадцать; уже тогда он был в моих глазах немолодым человеком. Он как будто родился взрослым. Эти фотографии и игрушки вполне могли принадлежать умершему юноше, когда-то, давным-давно жившему в этом доме, тому, кто, уходя, навсегда унес из этого мира уверенность в своих безграничных возможностях. Остался фарфор за стеклом и полусонное бытие узумбарских фиалок — размеренная жизнь взрослого человека. Вдруг, впервые за все время своего замужества, я увидела мальчишеский угловатый локоть, мускулистую грудь, уже порядком одрябшую и заросшую седыми волосами. Бедный, подумала я, бедный мальчик.

Я протянула руку и дотронулась до его плеча. Мне захотелось поцеловать его, погладить буйную растительность у него на груди. Но мое

новое восприятие его девственной красоты было еще слишком хрупким. Если бы он проснулся и, как обычно, грубо поцеловал меня, начал бы тискать мои ребра, оно бы испарилось. Поэтому я ограничилась глядением и поглаживанием его мощного волосатого плеча.

Бобби

Отец купил себе новые очки — а-ля гонщик, в круглой золотисто-розовой оправе. Вот он стоит на пороге моей комнаты, придерживая оправу рукой, картинно согнутой в локте.

— Как тебе, Бобби? — спрашивает он.

— Что? — говорю я.

Я лежу в темноте, в наушниках, слушая Джетро Талла. Я так глубоко погрузился в музыку, что не могу сразу вернуться в этот мир причинно-следственных связей.

— Как тебе, Бобби? — повторяет отец.

— Не знаю, — отвечаю я.

Ему нужно было чуть-чуть подождать с вопросом, дать мне опомниться.

Отец показывает себе на голову. Он включил свет и стоит теперь залитый стоваттными лучами, разорвавшими комнатный полумрак.

Как мне его голова? Сложный вопрос. Может быть, даже выходящий за пределы моей компетенции.

— Ну… — бормочу я и замолкаю.

— Очки, — говорит он. — Бобби, я купил себе новые очки.

Проходит еще какое-то время.

— Как тебе? — говорит он. — Может, я уже стар для такой оправы?

— Не знаю, — говорю я. Я понимаю, как глупо и бездарно я отвечаю. Но его вопросы ставят меня в тупик, как если бы он был ангелом, говорящим загадками.

Отец делает глубокий вдох и медленно выдыхает — долгий свистящий звук, как будто из него выпускают воздух.

— Ну ладно, — говорит он. — Пойду готовить обед.

— Хорошо, папа, — говорю я, пытаясь изобразить искреннее воодушевление и благожелательность.

Кстати, чья сегодня очередь готовить обед? Сегодня вторник. Значит, его. Все правильно.

И лишь после того, как его силуэт исчезает из дверного проема, я понимаю, что на самом деле он задавал мне совсем простые вопросы. Он сме-

нил роговые очки на новые, в стиле «гонщик», и хотел услышать мое одобрение. Нужно пойти на кухню и поговорить с ним. Однако я этого не делаю. Эгоизм побеждает, и я, выключив свет, снова проваливаюсь в музыку.

Спустя какое-то время отец зовет меня обедать. Он поджарил отбивные и разогрел замороженные картофельные котлеты. Он пьет виски из бокала, разрисованного идеально круглыми апельсиновыми дольками, похожими на велосипедные колеса.

Мы начинаем есть, окружив себя ровным молчанием без единого шва, герметичным и гладким, как полиэтиленовая пленка. Наконец я говорю:

— Хорошие очки. Ну, в смысле, мне нравятся.

— А они не слишком молодежные? Может быть, человек в моем возрасте уже как-то нелепо в них выглядит?

— Нет. Такие все носят. Хорошие очки.

— Ты действительно так думаешь?

— Угу.

— Ну что ж, это приятно. Мне важно было услышать мнение молодого человека.

— Нет, серьезно. Они здорово смотрятся.

— Хорошо.

Наши вилки стучат о тарелки. Я слышу, как

булькает у отца в горле.

Уже несколько недель он красит волосы. Прядь за прядью, раз в три-четыре дня. Таким образом он надеется представить эту перемену как естественную, будто время обратилось вспять против его воли.

Таков избранный им способ старения: теперь он носит рубашки с широкими отложными воротничками, кожаные жилетки, то отпускает, то сбривает усы, бороду, бакенбарды. Я видел его фотографии, когда он еще только начинал ухаживать за матерью: футболка, мощные руки, — немного нескладный, крепко пьющий музыкант, упершийся в потолок своих возможностей в искусстве и полюбивший фермерскую дочь, специалистку по посевам и жатвам.

Вдруг я вспоминаю. Сегодня — годовщина. Сегодня ровно два года.

Отец наливает себе еще.

— Позволь, — говорит он, — задать тебе еще один вопрос.

— Угу.

— Как ты смотришь на то, чтобы купить новую машину?

— Не знаю, — говорю я. — По-моему, наша тоже еще вполне нормальная.

Он опускает бокал на стол с такой силой, что чуть не выплескивает виски вместе с кубиком льда.

— Ты прав, — говорит он. — Ты абсолютно прав. Зачем вообще что бы то ни было менять?! Абсолютно с тобой согласен!

Я слышу, как тикают стенные часы.

— Нет, ну, новая машина, — говорю я, — это, конечно, здорово.

— Я просто подумал, — говорит он, — почему бы не завести что-нибудь чуть более модное. Какую-нибудь иностранную модель. Может быть, кабриолет.

— Угу. Отлично.

— Чтобы побольше воздуха.

— Ясно.

Мы продолжаем жевать. Выражение его лица отрешенно-оптимистическое. С каждым днем у него все меньше седых волос. Его зрачки плавают за светлыми линзами новых очков.

Мать уходила постепенно, шаг за шагом. Сперва она переселилась в гостевую комнату, лишь изредка появляясь оттуда в своем бледно-голубом халате. Все время молчала. Однажды, проходя мимо меня в ванную, она погладила меня по голове и, не говоря ни слова, взглянула так, словно

я уплывал в поезде в заоблачный альпийский мир, а она оставалась стоять на раскаленном перроне в долине.

Когда мы с отцом нашли ее тело, он позвонил, куда положено звонить в таких случаях, и мы уселись ждать в пустой гостиной. Она лежала одна; нам казалось, что так правильно. Мы сидели молча и ждали приезда полиции и «скорой помощи».

В нашей гостиной все те же обои: осенний пейзаж с фермой. Все те же коровы отбрасывают рыжеватые тени на фоне золотистых деревьев. Отец сосредоточенно жует отбивную. Поев, я отношу свою тарелку в кухню и ставлю ее поверх груды скопившейся грязной посуды. Огромная переливчатая муха в экстазе кружит над желтым кусочком затвердевшего бараньего жира. На окнах все те же занавески с синими чашками.

Поздно вечером, уже после того, как отец засыпает, я бесцельно брожу по комнатам… После школы я проглотил декседрин и хотел прибраться, а сам провалился в музыку. Двух косяков оказалось недостаточно, сна ни в одном глазу, и вот когда отец, допив бутылку, лег, я встал и теперь гуляю по дому. Голова потрескивает и светится, как электрическая лампочка. Беспорядку

и грязи все больше, но различить, что когда-то представлял из себя наш дом, все-таки можно. Я готов провести экскурсию. Вот гостиная с ее вишневым диваном — было время, когда такой диван считался экстравагантным и даже вызывающим; вот старый медный таз, где могли бы лежать дрова, если бы мы топили камин. Вот наша входная дверь из желтого дуба с узкой вставкой из тонированного стекла, сквозь которую видны только силуэты, а лиц не разобрать. А вот игровая комната, обшитая досками. Пол покрыт коричневым линолеумом, посередине — круглый тряпичный ковер, похожий на бычий глаз.

Отец попытался было продать дом. Но за шесть месяцев объявился всего один покупатель, предложивший цену вдвое ниже рыночной. Наш район не котируется.

Музыка гремит у меня в голове. Я иду через холл к комнате отца. Голова — включенный на всю мощь транзистор. Мелькает сумасшедшая мысль, что отец может проснуться от этого шума. Я останавливаюсь перед его дверью, разглядывая хитросплетения древесных волокон. Потом открываю дверь и вхожу.

Отец громко сопит во сне. На электронных часах на столике возле его кровати мигают

красные секунды. Я стою не двигаясь и смотрю, как, пульсируя, уходит время. В ушах звучит «Aqualung».[11] Я вдруг понимаю, что движет маньяками-убийцами. Я мог бы погладить его по неестественно-черным волосам. А мог бы ударить так, чтобы зубы, хрустнув, как куски сахара, с дробным стуком посыпались на пол. Снаружи — темно и тихо, внутри — треск и слепящий свет. У меня такое чувство, будто я в космическом скафандре.

Да, я пришел убить отца. Вот сейчас подкрадусь и задушу его подушкой. Он слишком пьян и не сможет оказать серьезного сопротивления. Я вижу это. Кино крутится у меня в голове; на звуковой дорожке — Джетро Талл. Белоснежная подушка, я бросаюсь на него сверху, короткая схватка, предсмертный хрип, похожий на захлебывающийся стон утопающего… «Aqualung my friend, don't you start away uneasy».[12]

А может быть, я пришел поцеловать его в усталую голову. Он пьян и вряд ли проснется от этого. Можно залезть к нему в постель и ни о чем не думать, просто вдыхать его мускусное тепло, запах

---

[11] Примечания: 11
«Акваланг» *(англ.).*

[12] Примечания: 12
«Акваланг, мой друг, не уходи в тревоге» *(англ.).*

виски, пота и одеколона. Я стою у его кровати, не зная, на что решиться. В конце концов я просто ухожу. Пересекаю холл, открываю входную дверь и выхожу в кливлендскую ночь, разбавленную фонарями и звездами.

Главеры живут меньше чем в миле отсюда, в доме со сверкающими стеклами. Перед главным входом, поскрипывая под ветром, качаются белые плетеные качели, похожие на застывшее пенное кружево. Я смотрю на их дом из-за ирисов. Самое начало июня; цветы шуршат и трутся о мои колени. Стараясь держаться в тени, я крадучись обхожу их владения. В окне Джонатана слабый белесый свет — у его кровати горит лампа на гусиной шее. Он читает рассказ Джона Стейнбека, заданный в школе. Завтра он расскажет его мне. Я прячусь за тутовым деревом. На траве лежит длинный параллелограмм света, падающего из кухонного окна, за которым Элис вытирает ложки и мерные мензурки. Я не вижу ее, но как будто вижу — ее движения безошибочны, как сама наука. Впрочем, художественное совершенство она ставит значительно выше порядка. Поэтому сковородки всегда жирные, а воскресная газета все еще валяется в гостиной, хотя сегодня уже среда. У Главеров гостеприимный дом, который

никак не может служить образцом аккуратности. Беспорядка там хватает.

Я жду, когда она наконец выключит свет и поднимется наверх. Нед приедет только через час, а может, и позже. Я успеваю обогнуть дом и замечаю, как вспыхивает свет в окне ее спальни. Я смотрю на ее окно и на неосвещенные окна других комнат, где сейчас никого нет. Вот за этими черными стеклами — столовая с ее клубящимся полумраком, в глубине которого льдисто мерцает серебряный чайный сервиз. За другим, более узким окном — комната со стиральной машиной. Там всегда характерный кисловатый запах. Я замечаю темный силуэт Элис, скользнувший по занавеске в комнате наверху.

Я не ухожу. Вот подъезжает Нед. Я наблюдаю за тем, как он идет от гаража к входной двери — ослепительно белеет рубашка, мелочь позвякивает в карманах. Волосы Неда смазаны «Виталисом», на нем легкие брюки без ремня. Я слышу, как поворачивается ключ в замке — идеальный щелчок. Нед гасит свет на крыльце и поднимается по лестнице. Мне кажется, я слышу его шаги. Элис ждет его в спальне. Ее волосы забраны наверх, шея открыта. Джонатан читает в своей комнате.

Я не ухожу, пока в доме не гаснет последнее окно. Я еще раз обхожу дом; планеты мерцают над моей головой. Рождаются и гибнут звезды, и в образующиеся дыры утекает свет этого мира. На земле стрекочут кузнечики, звенят комары; я, как искусственный спутник, кружу вокруг дома Главеров.

Элис

Со временем деревянность в голосе Бобби сменилась немного неестественной подростковой экспансивностью. Все его фразы звучали теперь как взволнованные полувопросы. Его наэлектризованные, вечно спутанные лохмы, пройдя парикмахерскую обработку, превратились в обыкновенные мальчишечьи вихры. Однажды днем, когда он, улыбаясь, стоял на нашем крыльце, я заметила, что его лицо смазано специальной мазью для маскировки угрей.

Но полного превращения все-таки не произошло. В нем как было, так и осталось что-то порочное и алчное; по-прежнему казалось, что он всегда настороже. Это проявлялось и в том, как он за обедом до блеска вылизывал свою тарелку, и в его неумеренной вежливости. Только

закоренелые преступники способны на такую безупречную вежливость с утра до вечера. Не говоря уж о том, что юноша, которым он изо всех сил стремился казаться, никогда бы не мог так танцевать.

Теперь он приносил пластинки, которые, по его мнению, могла оценить я, — более лиричные и мелодичные, чем те, что предпочитал Джонатан. То и дело он кричал мне сверху:

— Миссис Главер, если вы не очень заняты, поднимитесь к нам, я хочу, чтобы вы кое-что послушали.

Я почти всегда поднималась. Какие у меня могли быть такие уж неотложные дела?

Я узнала новые имена: Джони Митчелл, Нил Янг, Боз Скэгс. Иногда я просто сидела с ними и слушала. Иногда, если попадалась какая-нибудь динамичная вещь, принимала приглашение Бобби потанцевать. Танцевал Бобби действительно впечатляюще. У него было удивительное чувство ритма, в котором при всем желании нельзя было отыскать ни малейшей связи с гранитными карнизами и ровно постриженными живыми изгородями Кливленда. В танце он был совершенно оригинален: движения его бедер были не столько чувственны, сколько потрясающе грациозны.

Его ноги и руки выделывали неожиданные и в высшей степени своеобразные фигуры в тесной комнатке моего сына. Когда песня кончалась, он улыбался и сконфуженно пожимал плечами, словно умение танцевать было признаком определенной умственной неполноценности и являлось чем-то постыдным. Затем, как бы в несколько этапов, он вновь превращался в бледного сына городских окраин, которым положено восхищаться всем мамам.

Иногда Джонатан нехотя присоединялся к нашим танцам, иногда дулся, подтянув колени к груди. Я не была настолько глупа, чтобы не понимать, что ни один пятнадцатилетний мальчик не приветствовал бы участия своей матери в его общении со сверстниками. Но Бобби был так настойчив. И кроме того, мы с Джонатаном всегда были настоящими друзьями, несмотря на нашу кровную связь. Я решила, что, в конце концов, эти маленькие музыкально-танцевальные подарки Бобби совершенно безобидны. У меня в возрасте Джонатана тоже был непростой характер, и было это, между прочим, не так уж давно.

В пику школьным установлениям Джонатан отрастил волосы до плеч, нашил яркие заплатки на джинсы и продолжал донашивать старую

кожаную куртку Бобби даже после того, как ее рукава окончательно протерлись на локтях. Дома он в основном молчал. Иногда это молчание было вызывающим, иногда нейтральным, словно вовсе лишенным всякого содержания. Как ни старался Джонатан, он так и не смог стать для меня загадочным незнакомцем. Для этого я все-таки слишком хорошо его знала. Танцевал он так же неуверенно и неуклюже, как отец, а его дерзкая холодность не имела глубоких корней. Застигнутый врасплох, он, сам того не желая, автоматически соскальзывал к врожденному дружелюбию и улыбался прежде, чем успевал вспомнить, что теперь ему полагается нахмуриться.

Однажды январским вечером Бобби зазвал меня послушать новую пластинку Вана Моррисона. Я уселась на пол вместе с ребятами, покачивая головой в такт музыке. Бобби сидел слева, совсем близко от меня, в позе медитирующего йога — скрещенные ноги и прямая спина; насупившийся Джонатан чуть поодаль, ссутулившись.

— Здорово, — сказала я. — Мне нравится этот Ван Моррисон.

— Старикан Ван, — ухмыльнулся Бобби.

Иногда, несмотря на все его старания, смысл то-

го, что он говорит, оставался для меня закрытым. В таких случаях я просто улыбалась и кивала, как в разговоре с явно дружественным, но абсолютно неудобопонимаемым иностранцем. Но иногда я чувствовала Бобби даже во время этих приступов бессвязности. Он был иммигрантом, изо всех сил пытающимся ассимилироваться. Но ведь и я сама была чужеземкой в этом метельном краю, где большинство женщин моего возраста возмещают недостаток образования избытком веса. Я помню, как в те времена, когда я еще только завоевывала свое место в здешнем обществе, женщины из школьного родительского комитета и церковной общины снабжали меня рецептами муссов с карамелью и самодельной колбасы, которую полагалось макать в горчицу и виноградное желе. Я не имела внутреннего права раздражаться, глядя, с каким трудом Бобби усваивает местные обычаи.

— Ван хорош, — сказал Джонатан, — если тебе в принципе нравится такая музыка.

— Какая «такая»? — спросила я.

— Ну, в народном стиле. Мечтательная. Славный малый поет о любви к славной девушке.

— Не знаю, Джон, — возразил Бобби, — по-моему, в нем на самом деле не только это.

— Нет, он, в общем-то, ничего, — продолжал Джонатан, — только немного вяловатый. Мам, хочешь я тебе поставлю настоящую музыку?

— Мне кажется, эта тоже настоящая, — сказала я.

Джонатан взглянул на Бобби, на лице которого застыла настороженная улыбка.

— Ну это *тебе* так кажется, — сказал Джонатан.

Он поднялся и снял иглу с пластинки посередине песни. Потом вытащил другую из коллекции, размещенной на специальных оранжевых пластиковых полочках, тянущихся вдоль стены.

— Джимми Хендрикс, — объявил он. — Величайший гитарист мира. Он уже умер.

— Джон, — сказал Бобби.

— Тебе понравится, мама. Я только прибавлю звук. Джимми надо ставить на полную громкость.

— Джон, — сказал Бобби, — по-моему…

Джонатан опустил иглу на винил, и комната буквально взорвалась от рева электрогитар. Они орали и завывали, как раненые звери. Потом началась тема ударных — ввинчивающийся грохот, отдающийся в позвоночнике. В какой-то момент мне показалось, что у меня разметались волосы.

— Хорош, да? — заорал Джонатан. — Лучше Джимми никого не было.

Это была настоящая буря. Наши глаза встретились. У Джонатана пылали щеки, блестели глаза. Я понимала, чего он хочет: чтобы эта ударная звуковая волна выбросила меня из комнаты и заставила послушно потопать вниз, к пылесосу и недомытой посуде.

— «You know you're a cute little heartbreaker»,[13] — хрипел мужской голос из динамика.

— Джимми — это да! — прокричал Джонатан. — Это тебе не старикан Ван.

Я поняла, что нужно сделать; встала и сказала:

— Бобби, давай потанцуем.

Бобби не заставил себя ждать. Мы начали танцевать. В этой музыке было даже что-то захватывающее, только нельзя было останавливаться. Наверное, похожие ощущения испытывает воробей, угодивший в воздушную вытяжку, — сумасшедший напор, ужас и одновременно предчувствие освобождения. Эта музыка провоцировала на драку, крик, выяснение отношений. Руки словно сами собой взлетали в воздух.

Уголком глаза я следила за Джонатаном: он

---

[13] Примечания: 13

Ты знаешь, что ты симпатичная сердцеедка *(англ.)*.

был явно раздосадован. Его мать не спасовала перед этой музыкой. И вновь я увидела в подростке, почти мужчине, маленького мальчика: выражение его лица невольно напомнило мне те времена, когда не срабатывали его каверзные шашечные ходы или никто не попадался на его первоапрельские розыгрыши. Еще немного, и я бы ущипнула его за щеку.

Он тоже начал танцевать. А что еще ему оставалось? Вдруг в этой небольшой комнатке сделалось так же тесно, как на переполненной Таймс-сквер, и меня охватило знакомое ощущение значительности происходящего. Джимми Хендрикс исполнял «Foxy Lady»,[14] и меня поразило, насколько это название соответствует моменту. Да, я и есть эта самая «леди-лиса», которую не так-то легко захватить врасплох и заставить смириться с ролью толстеющей домохозяйки.

После этого случая я начала наносить мальчикам более регулярные визиты, отказавшись от прежнего неписаного правила — ждать, пока пригласят. Мне казалось, что этот этап в наших отношениях уже пройден. Когда мои домашние дела приводили меня наверх, я запросто стуча-

---

[14] Примечания: 14
«Леди-лиса» *(англ.).*

лась к Джонатану и заходила на одну-две песни. Подолгу я не засиживалась.

Однажды вечером, постучавшись, я различила за дверью какое-то шуршание. На мой стук никто не отозвался. Мне показалось, что я услышала, как они перешептываются. Затем Джонатан сказал:

— Заходи, мам.

Я сразу почувствовала этот запах — вся комната была сизой от сладковатого дыма. Бобби с паническим выражением лица замер посреди комнаты. Джонатан сидел на своем излюбленном месте возле батареи.

— Мм, — сказал Бобби, — миссис Главер.

— Давай, мам, — тихо, почти вкрадчиво сказал Джонатан, — хочешь покурить?

И помахал в моем направлении незатушенной самокруткой.

Я замерла на пороге. На мгновение я как бы перестала понимать, кто я, земля ушла у меня из-под ног, и, бесстрастная, как привидение, я молча глядела на трогательную бугристую папироску, оранжево мерцающую в рассеянном свете похожей на бейсбольный мяч лампы, которую я купила Джонатану, когда ему исполнилось семь лет.

Я понимала, что я должна была бы сделать. Я должна была возмутиться или по крайней мере спокойно, но твердо объяснить ему, что мое терпение не безгранично. И в том и в другом случае это означало бы конец нынешних отношений с их импровизированными танцами — и наступление нового, холодно-формального периода.

Первым затянувшуюся паузу прервал Джонатан, вновь повторивший свое предложение.

— Попробуй, — сказал он. — А то так и не узнаешь никогда, что теряешь.

— У твоего отца был бы инфаркт, — ответила я.

— Его здесь нет, — отозвался Джонатан.

— Миссис Главер, — беспомощно сказал Бобби.

И эта его потерянность, этот дрогнувший голос, с которым он произнес мою фамилию, решили дело.

— Да, — сказала я. — Наверное, ты прав. Как иначе узнать, что теряешь?

Я вошла в комнату (три коротких шага) и взяла грустную папироску.

— Умница, мама, — сказал Джонатан непроницаемо бодрым голосом.

— Как хоть это делается-то? — спросила я. — Ты ведь знаешь, что я и обыкновенных сигарет никогда не курила.

— Ну, — сказал Бобби, — просто затянитесь, ну, в смысле, втяните дым в легкие. И подержите его там как можно дольше.

Поднося самокрутку к губам, я прекрасно понимала, что происходит: я стояла посередине комнаты в бледно-голубой блузке и домашней юбке с запахом, собираясь совершить первое в своей жизни противоправное действие. Я затянулась. Дым был таким горьким и едким, что у меня перехватило дыхание и слезы навернулись на глаза. О том, чтобы последовать совету Бобби, не могло быть и речи — я немедленно извергла из себя бесформенное темное облако, продержавшееся в воздухе, наверное, целую секунду, прежде чем растаять.

Тем не менее ребята приветствовали меня шумными возгласами одобрения. Я передала папиросу Бобби.

— Победа! — сказал он. — Вы затянулись!

— Значит, теперь у меня полное право сказать, что жизнь прожита не напрасно, — ответила я.

Мой голос звучал надтреснуто и напряженно.

Бобби сделал изящную затяжку, держа сигарету между большим и указательным пальцами. Я увидела, как вспыхнули на ее кончике микроскопические угольки. Когда он выдохнул, в воздухе

повисла одна-единственная полупрозрачная струйка дыма.

— Видите? — сказал он. — Нужно просто постараться подержать дым подольше.

Он вернул самокрутку мне.

— Как, опять? — спросила я.

Бобби пожал плечами. На его лице вновь появилась испуганно-растерянная улыбка.

— Конечно, мам, — сказал Джонатан. — Надо выкурить целый косяк. Что такое одна затяжка?

Косяк. Стало быть, вот как это называется.

— Ну хорошо, вторая попытка, — сказала я.

На этот раз мне удалось продержаться немного подольше. Однако вырвавшиеся из меня лохматые клубы дыма даже отдаленно не напоминали бледный самолетный след Бобби.

Я хотела возвратить ему косяк.

— Эй, — сказал Джонатан, — еще есть я, между прочим.

— О! Прости!

Я отдала самокрутку ему. Он принял ее с той же жадностью, с какой когда-то тянулся к подаркам, которые я приносила ему из своих прогулок по магазинам.

— А что со мной от этого будет? — спросила я. — К чему надо приготовиться?

— Вам может стать весело, — ответил Бобби. — Вы просто почувствуете себя счастливой и, знаете, ну немного так… глупо.

— Ничего особенного с тобой не случится, — сказал Джонатан. — Бараньи котлеты не заговорят, если ты этого боишься.

Он сделал быструю умелую затяжку и передал косяк Бобби. Когда Бобби протянул его мне, я отрицательно покачала головой.

— Думаю, на сегодня хватит, — сказала я. — У меня к тебе еще только одна просьба.

— Ага, — сказал Бобби.

— Поставь мне, пожалуйста, Лору Найро, и потом я пойду заниматься своими делами.

— Пожалуйста, — сказал он и включил проигрыватель.

Мы стоя послушали одну песню. Я все ждала, когда же я что-то почувствую. Но песня кончилась, и я поняла, что марихуана не оказала на меня никакого воздействия, разве что в горле немного першило. Я испытала облегчение, смешанное с разочарованием.

— Ну ладно, — сказала я. — Спасибо за гостеприимство.

— Заходи еще, мам, — отозвался Джонатан непроницаемым тоном, в котором можно было

расслышать и насмешку, и высокомерие, и даже простое дружелюбие.

— Отцу ни слова! — сказала я. — Обещаешь? Клянешься?

На миг мне показалось, что марихуана все-таки подействовала. Но, по-видимому, это был всего лишь укол совести.

— Обещаю, — сказал он. — Клянусь.

— Миссис Главер, — сказал Бобби, — вы… ну вообще… я даже не знаю… Вы действительно потрясающая! Да-а!

— Ради бога, зови меня просто Элис! — бросила я ему. И вышла из комнаты.

Спустя примерно неделю я вновь попробовала «траву» (слово «марихуана» не произносилось, это называлось «травой») и обнаружила, что если не выдыхать дым сразу, то она и вправду действует. Делаешься раскрепощенной и приятно рассеянной.

Однажды февральским полднем в среду, когда мир тонул в неподвижной белой тишине, я сидела в комнате у ребят и курила. Это был четвертый косяк в моей карьере, и я приобрела уже некоторые навыки. Я научилась удерживать дым в легких, чувствуя его тяжесть и травянистую теплоту. Боб Дилан пел «Girl from the North

Country».[15] Темнело рано, и поэтому мы зажгли лампу, окрасившую обшитые деревянными планками стены в глубокий густо-медовый цвет.

— По-моему, — сказала я, — это следовало бы легализовать. Это приятно и совершенно безвредно, вам не кажется?

— Угу, — сказал Джонатан.

— Да, это несомненно следует легализовать, — продолжала я. — Если бы Никсон хотя бы немножко курил «траву», мир только выиграл бы.

Бобби расхохотался, а потом оторопело поглядел на меня, как бы проверяя, шучу я или нет. Его растерянность была такой неподдельной — он так искренне терялся в простейших психологических ситуациях, — что я тоже расхохоталась, отчего Бобби развеселился еще сильнее, а вскоре к нам присоединился и Джонатан, хохоча по какому-то своему, лишь ему известному поводу. Это было одним из самых привлекательных последствий употребления марихуаны: под ее воздействием смеяться можно было над чем угодно, достаточно было переводить взгляд с предмета на предмет. Нелепым и комичным казалось буквально все: ароматическая свечка в

---

[15] Примечания: 15
«Девушка из северной страны» *(англ.).*

форме Будды, фигурка гавайской танцовщицы на пружинках, стоявшая на столе у Джонатана, рыжеватые замшевые туфли Бобби, чем-то похожие на приблудившуюся собачонку.

Иногда я невольно вспоминала Венди из «Питера Пэна» — островную маму отряда потерянных мальчиков. Нет, все-таки полной дурой я себя не выставляла. Я не покупала просвечивающих юбок, индийской бижутерии или мексиканских босоножек, не начала отращивать волосы. Но ощущала я себя совсем по-новому. У меня теперь была своя тайна. Прежде все мои секреты сводились к тому, что я боялась секса и не испытывала ни малейшего желания общаться с соседями. Я чувствовала себя малопримечательным, второстепенным персонажем, слабой и хрупкой донельзя. Я чувствовала себя женщиной, у которой от холода начинаются головные боли, а от жары появляются свищи. Но эта новая тайна была совсем иной — она бодрила, повышала жизненный тонус; если бы меня разоблачили, был бы грандиозный скандал. Эта тайна приятно щекотала мне нервы, когда я шла по проходу супермаркета. Я курила «траву» вместе с сыном. Местные матроны, набивающие свои тележки зефиром, мороженым, ярко-розовыми упаков-

ками мясной нарезки и пачками корнфлекса с сахаром, сочли бы мое поведение непристойным, аморальным и эпатажным. Я чувствовала себя юной, стройной, исполненной смутных надежд на будущее. Нет, Кливленд — это еще не конец, жизнь продолжается.

И самое главное — я обнаружила, что под кайфом мне гораздо лучше с Недом. «Трава» снимала зажатость. Его настойчивым поцелуям взасос и грубоватым ласкам я противопоставляла теперь ленивое, текучее состояние, в корне отличное от того, что я раньше принимала за возбуждение. Секс всегда ассоциировался у меня с несколько тошнотворным внутренним напряжением. Краткое удовольствие сменялось паникой, паника — болью, так что, пока Нед, пыхтя, продвигался к конечному пункту своего потного путешествия, я лежала под ним злая и раздраженная, заклиная его про себя: «Кончай! Кончай! Кончай!» Теперь в моем распоряжении была томность, не имевшая прямого отношения ни к наслаждению, ни к боли. Мне было просто немного щекотно и немного смешно. «Трава» лишала секс значительности; превращала его из безрадостной обязанности в довольно нежную плотскую комедию. Надо мной дергался и постанывал Нед, всего лишь Нед, маль-

чик, превратившийся в большого и неуклюжего мужчину. А под ним лежала я — женщина, от которой можно ждать любых неожиданностей.

Наступила весна. В своей новой жизни я была находчивой и непредсказуемой, свободной и щедрой в сексе — я была такой, какой мечтала быть всегда. Прошла оттепель, появилась первая зелень, и на нашем заднем дворе зацвело грушевое дерево. Однажды — это было субботним вечером накануне Пасхи, — приготовив гарнир к ветчине, я вышла во двор посмотреть на цветущую грушу. Было около полуночи; дома, кроме меня, никого не было. Нед добавил еще один сеанс по пятницам и субботам, чтобы не проиграть в конкуренции с кинозалами, открывшимися недавно в торговых центрах. Бобби с Джонатаном где-то гуляли.

Я накинула поверх свитера старую шерстяную безрукавку Неда. В воздухе пахло влажной землей; груша, растущая посередине нашего дворика, была красивой и немного таинственной, как невеста в свадебном платье. От ее соцветий исходило слабое белое свечение. Я немного постояла на кухонном крыльце. Ночь была ясной и безлунной. На небе среди множества других звезд сиял Млечный Путь. В такую погоду даже

наш скромный дворик казался местом, таящим какие-то невероятные возможности. Если бы будущее было государством, у него мог быть такой герб: цветущее дерево на звездном поле.

Я сошла с крыльца, хотя на мне были только легкие домашние туфли. Мне хотелось услышать, как похрустывает мерзлая трава. Я прошла к дереву между клумб, на которых уже пробились первые посаженные мной тюльпаны. После того как отцветет груша, распустится сирень. Когда-нибудь мы поселимся в доме с видом на воду. Я провела пальцами по чешуйчатой коре нижней ветки, стряхнув на себя несколько едва державшихся лепестков.

Вдруг я увидела мальчиков, сидящих в моей машине. Машина стояла на усыпанной гравием площадке между гаражом и домом под железным козырьком в таком темном и укромном месте, что я ни за что бы не заметила их, не окажись я в единственно правильной точке. Силуэты двух голов чернели между задним и передним стеклом.

Присутствие ребят меня и удивило и обрадовало. Наверное, они играют в путешествие или во что-нибудь еще в этом роде. Мы могли бы покурить, осыпать друг друга грушевым цветом. Я не колеблясь двинулась к машине. Приблизившись,

я услышала рок-музыку — в машине работало радио, — это были, кажется, Дерек и Домино. Я подошла к машине с водительской стороны и, распахнув дверцу, весело сказала:

— Подвезете?

И застыла в шоке. Наступившую тишину нарушал только рев электрогитар. Из машины медленно выплывал сладковатый дымок. На водительском месте сидел Джонатан. В неверном свете звезд я увидела его пенис, бледный и напряженный.

— О, — сказала я.

И все, больше я ничего не смогла из себя выдавить.

Глаза Джонатана округлились и, казалось, вылезли из орбит, словно кто-то надавил на них изнутри. Даже в такой драматический момент я невольно вспомнила, что уже видела у него на лице точно такое же выражение: ему было тогда два года, и я отказалась купить ему пакетик кроваво-красных леденцов в супермаркете.

— Убирайся, — сказал он звенящим голосом, прорезавшим музыку, как электрический разряд — туман. (Это был голос совершенно взрослого человека.) — Как ты смеешь?

— Джон! — сказал Бобби.

Он натянул джинсы, но я успела увидеть и его пенис, который был больше и темнее, чем у Джонатана.

Джонатан потряс головой, словно отмахиваясь от своего имени.

— Убирайся, — повторил он. — Ты меня слышишь? Ты понимаешь, что я говорю?

Я не стала спорить — для этого я была слишком потрясена. Захлопнула дверцу, повернулась и пошла к дому.

В доме было тепло и уютно, горел яркий свет. Я остановилась в холле, пытаясь отдышаться. Я увидела нашу пустую гостиную с невероятной ясностью: журналы, веером лежащие на кофейном столике, диванный валик с ямкой, оставленной чьим-то локтем.

По верхнему краю серо-зеленой вазы, доставшейся мне в наследство от бабушки, ползла муха.

Я поднялась наверх и сделала себе горячую ванну. Это было единственное, что пришло мне в голову. Погрузившись в воду, я почувствовала что-то вроде облегчения. Эта обжигающая вода была, во всяком случае, чем-то реальным. Казалось, что в ступни втыкают иголки. У меня горели бедра, ягодицы, влагалище, но я не двигаясь про-

должала лежать в дымящейся ванне.

Честно говоря, это не было для меня полной неожиданностью. Не было. Но я никогда не говорила себе вот так прямо: «Мой сын не женится».

Я думала: «Мой сын мягче, добрее, чутче большинства мальчиков».

Но все это были скорее его достоинства. Да, я знала, что в нем нет мальчишеской злости, мальчишеской жестокости. Я легла еще глубже, так что вода, покрыв плечи, начала жечь подбородок. Когда она стала остывать, я снова открыла горячий кран.

Я должна была догадаться раньше! Ведь Джонатану с Бобби уже по пятнадцать лет, а они никогда не говорили о девочках. Стены в комнате Джонатана украшали исключительно фотографии рок-музыкантов — ни одной обнаженной красотки. Я должна была заподозрить неладное, но мне и в голову не приходило, что их дружба имеет такой оттенок. Мне казалось, что Джонатан еще совсем ребенок, совершенно невинный. Что действительно произвело на меня сильное впечатление, так это вид их напряженных пенисов, у Джонатана — поменьше, у Бобби — покрупнее.

Какую роль сыграла тут я? Я знала о психологии слишком много и в то же время слишком мало.

Может быть, это я — пусть даже бессознательно — отбила у него интерес к женщинам, чересчур настойчиво навязывая ему свою дружбу?

Джонатан вернулся домой через несколько часов после Неда. Я надеялась, что он постучит в дверь моей спальни, но, разумеется, он не мог этого сделать при Неде. Он, как всегда, оглушительно протопал через холл в свою комнату. Мне хотелось встать и успокоить его, сказать, что ничего страшного не произошло, хотелось пойти и оттаскать его за волосы так, чтобы выступила кровь.

На следующий день была Пасха, и все было как всегда. Нед, Бобби и Джонатан с радостными возгласами рылись в своих корзиночках, набивая рот цветными драже и пастилками в форме цыплят. Жадность, с которой Джонатан вгрызся в уши шоколадного зайца, была даже немного устрашающей. Нед подарил мне веточку дельфиниума, чему я искренне обрадовалась, и расшитый яркими цветами шелковый платок вроде тех, что повязывают на шею женщины в возрасте, желая привнести некий модный штрих в свой туалет, когда отправляются обедать в город.

По-видимому, Нед заметил тень разочарования, скользнувшую по моему лицу, когда я освободила

этот яркий старушечий платок от его нарядной обертки.

— Я, конечно, в этом не особенно разбираюсь, — сказал он извиняющимся тоном. — Я купил его в «Герман бразерс». Если тебе не нравится, ты можешь пойти и обменять его на что-нибудь другое.

Я поцеловала его.

— Зачем? — сказала я. — Мне нравится. Прекрасный платок.

И невольно подумала, что Джонатан знал бы, какой платок выбрать. Потом мы сели за стол, обмениваясь будничными репликами. После обеда Нед ушел в кинотеатр. Когда он выходил, Джонатан сказал:

— Так мы придем на восьмичасовой сеанс, хорошо?

— О чем речь, — отозвался Нед и преувеличенно бодро подмигнул.

Когда он ушел, ребята начали мыть посуду. Я хотела помочь, но Джонатан вытолкал меня из кухни. До гостиной, где я села полистать журнал, долетали их приглушенные голоса. Слов было не разобрать. Иногда раздавался смех.

Вымыв посуду, они сразу же поднялись наверх в комнату Джонатана.

— Отличный обед, ма, — сказал Джонатан, когда они проходили через гостиную.

— Да, — добавил Бобби, — такого… ну, в смысле, такого вкусного еще не было!

Они не позвали меня наверх, не включили музыку. Через час они появились снова — уже в куртках.

— Спокойной ночи, мам, — крикнул Джонатан уже из-за двери.

— Спокойной ночи, миссис Главер! — сказал Бобби.

Какое-то время я наблюдала, как они идут по улице, засунув руки в карманы. Бобби шагал упруго и уверенно, Джонатан слегка вразвалочку, как те подростки, которые компенсируют недостаток подлинной решимости показной бравадой. За моей спиной молчал пустой дом, посуда была вытерта и убрана на место.

Я все искала случая поговорить с Джонатаном один на один. Ждать пришлось почти целую неделю. И вот однажды вечером он вернулся домой без Бобби. Я поймала его, когда он поднимался по лестнице — он так громко топал своими сапогами!

— Джонатан! — позвала я. — Я бы хотела с тобой поговорить, если ты не против.

— Угу.

Он остановился на полдороге и перегнулся через перила, как ковбой, спускающийся в бар. Волосы упали ему на глаза.

— Ты не мог бы сойти вниз? — попросила я. — Мне не хочется разыгрывать сцену на балконе.

— Хорошо, — покладисто сказал он. Его голос звучал спокойно и миролюбиво.

Он послушно прошел за мной в гостиную. Мы сели.

— Понимаешь, — сказала я, на самом деле не зная, как начать этот непростой разговор.

Прежде мне всегда было так легко говорить с ним — как с самой собой!

— Угу, — сказал он.

— Джонатан, родной, я вижу, что отношения с Бобби очень важны для тебя.

Нет. Неверный тон. Слишком отвлеченный и назидательный. Я попробовала рассмеяться, но вместо смеха получился какой-то жалкий писк.

— Очень важны, — повторила я.

Нет, опять неправильно. Теперь мой тон был слишком многозначительным, претендующим на какую-то невероятную проницательность. Я все-таки оставалась его матерью.

Он кивнул, невозмутимо уставившись на ме-

ня.

— Знаешь, — сказала я, — я подумала, что, может быть, тебе не стоит так замыкаться на Бобби. По-моему, круг общения должен быть все-таки шире, тебе не кажется?

— Не кажется, — сказал он.

Я снова рассмеялась, на этот раз чуть более естественно.

— Хорошо, что ты хотя бы откровенен.

Он пожал плечами и накрутил на палец прядь волос.

— Я помню, — продолжила я, — что в твоем возрасте мы всюду ходили большой компанией, человек семь-восемь. Все мы, разумеется, были немножко влюблены друг в друга. И девочки, и мальчики. То есть я хочу сказать, что я тебя понимаю, я знаю, что значит любить друга.

— Угу, — сказал он чуть более открыто.

Я подозревала, нет, я была уверена, что его любовь к Бобби пугает его самого. Скорее всего, именно этим объяснялась и его новая, подчеркнуто мужественная манера держаться, и пристрастие к тяжелым ковбойским сапогам…

— Так вот, — сказала я. — Я говорю с тобой как с другом. Мне кажется, я понимаю, что значит для тебя Бобби. Очень хорошо понимаю — в нем и

вправду есть много привлекательного. Но я хочу тебя предупредить: ты не должен увязнуть в этих отношениях. Ты еще слишком молод!

Он глядел на меня из-под спутанных волос, и вдруг в нем мелькнуло что-то от прежнего Джонатана — раздираемого противоречиями и невероятно, почти болезненно ранимого. Мне показалось на миг, что мы снова вместе.

— Милый, — сказала я. — Я понимаю, что ты чувствуешь. Ей-богу, понимаю! Поверь, рано или поздно Бобби уйдет из твоей жизни, останется в прошлом.

Его лицо закрылось. Это было отчетливо видно. Как будто занавесили освещенное окно.

— Нет, — сказал он, — ты не понимаешь, что я чувствую. И Бобби ты не знаешь. А я знаю. Не дави на меня.

— Я не давлю.

— Давишь. Это невыносимо. Ты вздохнуть никому не даешь. Даже растения вянут.

Я глядела на него, не веря своим ушам.

— У тебя своя жизнь, и она твоя, и только твоя, — воскликнула я. — Я хочу, чтобы ты знал: я на твоей стороне.

— Нет, — сказал он, передразнивая мой южный выговор, — нет, дорогая, на моей стороне есть

место только для меня и ни для кого больше.

Не знаю, что было раньше: мысль о пощечине или сама пощечина. Я ударила его довольно сильно, выбив нитку слюны из уголка рта. Моя рука горела.

Он вытер губы тыльной стороной ладони и улыбнулся. Похоже, пощечина даже доставила ему некоторое удовлетворение, как бы подтвердив давние подозрения.

— Прости, — сказала я. — Никогда не думала, что смогу тебя ударить. Я ведь никогда еще тебя не била, правда?

Он постоял немного и, ничего не сказав, начал подниматься по лестнице с видом человека, совершившего долгожданное открытие. Его сапоги грохотали на каждой ступеньке, как пушечная канонада.

Наша дружба кончилась. Джонатан и Бобби проводили вместе все больше и больше времени, болтаясь где-то в городе, приходили домой поздно и сразу же ложились спать. Они больше не приглашали меня покурить или потанцевать с ними. По словам Неда, они довольно часто заходили в его кинотеатр. Иногда он тоже сидел в зале вместе с ними и смотрел фильм, виденный уже бог знает сколько раз. Джонатан, утверждал

Нед, прекрасно разбирался в кинематографе, у него были явные задатки кинокритика.

Можно было, конечно, просто запретить Бобби бывать у нас, но я понимала, что это не выход. Разве мои собственные родители не запрещали мне видеться с Недом? Разве мой брак не был следствием их леденящих душу ультиматумов? Честно говоря, я сама не понимала, что меня больше беспокоит: гомосексуальные склонности Джонатана в принципе или его конкретная привязанность к Бобби. Нет, естественно, я надеялась, что он превратится в нормального гетеросексуального мужчину, познакомится с какой-нибудь девушкой, заведет детей, но я чувствовала, что от меня тут уже ничего не зависит. Но Бобби! Милый, нелепый Бобби, юноша без видимых амбиций и с весьма сомнительными интеллектуальными способностями. Если Джонатан будет общаться исключительно с ним, он так никогда и не узнает, что значит большой мир. Вся его жизнь окажется ограниченной Кливлендом, а я знала, какое будущее предлагает Кливленд. Я видела здешних молодых людей, тех, кто не смог или не захотел вырваться, — этими ребятами в ярких дешевых галстуках и с выпирающими в двадцать пять лет животами были наводнены

все центральные улицы. Убив время в кафетерии, они снова возвращались трудиться в свои конторы или цеха, под лампы дневного света, то и дело поглядывая на часы.

Прошла еще неделя, прежде чем мне удалось поговорить с Бобби.

Уже сильно за полночь я спустилась в кухню раскатать тесто для пары пирогов. Последние две недели меня мучила бессонница, усугублявшаяся астматическим храпом Неда. Накинув халат, я вышла на кухню, надеясь, что решение какой-нибудь простейшей кулинарной задачи поможет настроиться на сон.

Я включила неяркую лампу над плитой, да и это, в сущности, было не обязательно. Мне кажется, я могла бы приготовить пирог с завязанными глазами.

Я сделала уже почти все, что хотела, когда на пороге кухни появился спотыкающийся Бобби, сонный, а может, и нет — когда дело касалось Бобби, разобраться было непросто. Он остановился в дверном проеме, большой, белокожий, мускулистый, в длинных трусах.

— Здрасьте, — пробормотал он. — Я думал, вы уже легли. Я просто вышел типа попить.

Попить можно было и в ванной. Я понимала,

зачем он явился: бутылка джина, которую мы держали на кухонной полке, была к тому времени уже наполовину разбавлена водой. Но я подыграла ему.

— Не могу уснуть, — сказала я. — Решила сделать что-нибудь полезное.

— Понятно, — сказал он, продолжая стоять в дверях.

Войти в кухню ему было явно неловко, повернуться и уйти — тоже. Я налила стакан воды из-под крана и протянула ему.

— Спасибо, — сказал он.

Когда он шагнул вперед, чтобы взять у меня стакан, я уловила его характерный запах — запах молодого мужчины, слегка отдающий металлом на морозе. Я услышала ровное бульканье у него в горле, когда он пил.

— Бобби, — сказала я.

— А?

— Бобби, мы что, не друзья больше? Я думала, мы с тобой друзья.

Он чуть не выронил стакан от неожиданности.

— Ну да, — сказал он, нервно улыбаясь, — то есть я хочу сказать, что вы действительно потрясающая женщина.

— Спасибо. Приятно слышать. Но мы ведь по-

чти не видимся последнее время.

— Да, — сказал он. — Понимаете, я был очень занят…

Я не смогла удержаться от саркастической ухмылки.

— Знаешь, — сказала я, — тебя, по-моему, еще не назначили управляющим «Дженерал моторс». Давай не будем валять дурака. Зачем обманывать друг друга? Только время терять.

Его улыбка увяла, и он беспомощно пожал плечами.

— Ну, — сказал он. — Понимаете, Джонатан…

— Что Джонатан?

— Ну, в общем… В смысле, вы как бы его мать.

— Вот именно, — сказала я. — Я *как бы* его мать. И значит, меня можно вот так просто водить за нос.

Бобби снова послал мне голливудскую улыбку. Как будто я пошутила. Я поняла, что разговаривать с ним на эту тему бессмысленно. Он только исполнял навязанную ему роль. Я стояла перед ним, скрестив руки на груди. Конечно, я могла бы сказать ему: «Уходи, и чтобы больше я тебя здесь не видела» — и тем самым подтвердить его романтический статус.

Откровенно переводя разговор в другое русло,

Бобби спросил:

— А чем вы тут занимаетесь?

— Что? А, пирог делаю. Хочу спечь пару ореховых пирогов на завтра.

— Вы удивительно готовите, — сказал он с нескрываемой алчностью в голосе. — Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь дома так готовил. Прямо как в ресторане.

— Все это гораздо проще, чем кажется, — ответила я.

По выражению его лица было видно, что это не словесные уловки. Его действительно восхищало то, что я ночью спустилась на кухню печь пироги.

— Я бы хотел когда-нибудь открыть ресторан, — сказал он. — По-моему, здорово было бы иметь собственный ресторан, знаете, в каком-нибудь большом старинном доме.

Он с уважением смотрел на бледный, почти прозрачный круг теста на доске.

— Никаких особых секретов тут нет, — сказала я. — Если хочешь, могу тебя научить. Просто нужно совершать определенные действия в определенной последовательности. Никакого волшебства.

— Ну, не знаю, — отозвался он с сомнением в

голосе.

— Кстати, — сказала я. — Я еще не раскатала тесто для второго пирога. Хочешь попробовать?

— Вы серьезно?

— Иди сюда. Ты не поверишь, насколько это просто. Нужно освоить всего несколько приемов.

Он подошел и встал рядом со мной. Я переложила готовое тесто на противень, насыпала на доску новую порцию муки и плюхнула сверху остаток теста.

— Первое, — сказала я. — Руками тесто следует трогать как можно меньше. С тестом для хлеба все наоборот — его приходится терзать и мучить, потому что его нужно как бы разбудить. А тесто для пирога требует нежного обращения. Значит, так. Раскатывай от себя легкими движениями, снизу вверх. Не трамбуй.

Он взял скалку и погрузил ее в мягкий шмат теста.

— Надо задобрить его, — сказала я. — Вот так. Все правильно.

— Я никогда в жизни этого не делал. Мать не пекла пирогов.

— Из тебя получится отличный повар, — сказала я. — Уже видно.

— А вы умеете делать, ну, такие классные зави-

тушки по краям? — спросил он.

— Конечно, — ответила я.

Весь следующий год я учила Бобби готовить. Мы проводили на кухне по многу часов в день. После пирогов занялись выпечкой хлеба, потом перешли к изготовлению пирожков. Когда мы вынимали из духовки его очередное произведение — жирно-золотистое, подрумяненное, дымящееся, — он не мог скрыть неподдельного восхищения. Я никогда еще не видела столь непосредственного интереса к кулинарии. Казалось, он верил, что из таких инертных и ничтожных элементов, как мука, жир и грязновато-коричневые прямоугольнички дрожжей, может быть сотворена сама жизнь.

Джонатан иногда тоже присутствовал на наших кулинарных занятиях, но его сердце и ум были далеко. Точно отмерить нужное количество того или иного ингредиента, ждать, пока поднимется тесто, — на все это ему не хватало терпения. И кроме того, у него не было фундаментального интереса к еде как таковой. Даже в детстве он был к ней равнодушен.

Немного посидев с нами в кухне, он обычно поднимался в свою комнату и включал проигрыватель. Иногда он слушал Джимми Хендрикса

или «Роллинг стоунз», иногда какую-нибудь неизвестную мне пластинку.

Меня не приглашали больше слушать музыку. Вместо этого Бобби вбегал в кухню с сообщением вроде: «Смотрите, я нашел рецепт для рыбы в этом, как его, в кляре» или «Вы случайно не знаете, как готовят бриоши?»

Джонатан разослал документы сразу в несколько колледжей и был принят в два: Нью-Йоркский университет и университет Орегона. Все учебные заведения, в которых он хотел бы учиться, находились от Кливленда за много сотен километров.

Бобби никуда поступать не собирался — это даже не обсуждалось. Он продолжал приносить мне все новые и новые рецепты и покупать все более и более совершенные орудия труда. Так, например, он купил «Квизинарт» и набор немецких ножей, тонких и острых, как бритва, с помощью которых можно было запросто срезать кухонные обои, не повредив штукатурки.

В июне мы с Недом присутствовали на школьном выпуске, где встретили Берта Морроу, с которым не виделись уже год. Берт сменил эспаньолку на бараньи котлеты бакенбардов. Он был в зеленом спортивном пиджаке и с медальо-

ном размером в полдоллара на цепочке поверх водолазки.

Мы устроились в задних рядах большой школьной аудитории со стенами цвета вареного лосося. Даже в такой торжественный день там пахло сырым цементом и школьными завтраками. Когда называли имя очередного выпускника и он или она поднимались на сцену за дипломом, их товарищи разражались свистом и гиканьем. О популярности каждого можно было судить по интенсивности рева собравшихся. Ни Бобби, ни Джонатан не вызвали вообще никакой реакции. Можно было подумать, что их никто не знает. Лишь один Берт издал на удивление пронзительный свист, когда объявили имя Бобби.

Потом Бобби и Джонатан вместе с остальными ребятами на школьном автобусе уехали в луна-парк. А мы с Недом пригласили Берта посидеть в кафе, просто потому, что невозможно было отпустить его домой в одиночестве.

— В кафе? — сказал он. — Что ж, посидеть в кафе со взрослыми — это хорошо. Да, я думаю, мы должны это сделать.

У него были совершенно потухшие глаза, как будто из агата.

Мы поехали в тихий ресторанчик у озера с

железными столиками и молодыми официантками, наряженными а-ля Матушка Хаббард.[16] Я заказала водку, которую принесли на кружевной салфетке с рюшечками.

Нед поднял бокал и провозгласил:

— За новое поколение! Чтобы все у них было хорошо!

Мы выпили за новое поколение. Оркестр играл «Лунную реку». Казалось, мы в самом занюханном месте на свете. Берт Морроу сказал:

— Я слышал, Джонатан выбрал Нью-Йоркский университет.

— Да, — сказал Нед. — Это решение было принято им исключительно из экономических соображений. Учиться в Нью-Йорке дороже, чем в Орегоне.

Берт моргнул и зажег сигарету.

— Он там проявит себя, — сказал он. — Я уверен. А Бобби что-то не хочет никуда поступать.

— Он еще молод, — сказал Нед, — кто знает, что будет через год-другой.

— Какое бы решение он ни принял, — сказал Берт, — я не стану возражать. Не хочу вмешиваться в его жизнь. У меня даже в мыслях такого

---

[16] Примечания: 16

То есть в свободные платья в народном стиле. Матушка Хаббард — персонаж стихов и песенок для детей.

нет. Пусть живет так, как считает нужным.

— Наверное, им всем придется жить так, как они считают нужным, — сказал Нед.

Берт кивнул и с такой жадностью затянулся «Пэлл-Мэллом», словно вдыхал силу самой жизни.

— Конечно, — глубокомысленно сказал он, — конечно.

То, как он произнес это «конечно», вдруг мне все объяснило. Это была интонация ребенка; Берт был большим ребенком, оказавшимся сейчас на нашем попечении.

— Нет, — сказала я с нажимом, — они не должны жить так, как считают нужным.

— Ну, — сказал Берт, — если при этом никто не страдает…

— Берт, — оборвала я его, — до того, как Джонатан познакомился с вашим сыном, он был мягким, открытым мальчиком, а сейчас, три года спустя, его нельзя узнать, он совсем другой… Он был отличником, а пообщавшись с Бобби, едва набрал нужные баллы для поступления куда бы то ни было.

Берт, моргая, смотрел на меня сквозь сигаретный дым.

— Элис, — попытался вмешаться Нед.

— Помолчи, — отрезала я. — Я просто хочу задать Берту один вопрос. Я хочу спросить его, что я сделала не так.

— Не представляю, — сказал Берт, — чтобы вы сделали что-то не так.

— Тогда почему я здесь?

Я начала барабанить ногтем по рюмке — навязчиво-ритмичное постукивание доносилось до меня как бы со стороны, словно не я, а кто-то другой производил этот раздражающий звук.

— Почему же, — продолжила я, — я тогда живу в этом мерзком городе? Как вышло, что мой родной сын презирает меня? Все, что я делала, казалось таким логичным, но сейчас я понимаю, что это было просто чудовищным.

— Ну… — сказал Берт, глотая дым.

Я по-прежнему слышала, как мой ноготь барабанит по стеклу.

— Мне просто хотелось, чтобы у нас была нормальная семья, — сказала я ему. — Я хотела как лучше.

— Ну… — сказал Берт, — я думаю, все образуется. Главное — не терять веры.

— Вера — это роскошь, которую может позволить себе молодежь. А я прочла уже все гениальные книги и давно не хороша собой.

— Неужели? — перебил меня Нед. — На кого же в таком случае смотрят все мужчины в этом зале?

— Перестань разговаривать со мной в таком тоне! Я не нуждаюсь в твоем покровительстве! Можешь возмущаться мной, можешь меня презирать — пожалуйста, можешь скучать в моем обществе, только не смей говорить со мной свысока, как будто я все еще девочка! С меня хватит! Ты слышишь меня? Ты меня понимаешь?

Нед, не говоря ни слова, накрыл своей ладонью мою, чтобы я перестала стучать. Я посмотрела на него.

— Нед.

Больше я ничего не сказала, только произнесла его имя.

— Все нормально, — сказал он. — Сейчас мы расплатимся и поедем домой.

— Прости, — сказала я.

— Ничего, — сказал он ободряюще, — у нас сегодня был трудный день. Наш единственный сын закончил школу.

Его рука все еще лежала на моей. Я взглянула на Берта. Он смотрел на меня с глубоким, пугающим пониманием.

После того как Джонатан уехал учиться в Нью-

Йорк, Бобби снял квартиру в мрачном каменном доме на другом конце города. Он поступил в кулинарную школу, а вечерами подрабатывал официантом. Он начал убеждать меня открыть вместе с ним ресторан.

— Что-нибудь такое домашнее, — уговаривал он меня. — По-моему, мы смогли бы неплохо заработать, как вам кажется? И мы бы все делали вместе.

Я предложила ему свои услуги в качестве посудомойки.

— Вы станете шеф-поваром, — сказал он. — Это будет единственное заведение в Огайо, где можно будет, ну, приобщиться к настоящей южной кухне.

Бобби начал готовить обеды для нас с Недом. Он и в самом деле стал неплохим поваром, и даже его разглагольствования по поводу финансовой стороны дела не были лишены убедительности.

Я сказала ему, что, если он действительно соберется открыть ресторан, я буду его первой посетительницей, но от шеф-поварства категорически отказалась. В ответ он только улыбнулся, как когда-то в самом начале нашего знакомства, показывая, что я перешла на язык, который он просто не понимает.

Той зимой я устроилась на секретарскую работу в риэлтерскую компанию. Мы нуждались в деньгах. По мере того как на окраинах открывались все новые и новые торговые центры со своими кинозалами, Нед зарабатывал все меньше. С наступлением темноты люди избегали посещать центр города.

Неоновая вывеска с названием кинотеатра Неда отбрасывала розоватые отсветы на пустынную мостовую, освещаемую лишь редкими тусклыми фонарями; рядом за темными стеклами вымершего универмага ухмылялись обнаженные манекены.

Хотя в моей секретарской работе не было ничего возвышенного или даже просто интересного, мне так понравилось ежедневно бывать на людях, что я стала бояться выходных. В свободное время я начала выращивать всякую зелень на нашем заднем дворике.

Иногда мы с Бобби перекусывали вместе посередине рабочего дня, так как его кулинарная школа находилась неподалеку от моей конторы. Он превратился в довольно привлекательного молодого человека с приятными чертами лица, и, признаюсь, я получала удовольствие от этих встреч в шумных ресторанах, переполненных

проголодавшимися трудягами, чей бодрый гам придавал атмосфере особую остроту.

За ленчем Бобби с воодушевлением рассуждал о ресторанном бизнесе. В некий не поддающийся точной фиксации момент он перестал изображать опрятного представительного молодого человека, сделавшись им на самом деле, если не считать тех странных минут, когда его взгляд приобретал нездоровый блеск, а кожа покрывалась сверкающей испариной. Я невольно вспоминала тогда одного продавца Библий, которого часто видела в детстве, — невыносимо доброжелательного южного ревнителя благочестия. Когда Бобби чересчур воодушевлялся, он становился чем-то похож на него. Впрочем, обычно он сам же первый спохватывался, виновато ухмылялся и понижал голос. Казалось, будь его воля, он втянул бы выступившие капельки пота обратно в поры, так что в результате общее впечатление оставалось скорее положительным — что-то мальчишески-непосредственное; излишний энтузиазм в конце концов бывал обуздан.

Я делилась с ним своими тревогами и время от времени жаловалась на жизнь — приставать к Неду мне не хотелось. Астма мучила его все сильнее по мере того, как все больше хирел его

бизнес. Вдобавок он начал немного выпивать.

— Я найду поваров и открою ресторан через год, самое позднее — через два, — заявил как-то Бобби. — И мы все вместе будем им управлять. Все будет отлично.

— Тебе легко говорить, — отозвалась я, — ты еще молодой.

— Вы тоже молодая, — ответил он. — Ну, в смысле, для своих лет. Поверьте, вам понравится работать шеф-поваром.

— Я не буду никаким шефом.

— Будете. Вот увидите ресторан, который я для вас построю, — сами захотите. Ну же, Элис! Только скажите, что вы со мной, и я открою лучший ресторан в Огайо.

Мужчина за соседним столиком подозрительно покосился на нас. Ему было около пятидесяти, ухоженный, победительного вида, в костюме со стальным отливом. Я увидела нас его глазами: уже немолодая женщина с резкими чертами лица, не лишенная остатков обаяния, обедает в ресторане с красивым молодым человеком с алчным взглядом. Я увидела кадры на экране его воображения: вот мы с Бобби покидаем ресторан и входим в гостиничный номер; дневной свет едва пробивается сквозь опущенные жалюзи.

Бобби подался вперед, положив свои мощные руки на столешницу. Я слегка дотронулась до его грубоватых пальцев и сказала:

— Ладно. Если ты действительно так этого хочешь, считай, что я с тобой. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы тебе помочь.

— Хорошо, — сказал он, и я увидела, что слезы навернулись ему на глаза.

Он открыл ресторан меньше чем через год. Возможно, если бы он не устраивал такой гонки и получше разузнал, что к чему, все бы сложилось иначе. Но он уверял, что все готово, и можно только гадать, насколько эта спешка была связана с ухудшающимся финансовым положением Неда. Спонсором Бобби выступил некий подозрительный тип по имени Бихам с тонкими и легкими, как пух, волосами, которые он зачесывал с затылка на лоб, прикрывая лысину. На его узких бледных пальцах поблескивало несколько серебряных перстней с бирюзой. Бихам владел — во всяком случае утверждал, что владеет, — сетью стиральных автоматов, приносивших, по его словам, немалую прибыль. По уверению Бобби, он предвидел аналогичный успех и в области ресторанного бизнеса, где решающую роль должна была сыграть привлекательность южной кухни.

С помощью Бихама Бобби арендовал небольшой зал в пригородном торговом центре между секцией уцененной одежды и булочной, в витрине которой красовался огромный выцветший муляж свадебного пирога. Я выразила сомнение, так ли уж хорошо расположение ресторана, но Бобби привел перечень достоинств, не оставляющий места для спора.

— Во-первых, — веско заявил он, — мы оказываемся между основными розничными магазинами. Рядом престижный «Пенни», за углом «Сиерс», тут же неподалеку — продуктовые магазины. Во-вторых, это недорогое место. И потом, надо же где-то начинать, правильно?

Нет нужды подробно описывать озаренные радужными надеждами первые дни существования ресторана и его стремительный закат. Достаточно сказать, что Бобби назвал свое заведение «У Элис» и сделал отчаянную попытку хоть как-то замаскировать флюоресцентные лампы и хоть что-то сделать с невероятной гулкостью этого зальчика, незадолго до того столь же безуспешно пытавшегося притвориться пиццерией.

По стенам он развесил фотографии с видами Нового Орлеана (железные балконы Французского квартала; чернокожий музыкант, играющий

на трубе, и пр.) и купил на гаражной распродаже старые деревянные столы и стулья.

Мы обсуждали рецепты, спорили о приправах, стараясь не обращать внимания на Бихама, постоянно предостерегавшего нас от слишком больших трат и неустанно напоминавшего о непритязательности вкусов местных жителей. Окончательная версия меню отражала представление среднего северянина о южной кухне: суп из стручков балии, рубленое мясо с овощами, креветки во всевозможных сочетаниях. — Десертные блюда были просто великолепны. Я взяла за правило заходить сюда как можно чаще.

Иногда я заставала парочку посетителей — обычно это были женщины с сумками, отоваривавшиеся в соседней секции уцененной одежды, или одинокие продавщицы, а иногда вообще никого не было. Тогда Бобби подсаживался за мой столик, а официантка либо протирала и без того чистый поднос, либо, сдавшись, саживалась возле холодильника с журналом о кинозвездах.

Однако Бобби не терял бодрости духа и суетливого энтузиазма продавца Библий.

— Поначалу дела всегда идут не очень, — говорил он. — Надо подождать, пока о нас заговорят. Ведь каждого, кто здесь побывал, мы велико-

лепно обслужили, и они расскажут об этом еще десятку своих знакомых. Нужно просто набраться терпения.

— Еда действительно превосходная, Бобби, — ободряюще сказала я. — Хочется верить, что рано или поздно люди оценят качество.

— Конечно оценят, — сказал он. — Если есть классный товар, будут и покупатели. Это вопрос времени.

Вот так мы беседовали, сидя в пустом зале под лампами дневного света. Люди проходили мимо нашего стерильного окна без единого пятнышка, заглядывая внутрь с характерным выражением. Я узнавала эти взгляды, насмешливые и чуть испуганные: так смотрят на обреченные предприятия. Я сама много раз заглядывала так в витрины безлюдных сувенирных лавочек; печальных кулинарий с ничтожным выбором продуктов; бутиков, предлагавших платья, вышедшие из моды пять лет назад. Я понимала, что должны чувствовать те, кто пробегает мимо нашего заведения с пакетами от «Сиерс» или «Пенни», зная по собственному опыту ту особую, несколько нервическую смесь жалости и презрения, которую вызывает любое непосредственное проявление органической неспособности человечества в

целом превратить навоз в золото.

В ноябрьскую, не по сезону теплую ночь через шесть месяцев после открытия ресторана погиб Берт Морроу: он уснул с непотушенной сигаретой, в результате чего сгорел сам и сжег полдома. Посреди ночи нас с Недом разбудил рев пожарной сирены, но тогда мы, разумеется, еще ничего не знали.

Впрочем, у меня было какое-то предчувствие, необъяснимая тревога, никак не позволявшая уснуть даже после того, как Нед снова забылся своим тяжелым, невыносимо шумным сном. Когда зазвонил телефон, я как будто уже все знала. Мы выехали сразу, накинув пальто прямо поверх халатов.

Бобби видел, что мы подъехали, но не сдвинулся с места. Он стоял на газоне рядом с пожарным в черной униформе. Когда мы с Недом подбежали к нему, он посмотрел на нас своим давнишним взглядом потерянного иностранца.

Я обняла его. Он стоял как столб.

— Отец умер около половины первого, — объявил он высоким, звонким голосом.

У Бобби обгорели рукава рубашки; волосы жутко пахли гарью. Видимо, он пытался проникнуть в горящий дом.

Я погладила его по опаленным волосам. Он стоял неподвижно, как вкопанный. Полдома сгорело дотла, другая половина осталась вызывающе нетронутой. Входная дверь была сорвана с петель. Виднелась часть холла с почерневшими обоями и зеркалом в витиеватой раме.

Нед уехал улаживать какие-то формальности. Я осталась с Бобби. Его начал бить озноб, и я крепко прижала его к себе, отчего, как мне показалось, он стал дрожать еще сильнее. Я испугалась, но не разжала рук. Я повела себя с ним так, как в свое время с маленьким Джонатаном, когда он без видимого повода начинал плакать, и я, абсолютно неопытная в свои двадцать два года, просто прижимала его к себе, стараясь преодолеть собственный страх и неуверенность.

На похороны прилетел Джонатан. По-прежнему длинноволосый, но теперь в мягких кожаных ботинках, джинсах и твидовом пиджаке. Бобби был одет по моде кливлендской рабочей молодежи: синтетические брюки с отутюженной складкой и пастельного цвета рубашка с погончиками.

Они вдвоем ездили кататься на машине, вместе смотрели старые фильмы по телевизору. Бобби был бледный и пришибленный: можно было подумать, что у него в голове не умолкает

некий одному ему слышимый гул. Джонатан держался с ним предельно внимательно, всегда садился рядом, клал руку ему на плечо, касался его пальцев.

Они были похожи на выздоравливающего больного и его сиделку. Чувствовалась искренняя обоюдная симпатия, но не было и намека на какие-то романтические отношения. Хотя они были еще совсем молоды, в них уже появилось что-то от двух старичков. Когда они сидели рядышком на диване, невольно казалось, что в качестве фона им бы очень подошли застекленные полки со всякими диковинками и вертикальные жалюзи на окнах. Бобби всегда сидел рядом с Джонатаном, по-детски близко. Со стороны едва ли можно было определить, кто кого утешает. Через неделю Джонатан возвратился в Нью-Йорк к своей новой жизни.

Бобби закрыл ресторан и, спасаясь от долгов, объявил о банкротстве. Он устроился в булочную. Похоже, ему гораздо спокойнее среди полок, осыпанных мукой, коробок со свежими яйцами и пирожных.

Лишившись возможности платить за квартиру, он перебрался к нам. Теперь он живет наверху, в комнате Джонатана, спит на его узкой кровати.

Он нам не мешает. Честно говоря, мы даже рады той небольшой сумме, которую он платит, — Джонатан учится в университете, а дела у Неда идут все хуже и хуже. Он начал заказывать иностранные фильмы, которые не показывают в кинозалах торговых центров. Он заклеивает скотчем разлезающийся палас в прихожей.

Джонатан как примерный сын звонит домой каждое воскресенье. Из общежития он переехал в квартиру в Гринич-Виллидж. Я пытаюсь представить себе его жизнь: кино, кафе, музыкальные вечера в клубах, разместившихся в полуподвале. Я вынуждена все это воображать, потому что сам он ни о чем не рассказывает. Я узнаю от него только то, что его учеба идет хорошо и что ему не нужны кухонные принадлежности, постельное белье и новая одежда.

Иногда мне кажется, что я уйду от Неда. Просто возьму и уйду, как семнадцатилетняя девушка. Но на самом деле я не могу этого представить. Недавно я с удивлением поняла одну вещь: я привязана к нему всем своим существом. Он возбуждает во мне нежность и жалость. Будь он успешливее, может быть, я и решилась бы.

Вместо этого я делаю очередную попытку пустить корни в Кливленде. Я снова вошла в

приходский комитет нашей церковной общины; начала преподавать кулинарное искусство на курсах при ИМКА[17] для домохозяек, желающих преподнести праздничный сюрприз своим семьям. Мои занятия привлекли на удивление много желающих. В большинстве своем это милые и добросердечные женщины, и, возможно, мне и вправду удастся отучить хотя бы некоторых из них от приверженности к Jell-O[18] и гранулированным пудинговым полуфабрикатам. Возможно, с тремя-четырьмя мы будем поддерживать приятельские отношения и после курса, который должен завершиться к Рождеству.

Вот так мы и живем, творя свое будущее из подручного материала. С понедельника по пятницу я печатаю в своей конторе и два раза в неделю обучаю группу домохозяек смешивать яйца с маслом и раскатывать тесто так тонко, чтобы через него можно было читать газету. Времени на ведение хозяйства остается мало, но тут меня выручает

---

[17] Примечания: 17

Ассоциация молодых христиан. Неполитическая международная организация. Американское отделение основано в 1851 г. в Бостоне. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Занимается организацией досуга и обучения молодежи.

[18] Примечания: 18

Товарный знак полуфабрикатов желе и муссов, выпускаемых в порошке.

Бобби. Он поддерживает все в идеальном порядке. За исключением тех восьми часов, когда он работает в булочной, Бобби всегда дома. Всегда. Каждый день он готовит обед. После обеда Нед возвращается в кинотеатр, а мы с Бобби смотрим телевизор или играем в карты. Я сижу с ним, пока не приходит пора ложиться спать. Время от времени я пытаюсь уговорить его сменить обстановку и поехать посмотреть, что творится в других местах, даже предлагаю одолжить ему немного денег, но он неизменно отказывается, утверждая, что он именно там, где ему следует быть. И вот мы сидим дома, проводя вместе день за днем. Если быть до конца откровенной, мне иногда хочется, чтобы он уехал. Он настолько постоянен в своих привязанностях, настолько безоговорочно на все согласен!..

Часть II
Джонатан

Мы были любовниками как бы наполовину. Мы обосновались на верхних этажах любви, где партнеры восхищаются своей несхожестью, умиляются чудачествам другого и ничего друг от друга не требуют. Так как мы не были любовниками в плотском смысле этого слова, у нас не было и поводов для регулярного мелкого взаимоуничтожения. Мы с Клэр открывали друг другу свои самые сокровенные тайны, признавались в самых постыдных страхах. Мы вместе обедали, ходили за покупками, обсуждали прохожих. В ретроспективе кажется, что мы жили как две сестры из старой сказки, согласно которой та, что покрасивее и помоложе, не имеет права выйти замуж до тех пор, пока кто-нибудь не прельстится той, что постарше и не столь привлекательна. Только каждый из нас был и той и другой сестрой сразу. Мы рассуждали о моде, обменивались сплетнями и с критическим интересом гляделись в зеркало. Без особой нервозности мы ожидали того дня, когда кого-нибудь из нас призовут для

другой, более рискованной любви.

Три года мы вместе снимали квартиру в шестиэтажном доме без лифта в Ист-сайде на Третьей улице, между авеню А и Б. Вокруг по-испански переругивались пуэрториканки, а квартиры в подвальных этажах облюбовали торговцы наркотиками. На углу нашей улицы танцевали обкуренные, потрясающе красивые юноши. Мы выбрали это место потому, что жить тут было дешевле и — как мы признались однажды друг другу пьяной ночью — интереснее, чем в более респектабельной части города. Я сказал как-то, что рассматриваю пребывание в этом районе в качестве материала для будущих историй, которые можно будет рассказывать в той, другой жизни, которая обязательно придет. Услышав это, Клэр смерила меня скептическим взглядом и сказала: «Вера в будущее — довольно сомнительная добродетель, тебе не кажется? Что-то вроде изготовления корабликов в бутылках. Понимаешь, да? Интересно, но только почему-то оторопь берет».

Клэр было тридцать шесть, на одиннадцать лет больше, чем мне. Она была человеком с убеждениями. Например, она считала, что величайшим американским писателем является Джеймс М. Ка-

ин, что апогея своего развития общество достигло в конце тридцатых годов и что для женщины в ее возрасте и с ее характером не осталось на свете ни одного подходящего мужчины. На мои возражения по последнему пункту она реагировала не то чтобы агрессивно, но с нескрываемым раздражением.

— Приходится исключить, — она отгибала пальцы, — голубых мужчин; женатых мужчин; мужчин моложе двадцати пяти; мужчин старше двадцати пяти, интересующихся исключительно юными красотками; мужчин, которые свободны потому, что не хотят ни с кем себя связывать; полных придурков; насильников и маньяков. Ну вот. Кто же остается?

Она выполняла свои каждодневные обязанности, как бы постоянно сама над собой подсмеиваясь, подобно второму комику в комедии тридцатых годов. Она была похожа на женщину, которая, чудом уцелев во время бомбежки, красит губы и, надев туфли на каблуках, отправляется прогуляться среди развалин.

Когда у нее портилось настроение, мы начинали вслух мечтать о том, что заведем ребенка. Клэр уже успела побывать замужем, сделать аборт, сменить дюжину любовников и трижды

начать новую карьеру. Я три года назад закончил колледж и теперь вел гастрономическую колонку в еженедельной газете. В этой жизни я был уверен только в одном — в сексуальном влечении к человеку, которого считал своим любовником. Ночью наша улица сверкала осколками битого стекла. Каждое утро огромная латиноамериканка, шагая на работу, во все горло распевала у нас под окнами душещипательные романсы.

Однажды за завтраком в самом начале весны, когда между прутьями решетки за нашим кухонным окном показался первый бледный побег плюща, Клэр выдохнула в свой кофе и заявила:

— Может быть, мне не стоит больше красить волосы? Тебе не кажется, что начиная с определенного возраста женщине уже как-то не к лицу экстравагантность?

На ней был ярко-красный халат из искусственного шелка с барахолки, купленный, наверное, в первый раз где-нибудь на Гавайях или в Лас-Вегасе лет пять назад. Не будучи красавицей, Клэр вела необъявленную войну с общепринятыми нормами красоты.

— Нет, — ответил я. — Мне кажется, что права женщины, достигшей определенного возраста, только расширяются.

Я стоял в дверях, так как больше одного человека на нашей кухне не помещалось.

— Разница между тридцатишести- и двадцатипятилетними, — сказала она, — в том, что в двадцать пять невозможно выглядеть жалким. Молодость оправдывает любые безумства. Когда ты молод, можно пробовать все что хочешь, проделывать какие угодно эксперименты со своими волосами, и все прекрасно! Ты чувствуешь, что еще растешь, меняешься, поэтому все замечательно. Но когда начинаешь стареть, тщетность твоих усилий слишком бросается в глаза.

— У нас что сегодня, очередной день траура? — поинтересовался я.

— Еще не знаю.

— Может, не надо? Смотри, какая отличная погода! Давай временно отложим разработку оптимального способа самоубийства. Сходим лучше в магазин, а потом в кино.

— Как ты думаешь, — сказала она, — какие волосы будут у нашего ребенка?

— А твои на самом деле какого цвета?

— Бог ты мой! Это еще вспомнить надо! Темно-каштановые, с матовым отливом. Волосы продавщицы.

— Может быть, ребенок унаследует мою масть.

Ты не представляешь, на что способны слабые, но упорные гены.

Она отхлебнула кофе.

— Честно говоря, — сказала она, — у меня такое чувство, что мои чернявые румынские предки без труда разобьют твоих меланхолических шведов.

— Значит, вот о чем ты мечтаешь? О своей мини-копии?

— Нет, что ты! Еще одна я? Да мы бы возненавидели друг друга! А потом, мне бы хотелось, чтобы ребенок унаследовал твои интеллектуальные способности.

— Не скромничай, — сказал я. — Ты и сама очень умная.

— Если бы я была умной, — отозвалась она, — то, наверное, не стояла бы в свои тридцать шесть лет на этой трехметровой кухне и не размышляла о том, как завести ребенка, не заводя романа.

Мы часто говорили о будущем ребенке. Конкретных сроков не устанавливали, но рассуждали на эту тему много и охотно. Вот так и проходила наша совместная жизнь. У нас и прежде бывали разные идеи: мы хотели организовать фирму по доставке завтраков на дом, потом планировали переезд в Испанию. При этом мы углублялись в такие подробности, что в конце концов переходи-

ли некую невидимую черту, за которой начинало казаться, что все уже как бы произошло, и обсуждение теряло практический характер. Мы и на самом деле пытались доставлять яйца «Бенедикт» с Третьей улицы на Парк авеню в сумке-термостате (к месту назначения они прибывали в виде жутковатой бесформенной массы); покупали туристические путеводители и учебные кассеты с разговорным испанским. У меня не было никаких оснований полагать, что тема ребенка получит принципиально иное продолжение.

— Для мальчика мне нравится имя Итон или Тревор, — сказал я.

— Дорогой, — отозвалась она, — ради бога, давай обойдемся без модных имен! Если родится мальчик, назовем его Джон Младший, если девочка — как насчет Мэри или Энн?

— А почему не Клэр Младшая?

— Я уже тебе говорила. Я не хочу, чтобы она повторила меня.

Главной соперницей Клэр была она сама, вернее, та личность, которую она сама же изобрела и на которую, по ее представлениям, ей следовало быть похожей. Она жила на неком невротически подвижном расстоянии от своей способности быть резкой, грубоватой и «интересной». Когда

ей удавалось безошибочно воспроизвести все необходимые жесты, создавалось впечатление чего-то гротескного — чересчур искусного и отработанного. Я видел, как это ее беспокоит. Иногда она вступала в борьбу со своим альтер эго, глядя на мир с вызовом, словно говоря: «Так, все правильно, ну и что?» Иногда она сама себя пугала. В конце концов она настолько вошла в роль, что ей стало трудно вести себя иначе.

Как бы то ни было, на мой взгляд, она жила наполненной, активной жизнью, меня раздражало ее бесконечное самоедство. Когда-то она была замужем за танцором, уехавшим потом в Западный Берлин. Его труппа время от времени прилетала в Нью-Йорк на гастроли, вызывая скандальный интерес. Она была любовницей довольно известной писательницы. Она накачивала себя героином, опиумом и декседрином в таких количествах, что угодила в балтиморскую клинику. Мое существование — по сравнению с ее — казалось серым и лишенным всякой остроты. Мне не хотелось думать, что любой выбор — будь то энергичная жизнь, полная опасностей и приключений, или комфортабельное прозябание штатного служащего — в конце концов приводят к одному и тому же необъяснимому и

неопределимому зуду, к убеждению, что новому поколению нужно жить совсем по-другому.

— Что ты думаешь о наказании? — спросил я.

— Стоит или не стоит наказывать ребенка?

— Да.

— Бить я бы его не стала, — сказала она. — Просто не смогла. Не знаю, сжег быть, из меня получилась бы такая мамаша, которая изводит всех своими настроениями и депрессиями, так что ребенку уже и самому хочется, чтобы его просто отшлепали и вопрос был бы исчерпан наконец.

Клэр делала украшения и сдавала их в ювелирный магазинчик на Сент-Марк-плас. У нее был особый талант соединять, казалось бы, несоединимое — она изготовляла серьги и брошки из крошек горного хрусталя, осколков стекла, ржавых кусочков жести и крохотных пластмассовых фигурок, какие продаются в дешевых сувенирных лавках. Ее изделия пользовались не слишком широким, но стабильным спросом. Я неожиданно для самого себя стал писать о кафе и ресторанах для еженедельной газеты, начинавшейся как ни на что не претендующий листок в сыром подвале и вдруг сделавшейся популярной настолько, что понадобилось модернизировать имеющиеся бо-

лее чем скромные технические средства и срочно делать что-то с неопытным штатом. Попав сюда сразу после университета, я рассматривал это место как сугубо временное, подготовку к моей настоящей карьере в качестве штатного сотрудника какого-нибудь центрального журнала в глянцевой обложке, но получилось так, что нечаянно и почти против своей воли я оказался у истоков перспективного издания. Через три года наша редакция переехала из промозглых комнатушек в торговом районе в просторный офис на Юнион-сквер. Число сотрудников выросло втрое. Меня повысили: если раньше я фактически выполнял обязанности машинистки и изредка писал случайные репортажи, то теперь стал главным специалистом по кулинарным вопросам.

По иронии судьбы я ничего не смыслил в гастрономии. Это было хобби моей матери, и я всеми силами противился проникновению в мое сознание даже жалких крупиц знания по этому предмету. Когда редактор решил завести специальную колонку, освещающую проблемы общественного питания, и объявил, что видит на этом месте именно меня, я стал отнекиваться, мотивируя свой отказ тем, что я даже толком не знаю, что такое торт «Лорран»… «Так это как раз

хорошо, — возразил редактор, — большинство людей не знает». Он повысил мне зарплату, и за это я каждую неделю должен был выдавать статью минимум в девяносто строк. Я превратился в «просто Джона», молодого человека со сравнительно скромными средствами, ценящего хорошую кухню, но не принадлежащего к тем гурманам, что приходят в экстаз от необычного привкуса кардамона в пюре из красного перца. Мой герой любил посидеть в хорошем ресторанчике один-два вечера в неделю с друзьями, любовниками или любовницами. Ему хотелось знать, где расположены модные заведения Нью-Йорка, чтобы не ударить в грязь лицом, когда этого потребуют особые обстоятельства. Я писал о польских и китайских ресторанах, рыскал по всему Манхэттену в поисках самых качественных гамбургеров, пиццы и тайских лепешек. Я сообщал, в каких популярных ресторанах вас обслужат вежливо, даже если вы не кинозвезда, предупреждал, где вам подадут смехотворно малые порции, и рекомендовал, куда можно отвести приехавших из провинции родителей, если в ваши планы не входит их шокировать. Мы с Клэр сами кормились за счет газеты, впрочем, ценой эксцентричности нашей диеты. Случалось,

мы целую неделю питались исключительно буррито, а всю следующую — пекинскими утками. Периодически Клэр начинала беспокоиться, не отразится ли такой пищевой монизм на нашем здоровье. Она покупала витамины, отвар из листьев алоэ и любимые белковые добавки знаменитых мастеров бодибилдинга, которые, напружинившись, улыбались нам с ярких цветных этикеток.

Мы постановили, что читать ребенку нужно с рождения, не дожидаясь, пока он вырастет, и легко сошлись на том, что главное в воспитании — искренность: от детей не следует скрывать ни темных, ни светлых сторон жизни.

Полулюбовные отношения сложились у меня с еще одним человеком. Его звали Эрик. Я спал с ним, но сказать, что он был нужен мне в неком абсолютном смысле этого слова, все же не мог. Он не вызывал у меня того терпкого, щемящего и немного грустного чувства, которое, помноженное на вожделение, наверное, и называется любовью. С Эриком я не терял головы. После Кливленда я вообще ни разу не был по-настоящему влюблен в того, с кем спал, хотя перепробовал не одну дюжину тел в самых разных настроениях и состояниях. Моя способность

быть верным и преданным находила выход в дружбе с Клэр и в воображаемых отношениях с крепкими, решительного вида мужчинами, попадавшимися мне на улицах, — из тех, что, не добившись признания и счастья по общепринятым меркам, рассекали воздух с известной долей бесшабашности. Стараясь проделывать это как можно незаметнее, я поглядывал на панков в черных армейских башмаках, мрачных итальянцев и крепких длинноволосых провинциалов, приехавших в Нью-Йорк с расчетом на свои криминальные репутации.

Я понимал, что мои желания нереалистичны и, возможно, патологичны. Но я ничего не мог с собой поделать — именно эти незнакомцы были героями моих страстных видений. Юноша с вечно взлохмаченными волосами и раздраженным выражением лица, которого я время от времени встречал на углу нашей улицы у газетного киоска, мог возбудить меня, едва задев рукавом мой локоть. А человек, с которым я спал, казался каким-то призрачным и далеким.

Мы встречались с Эриком один-два раза в неделю, как правило, у него на квартире в восточной части Двадцатых улиц. Познакомились мы два года тому назад в ресторане, где он подрабаты-

вал барменом. Я писал тогда о ресторанах для голубых: в своем обзоре мне надлежало познакомить голубых читателей с заведениями, куда они могли бы отправиться с любовниками, если им хотелось, сидя за столом, беспрепятственно держаться за руки. В тот вечер я обедал один и, уже уходя, задержался у стойки бара, чтобы выпить рюмку коньяка. Хотя ресторан был практически пуст, прошло, наверное, около пяти минут, прежде чем на меня обратили внимание. Бармен, отклячив зад, стоял в дальнем конце бара, утвердив локти на стойке, как фламандская домохозяйка, выглядывающая из своего окошечка, и словно заведенный энергично кивал головой, слушая рассказ старика в изумрудно-зеленом шейном платке и с золотыми перстнями на пальцах. От нечего делать я стал разглядывать небольшой, аккуратный зад бармена, дергавшийся в противофазе с его кивками.

В конце концов рассказчик мотнул головой в мою сторону и сказал: «Мне кажется, у вас посетитель». Бармен оглянулся с искренним изумлением. У него было тонкое лицо, которое нельзя было бы назвать вполне красивым из-за чересчур узкого носа и заостренного подбородка. Впрочем, кожа у него была свежей, а глаза — мо-

лочно-голубые и невинные, как у младенца.

Такое лицо, при склонности к суетным мыслям и привычке смотреться в зеркало, должно было доставлять своему обладателю немало душевных мук: оно могло казаться то красивым, то уродливым, то опять красивым, и так без конца. Нью-Йорк полон подобными не безупречно красивыми молодыми мужчинами и женщинами, обласканными в детстве матерями и всерьез, хотя и с некоторым смущением, верящими, что они далеко пойдут именно благодаря своей неотразимой внешности.

— О, простите, — сказал он. — Я к вашим услугам.

Я заказал коньяк.

— Сегодня дела не очень, да? — сказал я.

Он кивнул, наливая коньяк в непомерно большой бокал. Старик в зеленом шейном платке достал сигарету и теперь с невероятной тщательностью засовывал ее в короткий золотой мундштук.

— Знаете, у нас вообще дела не очень, — сказал бармен.

У меня возникли сильные подозрения, что ресторан обречен. Я улавливал характерную атмосферу упадка. Мне стало более или менее

понятно, что я напишу в своей колонке. В голове уже мелькали обрывки будущих фраз: «реликт пятидесятых, ничейная зона, где подают никакую еду, возбуждающую легкое чувство неловкости»… «подобно «Летучему голландцу», раз в сто лет входящему в полночный порт…» и т. д. В такой ресторан вас могла привести богатая старушка тетя. Единственной отличительной особенностью данного заведения было то, что вместо пожилых дам в мехах здешними завсегдатаями были пожилые мужчины и алчного вида юнцы с горящими глазами.

— Честно говоря, — сказал я, — ваш ресторан производит тягостное впечатление.

Он поставил бокал с коньяком на коктейльную салфетку и бросил быстрый взгляд на старика, лениво выпускающего из ноздрей струйки дыма.

— Жуть просто, — тихо сказал он. — Я начал искать другое место.

— Разумно.

Он снова взглянул на старика и обосновался рядом со мной. Положив локти на стойку, он принялся удрученно качать головой.

— Вы не представляете, как трудно устроиться на такую работу, — сказал он. — Я имею в виду — в приличном месте. Вы, похоже, здесь в пер-

вый раз?

— Да.

— Да, кажется, я вас раньше не видел.

На какую-то секунду во взгляде его бледно-голубых глаз мелькнула довольно ленивая попытка вычислить меня. Можно было предположить, что в бар нередко заходят молодые люди в поисках легких денег. Но я не был ни достаточно красив, чтобы принадлежать к их числу, ни очевидно богат, чтобы являться потенциальным покупателем.

— Мне просто захотелось чего-нибудь новенького, — сказал я. — Нельзя же без конца ходить в одни и те же места.

Он снова покачал головой, на этот раз с нескрываемым недоверием. Это был не простой ресторан, в такие заведения случайно не заходят.

— Вы, наверное, работаете где-то неподалеку? — спросил он.

— Я работаю в центре, — ответил я. — Но так вышло, что сегодня я оказался в вашем районе. Я журналист.

— Да? А о чем вы пишете?

Я сказал ему, в какой газете работаю. Он уважительно кивнул. Наша газета была тогда в моде.

— Так о чем же вы пишете? — повторил он свой

вопрос.

— О… о разном. Скажите, а вы скоро освобождаетесь?

— Мы закрываемся через час.

— Может быть, встретимся и посидим в каком-нибудь менее противном месте?

— Пожалуй, — сказал он. — То есть, конечно, давайте.

— Меня зовут Джонатан.

— Эрик. Меня зовут Эрик.

Он снова кивнул, называя свое имя. Выражение неуверенности сошло с его лица. Все выяснилось: я пришел сюда, чтобы «снять» бармена.

Я погулял, и через час мы снова встретились с ним в небольшом кафе в районе Тридцатых улиц. Он добрался туда первым. Когда я вошел, он уже стоял у стойки с бутылкой «Будвайзера», симулируя интерес к фильму с Эстер Уильямс, который крутили по видео. «Привет», — сказал он и опять слегка кивнул, как бы соглашаясь с собственным приветствием.

Я тоже взял пиво, и мы обменялись краткими отчетами о своем происхождении и планах на будущее — обычный разговор. Была среда, народу в кафе было немного. Кордебалетные танцовщицы плавали в сверкающем аквамариновом мире

видео — комната тонула в пестрых дрожащих сумерках. Эрик был сама рассеянность. Он определенно принадлежал к тому типу людей, что машинально рвут салфетки и отбивают такт ногой, пропуская добрую половину того, что вы им сообщаете. Его волосы на макушке уже начали редеть, и, когда выяснилось, что он на три месяца моложе меня, я был сильно удивлен.

Выдержав необходимую паузу — два пива, — мы отправились к нему на Двадцать четвертую улицу, где он удивил меня еще раз. В постели он был великолепен. Иначе не скажешь. Это было подлинное преображение. Пока мы беседовали, он казался суетливым и невнятным, склонным к неоправданным паузам и приступам нервного смеха. Но, сбросив одежду, вдруг приобрел грациозную самоуверенность балетного танцора. У него было худое, жилистое тело со вздувшимися венами на руках и выступающими ребрами грудной клетки. Той ночью, когда мы впервые пришли к нему на квартиру (одна комната с пульмановской кухней и ванной), он скинул с себя одежду с такой невероятной быстротой, словно на нем был специальный костюм профессионального комика. Только что он был одет, а буквально через секунду уже стоял в чем мать

родила, между тем как я все еще возился с пуговицами на рубашке.

— Ого, — сказал я, — как это у тебя получается?

Он улыбнулся и помог мне раздеться. Его движения были быстрыми, точными и вместе с тем нежными; недавняя робость и отрешенность совершенно исчезли, уступив место спокойной сосредоточенности и ненавязчивой умелой методичности. Он расстегнул мои джинсы и ласково спустил их мне до лодыжек, после чего, обняв за талию, без видимых усилий поднял и посадил меня к себе на кровать.

Если я и был возбужден, то не им, а самой идеей секса, легкостью, с какой все произошло, — я вышел в город и «снял» мужчину, невостребованного мужчину, с которым можно делать теперь все что хочется. Должен признаться, что в моем желании был оттенок садизма. И примесь тщеславия. Я выбирал ничем не примечательных людей, таких, что не только не откажут, а еще будут чувствовать себя облагодетельствованными.

Меня никогда не восхищали их тела — то тощие, то толстые, но неизменно смущенные и благодарные, — меня восхищал сам факт их пленения. Когда Эрик посадил меня на свою кровать, я был возбужден, так сказать, вообще, несфокуси-

рованно, как обычно. Я позволю ему лидировать, подумал я, но уйду от него непобежденным. Отчасти я уже отсутствовал — даже сейчас, когда наши груди впервые соприкоснулись, а ноги только-только нащупывали правильную позицию. Я был больше, чем это. Испытываемое мной чувство было острым и не вполне приятным, как будто у меня в груди роились пчелы. Эрик ткнулся носом мне в плечо и провел пальцем вдоль ребер. Его прикосновение было сухим и легким. Было что-то трогательное в его искренности, в его лысеющей, хрупкой красоте. И одновременно что-то пугающее.

Некоторое время он лежал на мне, осыпая мою грудь поцелуями. Затем перевернулся так, чтобы я оказался сверху. Я в первый раз внимательно оглядел его. Он был худым, но ширококостным. Волос на животе у него было больше, чем на груди. Его член был слегка загнут вправо и окаймлен бугристой веной. Этот впалый волосатый живот и кривоватый член вдруг охладили меня. Момент подобного шока я испытывал почти всегда, когда в полной мере осознавал интимную особость чужого тела. Глядя на костлявую грудь Эрика, я почувствовал себя так, словно застал его за чем-то непристойным. Я увидел его инаковость,

в результате чего мое возбуждение сменилось брезгливостью, и, зажмурившись, я без всякой радости принялся сосать его член. Скоро, подумал я, я вернусь домой и выпью с Клэр. Так или иначе, мне будет о чем ей рассказать. Мы вместе покачаем головами и посетуем, как редко встречается настоящая любовь.

— Расслабься, — прошептал Эрик.

Я не ответил, потому что не мог — мой рот был забит. Когда он повторил это еще раз, я отстранился и сказал:

— Я совершенно расслаблен, спасибо.

Мне хотелось, чтобы он поскорее кончил, хотелось кончить самому и вернуться назад в свою кожу, на улицу, вырваться на свободу. Он отодвинулся и приказал мне лечь на живот.

— Ты слишком напряжен, — заявил он.

Я нехотя повиновался, и он кончиками пальцев принялся массировать мне спину — лопатки и позвоночник.

— Ты очень напряжен, — повторил он. — Я чувствую.

Сделав над собой некоторое усилие, я решил не спорить, хотя мне и были неприятны его слова, указывающие на неубедительность моего имиджа. Дело в том, что, занимаясь сексом, я входил

в определенный образ, изображая того, кем на самом деле не являлся. В постели я вел себя так, как мог бы вести себя мой несуществующий старший брат, жесткий, немного циничный, отважный, не знающий ни заячьей робости, ни сомнений, постоянно терзающих меня самого. Сидя в редакции или в вагоне метро, я мечтал о крепких, сильных мужчинах, которые бы нуждались во мне как в средстве заглушить боль. Оказываясь в постели с чересчур трепетными и кроткими, я думал только о быстром оргазме и бегстве.

Эрик занимался моей спиной со знанием дела, его пальцы мастерски обрабатывали места соединения костей и сухожилий. В ответ на мое замечание о его профессионализме он сказал:

— Я ходил на курсы массажистов.

Позднее я узнал, что он в принципе верил в образование. Чему он только не учился, причем самым тщательным образом! Ему нравились таблицы, членения на разделы и деления на этапы. Он брал уроки разговорного французского, посещал литературные курсы, учился шить лоскутные покрывала.

Благодаря его массажу я расслабился почти против воли. Более того, я уснул. Такого со мной еще никогда не случалось. Конечно, здесь могло

сказаться и то, что до этого я несколько дней подряд много работал и очень поздно ложился. Я соскользнул в сон, как под наркозом. Только что я разглядывал фотографию двух слащавых незнакомцев, стоявшую в рамке на ночном столике, а в следующий миг меня разбудил поцелуй.

Я вздрогнул и от неожиданности чуть было не свалился с кровати. На какое-то мгновение я потерял чувство реальности. Где я и чья это наодеколоненная челюсть?

— Шшш, — прошептал он. — Все в порядке.

— О Господи, я что, уснул?

Я был как пьяный и чувствовал себя ужасно глупо. Может быть, я храпел? Или нес какую-нибудь околесицу?

— Всего на пару минут, — отозвался он.

Он поцеловал меня в шею и нежно, но прочно расположился у меня между ног.

— Поразительно, — сказал я. — Такого со мной еще никогда не было. Понимаешь?

— Главное — не напрягайся, — сказал он. — Представь себе, что ты спишь и видишь сон.

Я почему-то послушался. И хотя выработавшийся за годы рефлекс подсказывал мне как можно быстрее разделаться с сексом, прийти в себя и заняться своими делами, я решил не

сопротивляться. В этом было удивительное, сладострастное наслаждение. Я полностью уступил инициативу Эрику, и все происходящее действительно воспринималось мной как во сне. К сексу он относился так же, как ко всему, за что брался, — со скрупулезной тщательностью примерного ученика. Если нашему соитию и недоставало безоглядной непринужденности подлинной страсти, то выучки и мастерства было не занимать, что за неимением первого является, пожалуй, лучшим вариантом. Эрик мог на глаз налить ровно унцию виски. Мог сам вручную изготовить подарочное свадебное покрывало. И точно знал, как глубоко вводить, когда вынимать, в какой момент добавить неожиданное движение. Я целиком отдался его умелому руководству и оставил всякие поползновения произвести впечатление самому. Ему явно нравилось командовать.

Той ночью мы проделали это трижды. После первого раза мы не раскатились. Я не ускользнул от него. Он прижимал меня к себе, и я поглаживал его гладкое бедро, поросшее редкими волосками. Я ощущал запах его пота, резкий, но не противный. Мы полежали так минут десять, а может, и больше. После чего он сказал:

— Ты готов еще раз?

К тому моменту, как я оделся, его квартира уже не казалась мне чужой. Нет, это не была комфортабельная или даже просто уютная квартира — комната, выходящая на глухую стену соседнего дома, в белом кирпичном здании из тех, что строились в спешном порядке в начале шестидесятых. Из мебели в ней была тахта на деревянной платформе, покрытая лоскутным покрывалом, стереопроигрыватель, телевизор и невероятных размеров черный диван, с восходом солнца методично принимавшийся за свою каждодневную работу по вбиранию в себя и того скудного света, что кое-как просачивался сюда через единственное окно. На стене в серебряной рамке висела репродукция картины Матисса, изображавшая пеструю, щедро задрапированную комнату, совершенно пустую, если не считать трех кинжалообразных золотых рыбок, висящих в ярко-голубом сосуде. Квартира Эрика была похожа на приемную врача. Она мало что говорила об обитателе, кроме разве что едва уловимого присутствия легкой грусти. Тем не менее к тому моменту, как я оделся, записал его телефон и оставил свой на обрывке газеты, квартира приобрела некоторую материальность. Оставшись такой же

бесцветной, как тогда, когда мы только вошли, она все-таки превратилась в место, где кто-то живет. На телефоне, указывая на неслышное сообщение, мигал красный индикатор автоответчика.

Стоя в дверях, я послал Эрику воздушный поцелуй, шепнул «пока» и, спустившись на три пролета, оказался на улице.

Обычно это был мой самый любимый момент — когда после секса я возвращался наконец к самому себе, все еще молодой, здоровый и имеющий право идти куда вздумается. Но на этот раз я чувствовал себя каким-то бесплотным и раздраженным. Я никак не мог собраться, совпасть с самим собой. Двадцать четвертая улица беззвучно тонула в потоке темно-желтого света. Мимо меня проплыла одинокая проститутка в черных чулках и меховом жакете; на витрине круглосуточного киоска красовались апельсины, восковые яблоки и гвоздики, выкрашенные в зеленый цвет ко Дню святого Патрика. Меня переполняло телесное удовольствие, каким-то образом тонко соседствующее с печалью. Что-то было потеряно, во всяком случае на время, некая степень свободы. Я прошел пешком двадцать кварталов, но так и не смог стряхнуть с себя это

ощущение. Оно следовало за мной неотступно, как вор.

Я вернулся домой уже после четырех. Клэр спала. Вечером, когда мы увиделись, я не стал подробно рассказывать об Эрике. Привычным обертоном наших с ней разговоров о мужчинах была несколько пренебрежительная ирония, и я не представлял, как рассказать ей о таком человеке, как Эрик. Не то чтобы я влюбился, но все-таки вчерашний секс принципиально отличался от обычной клоунады, кошмара или скуки.

— Ты какой-то молчаливый сегодня, — сказала Клэр. — Что-то случилось?

— Ничего не случилось.

Мы сидели на диване, потягивая «Перно». Это было наше последнее пристрастие. Краткая, но безграничная преданность какому-нибудь экзотическому ликеру вошла у нас в привычку.

— Обычно ты не такой сдержанный! — заметила Клэр. — Или этот парень имеет шанс превратиться в кого-то особенного? Что именно ты скрываешь?

— «Этот парень» — очередной несостоявшийся актер, смешивающий коктейли в аду. И как оказалось, великий трахальщик.

— Дорогой, такими вещами не разбрасыва-

ются, — сказала она. — Последний раз судьба сводила меня с великим трахальщиком — дай бог памяти — в 1979 году. Так что, пожалуйста, давай чуть подробнее. Давай, давай! Никаких секретов от тетушки Клэр!

Она сделала большой глоток ликера, и я почувствовал, что за ее дружеским горячим участием скрывается примитивный страх — страх, что я уйду от нее, потеряюсь в любви. Тень этого страха мелькнула в ее глазах, обозначилась в складках губ, сжавшихся с явным неодобрением, чего не смогла утаить даже густая ярко-красная помада.

— Дорогая, есть такие области, куда невозможно путешествовать вдвоем, даже с лучшим другом, — сказал я.

— Неправда, — возразила она. — Тем более что ты и сам в это не веришь. Тебя просто смущает тема. Разве нет?

У нас с Клэр не было секретов друг от друга, что придавало нашим отношениям пьянящую безумноватую остроту. Возможно, это было нашей попыткой восполнить те знания, которые другие пары извлекают из секса. Мы рассказывали друг другу все во всех подробностях. Нам были известны все наши грехи, все самые позорные фантазии, обманы и самообманы. Мы в деталях

описывали друг другу свои сексуальные связи и знали, как у кого работает желудок.

И вот теперь впервые за все время нашего знакомства мне захотелось нечто утаить. Я сам не вполне понимал почему. Может быть, мне не хотелось расставаться именно с этим отсутствием определенности. Эрик изумил меня своей трепетной умелостью, тронул пугающей бодростью и сомнительными перспективами. И в то же время что-то в нем меня раздражало. Я сам не разобрался еще в своих ощущениях и не хотел пока ничего определять и формулировать. Может быть, я боялся, что, определив, я как бы законсервирую ситуацию, лишу ее возможности перерасти во что-то другое. Возможно, я был прав.

Но в тот вечер я решил не настаивать на своем праве иметь секреты. Я тоже боялся одиночества и чувства оставленности, а кроме того понимал, что никогда не свяжу свою жизнь с Эриком. Наш роман в лучшем случае мог стать ступенью на пути к чему-то неопределимому, лежавшему за кругом того домашнего тепла, что я делил с Клэр. Я любил ее больше всех на свете, ближе ее у меня никого не было.

И поэтому я рассказал ей все. Тем более что, как выяснилось, рассказывать-то было особенно

нечего. Когда я закончил свою историю, Клэр сказала:

— Дорогой, ты просто нашел своего Доктора Филгуда.[19]

Она пропела несколько строчек из песенки Ареты:

Don't call me no doctor,
filling me up with all of them pills,
I got me a man named Dr. Feelgood,
makes me feel real gooo-oood.[20]

Это показалось мне верным определением, по крайней мере на тот момент. Эрик — это Доктор Филгуд. Так и пошло с того вечера. Чем дальше, тем больше подходило ему это имя. Наши сестринские отношения с Клэр остались незамутненными. Я нашел себе неплохую вещицу на стороне. Клэр рекомендовала пользоваться этой ситуацией, пока она сама себя не исчерпает, тем более что, как показывает опыт, долгими

---

[19] Примечания: 19

Притворяющееся английской фамилией слово «feelgood» значит «чувствую себя хорошо». Doctor Feelgood — что-то вроде «доктор Будьздоров».

[20] Примечания: 20

Не вызывайте мне врача, который станет пичкать меня всякими дурацкими таблетками; я завела себе парня по имени Доктор Филгуд, и от этого мне действительно хорошо *(англ.)*.

подобные загулы не бывают. Мне показалось, что это мудрый совет.

Мы с Эриком стали видеться регулярно. Поскольку вечерами он работал, встречались мы, как правило, после одиннадцати. Обычно мы выпивали по паре бокалов в баре и шли к нему.

Его жизнь во многом так и осталась для меня загадкой. Единственным постоянным, хотя и не вполне четко очерченным стремлением Эрика было стремление к славе, ну, или хотя бы известности. Способы достижения этой цели были несколько неопределенными — он просто старался быть на виду, таким образом как бы помогая судьбе себя заметить. Он без конца ходил на всевозможные пробы и прослушивания. Не умея петь, пытался пробиться в бродвейские мюзиклы. В качестве статиста он участвовал во всех фильмах, снимавшихся в Нью-Йорке, работая иногда по четырнадцать часов в день. В рождественские каникулы он по собственной воле исполнял роль механического солдата (в натуральную величину) в магазине игрушек ФАО Шварц. Он брал бесконечные уроки актерского мастерства и убедительно рассуждал о своем актерском росте, но, узнав Эрика поближе, я понял, что его интересовала не игра как таковая, а

возгласы одобрения. Полагаю, что пантомима в магазине игрушек рождала в его душе примерно то же смешанное чувство радости и страдания, какое он испытывал бы, исполняя главную роль в бродвейском шоу. Ему нравилось методично продвигаться к намеченной цели, и он боготворил успех. Но решение поставленных задач, похоже, не входило в его планы. В своей будничной жизни он был сама заурядность: ходил в джинсах и тенниске, терялся в простейших разговорах, жил один в необставленной квартире. Но в магазине игрушек во время рождественских каникул он ни разу на протяжении всей восьмичасовой смены не позволял себе расслабиться, ни на секунду не прекращая своих роботоподобных движений. В спортивных трусах в тридцатиградусную жару он бессчетное число раз бегал туда-обратно по Бликер-стрит лишь ради того, чтобы мелькнуть на заднем плане в фильме, которому так и не суждено было выйти на экраны. Ночью, при выключенном свете, он был великолепен в постели.

И все-таки, хотя мы виделись каждую неделю, я не мог бы сказать, что я его знаю. Возможно, ему казалось, что, если я или кто-нибудь другой узнает его слишком хорошо, это помешает его

внутреннему росту и нынешнее неприметное существование станет свершившимся фактом. Меня пугало то, что он — как мне казалось — был готов полностью раствориться в другом человеке. Я мог легко представить, что, распростившись с мечтой о славе, он превратится в чьего-нибудь поклонника и спокойно откажется от последних остатков собственной воли. Мне кажется, что я почувствовал это уже во время нашей первой встречи в баре, заметив, с какой подчеркнутой заинтересованностью он кивал тому старику. Он учился быть внимательным. И мне не хотелось становиться главным объектом приложения его умений.

Встречаясь, мы говорили исключительно о внешних вещах: о работе, о любимых и нелюбимых фильмах, пока во время десятой, а может, и пятнадцатой встречи, когда мы, потные, медленно приходили в себя, прижавшись друг к другу, он не сказал:

— Итак, э… кто же ты на самом деле?

— Что?

Его уши вспыхнули. Подозреваю, что это была цитата из какого-то фильма.

— Я хочу сказать, что, в сущности, я тебя почти не знаю, — пояснил он.

— Я тоже тебя почти не знаю, — сказал я. — Мне известно лишь то, что ты актер, что ты работаешь барменом, что ты хочешь сменить место работы, но почти ничего для этого не делаешь и что тебе нравится фильм «Поля смерти».

— Я вырос в Детройте, — сказал он.

— Я тоже со Среднего Запада.

— Да, я помню. Ты родился в Кливленде.

Помолчав немного, он сказал:

— Любопытно. Мы оба со Среднего Запада. По-моему, это многое объясняет, тебе не кажется?

— Нет. По-моему, это ничего не объясняет, — ответил я.

Я подумал, что этот разговор — начало конца наших отношений, и, в общем-то, не слишком расстроился. Прощай, Доктор Филгуд. Позволь мне снова вернуться к себе, воскресить потерянное чувство безграничных возможностей.

После небольшой паузы он сказал:

— Когда-то я был музыкантом. В детстве. Я обожал музыку. Больше всего на свете. Даже мои сны были музыкой, просто… музыкой.

— Серьезно? На чем ты играл?

— На фортепьяно. На виолончели. Немного на скрипке.

— Ты и сейчас играешь?

— Нет. Никогда. У меня не было настоящего таланта. Способности были, но средние, понимаешь?

— Ясно.

Воцарилось тягостное молчание. Мы лежали, не зная, что сказать дальше. Мы не были ни друзьями, ни влюбленными. У нас не было свободного доступа друг к другу вне секса. Мне казалось, что я ощущаю бремя Эриковой несчастности, как ныряльщик чувствует тяжесть океана, но помочь ему я не мог. Мы расплачивались за то, что начали спать вместе фактически прежде, чем познакомились, — наша близость не была заключительным аккордом дружбы или влюбленности. Я не мог выслушивать признания Эрика — для этого я недостаточно хорошо его знал. Я вспомнил совет Клэр: пользуйся, пока можно.

— Послушай, — начал я. Он приложил палец к губам:

— Шш… Не нужно ничего говорить. Сейчас не самое подходящее время для разговоров.

Он начал поглаживать меня по волосам и покусывать мое плечо.

Наши отношения оставались непрочными. Им недоставало простоты. Мы как будто каждый

раз знакомились заново. Когда спустя несколько месяцев я снова заговорил с Эриком о его детской влюбленности в музыку, он сказал только: «С этим покончено. Знаешь, это давняя история. Что-нибудь новенькое в кино видел?» В наших разговорах то и дело провисали паузы. Я ни разу не пригласил его к себе, не стал знакомить его ни с Клэр, ни с кем-нибудь еще из своих друзей. Я на время покидал свою жизнь, чтобы встретиться с ним в его. В обществе Эрика я становился другим человеком. Во мне появлялись резкость и некоторая бесчувственность; я превращался в объект. Общение происходило лишь на телесном уровне, и, наверное, это было правильно. Все остальное было бы излишне сентиментальным, надуманным, неуместным. Мы относились друг к другу с теплотой и уважением и не лезли друг другу в душу. Подозреваю, что была в наших взаимоотношениях и доля презрения. Поскольку я не привносил в эти свидания ничего, кроме нервов и мускулов, то — как обнаружилось — мог быть на удивление шумным в постели. Я вообще почему-то не стеснялся шуметь в обществе Эрика. Скажем, топать по полу так, что мои шаги начинали напоминать стук топора. И еще я мог быть немного жестоким. От моих укусов на его коже

нередко оставались следы, похожие на отпечаток морского моллюска. Я часто представлял себе его связанным, униженным, раздетым донага и прикрученным к кафкианскому аппарату, трахающему его без остановки.

В моей другой жизни мы с Клэр каждый вечер заходили куда-нибудь съесть фалафель, жареного цыпленка или попробовать какое-нибудь блюдо вьетнамской кухни. Мы спорили о том, стоит ли ребенку смотреть телевизор, и соглашались, что суровая реальность школьных будней настолько ценна сама по себе, что даже способна компенсировать дурную подготовку учителей. Иногда мимо окон ресторана, в котором мы ужинали, проходили молодые отцы с детьми, сидевшими в колясках или у них на плечах. Я всегда провожал их глазами.

Вот так я и жил в рейгановском безвременье.

Пока Бобби не переселился в Нью-Йорк.

Бобби

Я жил у Неда с Элис почти восемь лет. И мне не хотелось ничего менять. Совсем не хотелось. Я выдавливал кремовые розочки на именинные торты и продумывал меню завтрашнего обеда.

Каждый следующий день был точной копией предыдущего, и в этом была своя особая прелесть. Повторение, как наркотик, придает вещам новый, непривычный объем. Когда мне удавались мои булочки с корицей, а с неба вместо дождя начинал валить снег, день казался наполненным и прожитым не зря.

Я ходил в магазин за продуктами, мял пальцами дыни, горстями черпал из ящика грецкие орехи. Я продолжал покупать пластинки; не влюбился; не посещал могилы моих родных — три в ряд. Просто ждал, когда снова созреют спаржа и помидоры, и крутил диланскую «Blonde on Blonde»,[21] пока совсем ее не запилил. Я бы и сегодня жил так, если бы Нед и Элис не переехали в Аризону.

Этого потребовал врач, заявивший, что огайский воздух с его пыльцой и озерными испарениями не годится больше для усталых легких Неда. Одно из двух: либо отъезд в пустыню, либо можно приступать к организации похорон. Так он сказал.

Я хотел поехать с ними. Но Элис меня не пустила.

— Бобби, — сказала она, — родной, по-моему,

---

[21] Примечания: 21
«Блондинка за блондинкой» *(англ.).*

тебе пора начинать жить самостоятельно. Что ты будешь делать в Аризоне?

Я сказал ей, что устроюсь в булочной. Сказал, что буду делать то же самое, что сейчас, только не здесь, а там.

Ее глаза сузились, превратившись в две темные щелочки; лоб перерезала глубокая вертикальная складка.

— Бобби, тебе уже двадцать пять лет. Неужели тебе не хочется попробовать какой-то другой жизни?

— Не знаю, — отозвался я. — Моя нынешняя жизнь меня вполне устраивает.

Я понимал, что произвожу впечатление заторможенного придурка. Я вел себя, как тот мальчик, которого сверстники не принимают ни в одну игру, и ему приходится делать вид, будто ему и самому не очень-то хотелось. Я не мог поделиться с Элис своими размышлениями о прекрасной обыденности и о том, как приятно, просыпаясь, видеть мигающую цифру шесть на телефонном индикаторе. Когда-то я тешил себя надеждой, что с годами научусь более адекватно выражать свои чувства. Я рассчитывал на большую цельность.

— Дорогой, — продолжала Элис, — мир гораздо богаче, чем ты думаешь. Поверь.

— Значит, вы не хотите, чтобы я ехал с вами? — произнес я капризным тоном обиженного малыша.

— Нет. Честно говоря, не хочу. Я выталкиваю тебя из гнезда. Не исключено, что это следовало сделать гораздо раньше.

Я кивнул. Мы стояли на кухне, и я видел свое отражение в оконном стекле: я был похож на живую игрушку с уличного карнавала: голова как футбольный шлем; гигантские руки, достающие едва ли не до полу. Странно: я всегда казался себе маленьким — неприметным маленьким мальчиком.

— Ты понимаешь, о чем я говорю? — спросила Элис.

— Ага.

Я чувствовал, что моя жизнь скоро изменится независимо от моего хотения. Запас наркотиков в виде кухонных полотенец в красную клеточку и глиняного горшка с деревянными ложками подходил к концу.

Я решил поехать в Нью-Йорк. Больше было просто некуда. Моя кливлендская жизнь вращалась вокруг Элис и Неда: я убирался, готовил им обед, заботился о них. С их отъездом Кливленд окончательно превращался в унылую глухомань.

В воздухе попахивало скукой и разочарованием. Речная вода казалась густой, как кленовый сироп, блочные торговые центры стояли полупустые, наполовину темные. Работая в булочной, понимаешь, насколько все вокруг несчастны. Чего только не покупают люди, чтобы заглушить свою неизбывную тоску: гигантские торты, тонны пирожных и печенья. С Недом и Элис я жил по жесткому распорядку, как в бойскаутском лагере. Я полюбил этот район Кливленда. Но без них от него останутся одни автобусные остановки да ветер с озера Эри. Я полагал, что мне все-таки рановато становиться привидением.

И я позвонил Джонатану. Психологически это было не просто — к тому времени мы были скорее уж родственниками, чем друзьями. Мы дарили друг другу подарки и выкуривали косяк перед рождественским обедом. И в общем-то это было вполне приятно. Но виделись мы не чаще чем раз в несколько месяцев. Он одевался так, как мне и не снилось. Он говорил о театре, а я лишь изредка ходил с Недом в кино и смотрел телевизор с Элис. В основном я часами лежал на диване в моей — бывшей его — комнате и слушал музыку. В Джонатане была живость, он был умен, много чего видел и знал. Я любил его,

но от его визитов мне всегда делалось тоскливо. Я ощущал себя каким-то деревенщиной, кузеном из Богом забытой глубинки, даже хуже — провинциальным дядюшкой-холостяком, этаким непритязательным добряком, не видящим ничего дальше собственного носа. В присутствии Джонатана моя жизнь съеживалась до каких-то смехотворных размеров, и я только и ждал, когда он наконец уедет в аэропорт, потому что в тот же миг нарушенный масштаб восстанавливался, и я снова мог ходить по улицам Кливленда, не чувствуя себя беженцем-неудачником.

И тем не менее, когда огайский этап моей жизни завершился, я позвонил Джонатану. Мне не хотелось по собственному произволу начинать с нуля в Бостоне или в Лос-Анджелесе. Меня ужасала перспектива полного одиночества. Да, конечно, у меня были нормальные отношения с Роуз, Самми и Полом, с которыми я работал в булочной, но положа руку на сердце я не мог бы назвать их настоящими друзьями. Вообще новые знакомства не такая уж простая вещь в этом мире. Особенно если по многу часов в день, отключившись, лежишь на диване, слушая музыку.

Сначала я все время попадал на автоответчик и не мог заставить себя заговорить. Как только

включалась запись, я вешал трубку с неуютным, вороватым чувством. Наконец после недели безуспешных попыток я услышал живой голос:

— Алло.

— Джон! Джонни!

— Да?

— Джон, это Бобби.

— Бобби! Какой сюрприз! Что-то случилось?

Вот только теперь — контакт. Раз я звоню — значит, что-то случилось с его семьей.

— Ничего не случилось, — сказал я. — Все в порядке. Лучше не бывает.

— Слава богу. Как твои дела?

— Нормально. Все хорошо. А ты как?

— Все ничего, — сказал он. — Как говорится, жизнь продолжается.

Я с трудом сдержался, чтобы не сказать: «Ну ладно. Пока!» — и повесить трубку. Меня посетило видение — вечеринка в булочной по случаю моего очередного дня рождения. Роуз, которой к тому времени уже стукнет семьдесят, целует меня в щеку, перемазав ее помадой, и объявляет, что такого изумительного кавалера, как я, у нее еще не было. Мы выставляем бесплатный торт для покупателей. Самый большой кусок достается Джорджу Диббу, стопятидесятикилограммовому

холостяку, каждый день покупающему у нас торт «Наполеон» и дюжину линзеровских пирожных.

— Послушай, — сказал я. — Ээ… Ты ведь знаешь, что Нед с Элис переезжают в Аризону?

— Да, конечно. Конечно знаю. Мне кажется, это правильно. Они с пятьдесят третьего года все никак не переедут.

— Угу. Ну вот, и раз они уезжают, я тоже подумал, а я… в смысле, а я-то что здесь делаю. Кстати, «Лунный свет» закрыли, слыхал?

— Нет. Господи, я уж лет десять как о нем не вспоминал. Ты туда ходил?

— Нет. Мы когда-то вместе ходили. Под кайфом. Помнишь?

— Такое не забывается. Я полвечера надевал коньки, а катался минуты две.

— Ну вот. Теперь там «Мидас мафлер».[22]

— Ого!

— Джон!

— Да?

— Я тебя не очень напрягу, если приеду в Нью-Йорк? В смысле, я бы мог пожить у тебя немного? Пока не найду чего-нибудь типа работы и квар-

---

[22] Примечания: 22

Авторемонтная станция. Сеть авторемонтных станций «Мидас» принадлежит корпорации «Уитман». Была создана как мастерская по замене глушителей. Мафлер (muffler) — глушитель *(англ.).*

тиры.

Он ответил не сразу. Я различал звон миль и едва слышное теньканье голосов, наполняющих пространство между нами. Наконец он сказал:

— Ты действительно хочешь переехать в Нью-Йорк?

— Да. Действительно хочу. Я уверен.

— Это жесткий город, Бобби. На прошлой неделе тут убили одного прямо возле нашего дома. Расчлененный труп рассовали по четырем мусорным бакам.

— Да, я понимаю, что это не Кливленд, — сказал я. — Я знаю. Но, Джонни, мне здесь больше невмоготу. Понимаешь, я сделал уже, наверное, миллион пирожных.

Опять провисла пауза. Потом он сказал:

— Если ты вправду хочешь попытать счастья в Нью-Йорке, ты, конечно, можешь остановиться у меня. Естественно. Думаю, я смогу обеспечить твою безопасность.

Я поехал поездом, потому что, во-первых, это было дешевле, а во-вторых, мне хотелось почувствовать расстояние. Всю дорогу я не отрываясь смотрел в окно с сосредоточенностью человека, читающего книгу.

Джонатан встретил меня на вокзале. На нем бы-

ла черная футболка, черные джинсы и тяжелые черные башмаки с тусклым лакричным блеском. Можно было поспорить, что он будет одет самым непредсказуемым образом.

Мы обнялись, и он поцеловал меня в щеку — быстрый, сухой поцелуй. Мы вышли на улицу. Когда я увидел, как он ловит такси, я понял, что между нами действительно образовалась пропасть. В том, как, сойдя на мостовую, он вскинул вверх правую руку, сквозило величавое достоинство генерала. Причем неподдельное. Сам я держался как бедный родственник.

На заднем сиденье такси Джонатан ущипнул меня за руку.

— Даже не верится, что ты и вправду приехал, — сказал он.

— Мне самому не верится. Я специально поехал на поезде. Если бы я не увидел, как мы проехали Пенсильванию, не поверил бы. То есть если б я просто сошел с самолета, я решил бы, что это, ну, что-то вроде галлюцинации.

— Так оно и есть. Этот город — твой сон, — отозвался он. И больше до самого дома мы не сказали друг другу ни слова.

Такси ползло по вечернему Нью-Йорку. До этого я был тут всего один раз, много лет назад, когда

Джонатан еще учился в университете. Мне было интересно, но, так сказать, отвлеченно. Этот город не имел ко мне отношения, точнее, имел, но самое косвенное, вроде автострады или авианосца. Я вел себя, как нормальный турист. Осматривал памятники, гулял по Гринич-Виллидж, посидел с Джонатаном и его друзьями в баре, где умер знаменитый поэт. Мне было вполне комфортно исполнять эту незначительную роль заезжего гостя и приятно осознавать, что вот я нахожусь в таком удивительном месте и что у меня есть свой уютный, замечательный дом, куда я скоро вернусь.

Теперь я приехал сюда жить. Теперь все было совсем иначе.

Нью-Йорк кипел. Это было первое, что бросилось мне в глаза. Казалось, он состоит из каких-то особенных взволнованных молекул; все дрожало и переливалось, постоянно меняя очертания. Свет, идущий от зданий и улиц, был интенсивнее того, что лился с неба, — глаз улавливал лишь отдельные фрагменты. Кливленд открывался совсем по-другому — более крупными кусками, там вы могли разглядеть стенд для объявлений, облако, вяз, стоящий на собственной густой тени. А за первые десять минут моего пребывания в

Нью-Йорке я успел заметить лишь промелькнувшую красную соломенную шляпку, стайку голубей, тусклую неоновую рекламу с надписью «Лола». Все остальное представляло собой один большой взрыв, город ежесекундно разлетался на кусочки.

Когда мы подъехали к дому Джонатана, возбуждение немного спало и предметы обрели чуть более внятные очертания. Джонатан жил в коричневом доме на узкой коричневой улице. Если Кливленд был преимущественно серым — известняк и гранит, то Нью-Йорк — коричневым: весь ржавчина, подтаявший шоколад и тот неопределенно-песочный цвет, в какой обычно красят школьные коридоры.

— Вот, — сказал Джонатан. — «Щупальца тарантула».

— Твой дом, — сказал я, как будто без меня он этого не знал.

— Точно. Я тебя предупреждал. Заходи. Внутри он немного лучше.

Лестница тонула в зеленоватом аквариумном полумраке. На каждой площадке гудела сиротливая флюоресцентная панель. Я нес чемодан и рюкзак. Джонатан тащил мой второй чемодан. В свою новую жизнь я взял не много вещей. Оба

чемодана были набиты пластинками. В рюкзаке лежала одежда, причем — это было уже ясно — такая, какой здесь никто не носит. Я почувствовал себя студентом по обмену.

— Я живу на шестом этаже, — сказал Джонатан. — Мужайся.

И начал подниматься; я двинулся за ним. На лестнице пахло жареным мясом. В болотном сумраке кружилась медленная испанская музыка. Пока мы взбирались с этажа на этаж, я смотрел, как мой старый голубой чемодан — одолженный у Элис «Американэн туристер» — трется о джинсовое бедро Джонатана. Даже мой чемодан выглядел тут как-то неуместно — слишком уж он был печальный и какой-то дряхло-невинный, как старая дева.

Наконец мы поднялись на шестой этаж, и Джонатан, отперев три замка, открыл металлическую дверь.

— Та-да, — прогудел он, когда дверь с тяжелым стоном отворилась.

— Твоя квартира, — сказал я. Я почему-то продолжал сообщать ему, что происходит.

— А с сегодняшнего дня и твоя, — ответил он. Отвесив поклон, он пригласил меня войти.

То, что я увидел, действительно разительно

отличалось от подводных сумерек, окутывающих холл и лестницу. С порога вы попадали прямо в ярко-рыжую, цвета цветочного горшка гостиную, в которой стоял диван, покрытый леопардовой шкурой, и висела гигантская картина: синяя обнаженная женщина в экстатическом порыве тянется к чему-то, оставшемуся за верхним краем холста. Комната была наполнена солнцем, льющимся сквозь зарешеченные окна, взятые в скобки тяжелых портьер образца пятидесятых годов, с узором из зеленых и красных листьев. Если задернуть такие шторы, солнечный свет погаснет, как будто вы повернули выключатель. Шторы выглядели так же внушительно и функционально, как и железная дверь.

— Ого! — воскликнул я и почти против воли добавил: — *Твоя* квартира.

— Интерьером занималась моя соседка Клэр. У нее было много разных идей, — сказал он. — Пошли. Давай занесем вещи в мою комнату.

Миновав две закрытые комнаты, мы прошли через небольшой холл в комнату Джонатана. Она была белой, с голыми стенами. На деревянном полу лежал матрас, около которого стояла лампа в белом бумажном абажуре на проволочных ножках, тонких, как волоски.

— Я тут немного увлекся дзэном, — сказал Джонатан. — Здесь я отдыхаю от всех этих цветовых излишеств.

— Угу, — отозвался я. — Я люблю белый.

Мы опустили на пол мои вещи и стояли теперь, не зная, что делать дальше. Это был не самый приятный момент. За годы раздельной жизни мы потеряли чувство естественной неизбежности чужого присутствия. Мы были как родственники двух умерших друзей.

— Ты можешь спать в моем спальнике, — сказал он, — а твои вещи мы уж как-нибудь затолкаем в шкаф.

— Отлично.

— Хочешь распаковаться прямо сейчас?

Не то чтобы я этого очень хотел, но, несомненно, это являлось самым логичным следующим шагом. Я понял, почему в прошлом веке приехавший гость непременно разбирал свои вещи, отдыхал, переодевался к обеду, — это давало узаконенную возможность побыть в одиночестве. Сегодня нам приходится преодолевать гораздо большие отрезки непрерывного времени.

— Хорошо, — сказал я и добавил: — Собственно, мои вещи — это в основном пластинки.

Джонатан расхохотался.

— Вот то, что ты бы взял с собой на необитаемый остров, да?

Я открыл «Американ туристер» и вытащил первую небольшую стопку.

— Слышал новую пластинку Джони? — спросил я.

— Нет. Хорошая?

— Очень. Да, кстати, а такой Ван Моррисон у тебя есть?

— Нет. Честно говоря, мне кажется, я вообще не слушал Вана с кливлендских времен.

— Ну, от этой пластинки ты просто обалдеешь, — сказал я. — По-моему, он и сейчас в первой десятке. Я поставлю ее, ладно?

— У нас нет проигрывателя. Только кассетник. Извини.

— Аа… Ну… Понятно.

Он положил руку мне на плечо.

— Все будет нормально, Бобби, — сказал он. — Мы тут тоже слушаем музыку. Не бойся, мы не живем в мертвой тишине. Но если Ван — дело, не терпящее отлагательств, можно выйти и купить кассету прямо сейчас. Один из самых больших в мире музыкальных магазинов через шесть домов отсюда.

— Все в порядке, — сказал я. — Думаю, у тебя

своя коллекция, и наверняка я тоже много чего из нее не слышал.

— Конечно, конечно. Но посмотри мне в глаза. Ты хочешь, чтобы мы вышли и купили кассету Вана Моррисона?

— Не… не обязательно, — сказал я. — Все нормально. Правда.

Но Джонатан покачал головой.

— Пошли, — сказал он. — Давай делать все по порядку — начнем с главного, а чемоданы отложим на потом.

Он снова вывел меня на улицу, и мы пошли в музыкальный магазин на Бродвее.

Джонатан не соврал. «Сказка, ставшая былью» — это расхожее клише как нельзя лучше соответствовало тому, что я увидел. Магазин представлял собой гигантский комплекс, занимавший целых три этажа. В Огайо я ходил в музыкальную секцию нашего торгового центра и в хиреющую лавку одного старого битника, стены которой до сих пор были обиты мягким деревом. А здесь, миновав стеклянный предбанник с вертящимися дверями, вы попадали в зал огромный и высокий, как храм. Над бесконечными рядами альбомов парили гитарный аккомпанемент и женский голос, чистый и острый, как бритва. Ми-

гали неоновые стрелы, и черноволосая красотка с внешностью рекламной кинозвезды перебирала пластинки рядом с подростком в майке с надписью «Секс пистолс». Это было особое место: даже если бы вы были глухим и безглазым, вы все равно бы это почувствовали. Носом; кожей. Буйство молекул достигало тут своего апогея, это был экстаз в чистом виде. Я подумал тогда, что именно здесь сердце Нью-Йорка. Я и сегодня так думаю.

Мы спустились в кассетный отдел и купили Вана Моррисона. Еще мы купили старые записи «Роллинг стоунз», которых у Джонатана почему-то не было, «Blonde on Blonde» и самые известные хиты Дженис Джоплин. Джонатан расплатился за все по кредитной карте. Он настоял.

— Это подарок по случаю твоего приезда, — сказал он. — Купишь мне что-нибудь со своей первой зарплаты.

С кассетами в желтом полиэтиленовом пакете мы вышли на улицу. Было тепло. Вечерело. Над нами белело широкое пустое небо, какое бывает и утром, и даже ночью при искусственном освещении. Это был один из тех ватных дней, когда понять, утро еще или уже вечер, можно, только поглядев на часы. Мы заговорили о Неде и Элис.

По обеим сторонам коричневых улиц тянулись испанские продуктовые магазины и склады, уже опустившие к тому времени свои железные решетки. Неся эти аккуратно упакованные кассеты и слушая рассуждения Джонатана о родителях, я почувствовал что-то вроде легкого внутреннего укола, подтверждавшего правоту моего выбора — я оказался в нужное время в нужном месте. Это был мой первый подлинный опыт пребывания в Нью-Йорке — мы шли по улице Грейт Джоунс, а за нами, подхваченная единственным за целый день порывом ветра, подскакивая, как обезумевшая собачонка, неслась обертка от «Вандер брэд».

Когда мы вернулись, соседка Джонатана Клэр уже была дома.

— Привет, дорогой, — крикнула она откуда-то из-за сцены голосом жены. Гостиная была пуста.

— Дорогая, — отозвался Джонатан, — я не один.

— Ба, — донеслось до меня, — я же совсем забыла. Это ведь сегодня, да?

И она вышла.

Я не знаю, получится ли у меня описать Клэр, хотя я как сейчас вижу ее ленивую жестикуляцию, ее расслабленную кисть, обретающую, когда

это требовалось, силу и выверенную точность удильщика на муху. Я закрываю глаза — и она здесь, открываю — тоже. Но то, что я вижу, — это скорее ее манера двигаться, сидеть, улыбаться. У нее была своя особенная пластика, свой способ ставить чашку на стол или приподнимать плечи, когда она смеялась. Описать ее внешность — задача потруднее. Нью-Йорк, воплотившийся в женщину, — вот, пожалуй, мое первое впечатление от Клэр: она все время менялась. Если она и была красива, то грубоватой большеносой красотой, не имеющей ничего общего с модными журналами. Ее оранжевые волосы топорщились во все стороны, словно у нее пылал мозг. Она была довольно высокая — на несколько сантиметров выше меня, — с темно-красными накрашенными губами. На ней были брюки в обтяжку и полосатая блузка тигровой расцветки, спадающая с одного плеча.

— Бобби, это Клэр, — сказал Джонатан.

Она церемонно, как настоящая хозяйка дома, наклонила голову и подала мне руку с длинными алыми ногтями.

— Очень приятно, — сказала она. — Добро пожаловать.

Как я позже узнал, она воспитывалась в Про-

виденсе, Род-Айленд, под надзором матери, примерной лютеранки. Усвоенная светскость оказалась неистребимой. Я потряс ее ладонь. Ее рукопожатие было крепким и уверенным, как у фермерши.

— Мы ходили в музыкальный магазин, — пояснил Джонатан. — За Ваном Моррисоном. Подумали, что нет смысла откладывать.

Я был благодарен ему за это «мы». Мне было бы неприятно, если бы Клэр решила, что я какой-то особенно требовательный.

— Мне нравится Ван, — сказала она. — Когда-то у меня были все его пластинки. Но при разводах вещи пропадают, сам понимаешь.

— Может, послушаем? — предложил я.

— О чем речь, — отозвалась она. — Конечно.

Я пересек комнату и подошел к полке, на которой стоял обтекаемый черный плейер. Над ним помещалась коллекция звериных черепов, беззвучно зиявших пустыми глазницами и всевозможными сочетаниями резцов и клыков цвета слоновой кости. Джонатан заговорил с Клэр о домашних делах. Я сорвал целлофановую обертку, сунул кассету в плейер и нажал на кнопку. Несколько секунд был слышен только мягкий металлический шелест, потом раздался голос Вана.

Комнату наполнила «Tore Down à la Rimbaud».[23] Я вздохнул, потом вздохнул еще раз.

— Бобби, — спросил Джонатан, — ты есть хочешь?

— Можно, — сказал я.

Окутанный голосом Вана, я с безопасного расстояния разглядывал черепа.

— Давайте немного послушаем музыку, а потом сходим куда-нибудь поужинаем! — предложил Джонатан. — За счет газеты. На этой неделе я пишу о мясных блюдах. Как тебе такая идея?

— Отлично, — сказал я. — Гениально.

Я провалился в музыку. Я бы еще и не на то согласился.

Мы послушали одну сторону кассеты. И Джонатану и Клэр запись в целом понравилась, хотя они восприняли ее скорее как фон для беседы. Клэр задавала мне вежливые вопросы о моем путешествии и о нашей с Джонатаном кливлендской жизни. Я отвечал бессвязно, вымученно улыбаясь. Сосредоточиться на музыке так и не удалось.

Потом мы отправились в ресторан. Клэр накинула поношенную кожаную куртку с пацифист-

---

[23] Примечания: 23
«Сорвавшийся а-ля Рембо» *(англ.).*

ским символом на спине. Несмотря на всю свою нелепость и экстравагантность, Клэр странным образом показалась мне живым воплощением здравого смысла. В ней была цирковая яркость и абсолютная прозрачность, ни намека на какие-то задние мысли. С ней было легко. Идя по улице, хотелось взять ее за руку.

Мы пришли в ресторан, снаружи на ресторан совсем не похожий. Неосведомленный прохожий мог бы принять его за дешевое страховое агентство — жалюзи, несколько пыльных спортивных трофеев между оконными стеклами. Но внутри народу было полным-полно. Голос Элвиса Пресли мешался со звяканьем ножей и вилок. За столиком возле самой двери немолодая женщина в мехах с английским акцентом рассказывала что-то о каких-то гангстерах.

На мне были джинсы «Кельвин Кляйн» и бейсбольная майка с длинными рукавами. Это был мой самый модный наряд. Мы выбрали столик в углу. Почти вплотную к нему стояли три других стола — мы едва протиснулись. Стены были украшены сувенирными тарелками, старыми открытками, оленьими головами, часами и выцветшими альбомами Дасти Спрингфилд и «Кингстон трио». Над нами висел знак, гласящий:

«Не обращайте внимания на этот знак».

— Тут заботятся об интерьере, — заметила Клэр.

— Угу.

— Больше, чем во всем штате Мэн, — добавил Джонатан.

— Так чем же, Бобби, — спросила Клэр, — ты, собственно говоря, собираешься здесь заниматься? В Нью-Йорке.

— Я неплохой пекарь, — ответил я. — Может, этим и займусь. В этом я, по крайней мере, хоть что-то смыслю.

— А я думал, ты хочешь сменить профессию, — сказал Джонатан. — Мне казалось, ты уже по горло сыт этими булками.

— Верно, — отозвался я. — Я сам это говорил. Да. Но ведь ничего другого я, в общем-то, не умею. Я же не могу прийти в больницу и предложить им услуги хирурга.

Я покраснел. Я чувствовал себя как на экзамене по материалу, который в глаза не видел.

— Не исключено, что ты бы мало чем отличался от большинства врачей, — сказала Клэр. — А теперь, родной, послушай-ка свою тетю. Тебе известна главная отличительная черта Нью-Йорка? Тут можно все. Это Город Великих Возможностей.

Каждое слово с большой буквы. Тут люди готовы платить бог знает за что.

Я кивнул, глядя, как ее ноготь выводит маленькие восьмерки на затуманенной пластиковой столешнице. Ее зеленые глаза не дрожали и не уходили в сторону, когда она к вам обращалась. Она носила одну тенькающую серебряную сережку сложной формы, сантиметров пятнадцать длиной. Ее воздействие на меня было сродни музыкальному. Мне было трудно говорить в ее присутствии.

— Это правда, Бобби, — подтвердил Джонатан. — Тебе совсем не нужно хвататься за первое, что подвернется. Помни: у тебя есть богатые друзья.

— Мм, а чем ты занимаешься? — спросил я Клэр.

— В основном играю в азартные игры, — сказала она. — Бегаю по городу в поисках всяких штучек-дрючек, из которых можно слепить украшения.

— Клэр — художник-дизайнер, — сказал Джонатан.

— Чушь! На самом деле я просто старьевщица. В тот день, когда у женщин пропадет охота нелепо выглядеть, я окажусь без работы.

Я взглянул на ее апельсиновые волосы и невольно задумался: что означает словосочетание «нелепо выглядеть» в ее устах? Вслух я сказал:

— По-моему, неплохое занятие. Интересное.

— О да! — сказала она. — Синекура! А когда родится ребенок, я смогу работать дома.

— Ты ждешь ребенка?

— А разве Джонатан тебе не говорил? Мы ждем.

Джонатан нахмурился. Элвис исполнял «Jailhouse Rock».[24]

— Не совсем так, дорогая, — сказал он. — Этот вопрос все еще находится в стадии рассмотрения.

— Невелика разница.

— Я не знал, что вы… ээ… — начал я.

— Любовники? — закончил за меня Джонатан. — Это не так. Мы просто обсуждаем возможность стать родителями.

— Аа.

— Большинство родителей не любовники, — заявила Клэр. — Мои, например, не были. Они просто были женаты, и, в общем-то, им было

---

[24] Примечания: 24
«Тюремный рок» *(англ.).*

наплевать друг на друга. А мы с Джонатаном, по крайней мере, близкие друзья.

— Современные нравы, — сказал Джонатан полуизвиняющимся тоном.

Я кивнул. Подошла официантка. Надо было сделать заказ. Джонатан сказал, что ему по долгу службы придется взять мясной рулет, но мы с Клэр можем выбрать все что нам вздумается. Я заказал жареного цыпленка с картофельным пюре, а Клэр фирменное блюдо — запеканку с тунцом и картофель фри.

Поужинав, мы отправились гулять. Мы подошли к Гудзону и с пирса глядели на темные волны и далекий Нью-Джерси. На том берегу по гигантской неоновой чашке ползла вниз, потом забиралась вверх и снова соскальзывала вниз бурая капля кофе. И Клэр и Джонатан были прекрасными рассказчиками. Я покачивался в их беседе, как в гамаке. У обоих были явные актерские способности, оба нуждались в слушателе, так что я был практически избавлен от необходимости раскрывать рот. Они рассуждали о детях, о том, что следует перебраться за город, и о том, как нужно себя вести, чтобы выжить в Нью-Йорке. Они завалили меня и друг друга сведениями о том, где и как выгоднее всего снять квартиру и

где лучше всего покупать одежду.

— Дорогой, — обратилась ко мне Клэр, — в воскресенье мы с тобой сходим в Лоуэр Ист-сайд. Это самое лучшее место.

— Ни в коем случае, — предостерег Джонатан. — Просто Клэр неравнодушна к Орчард-стрит.

— Джонатан покупает вещи в супермаркетах, — сообщила она. По ее тону было ясно, что ей такая практика представляется глубоко порочной.

— Если ты хочешь выглядеть как король диско образца 1975-го, — сказал Джонатан, — лучшего места, чем Лоуэр Ист-сайд, действительно не найти.

— Я что, похожа на короля диско? — спросила Клэр.

— С женщинами все иначе. Тут действует двойной стандарт. Требование выглядеть как полные придурки на них не распространяется. Во всяком случае, в меньшей степени.

— Тому, кто хотя бы на десять минут заглядывал в супермаркет, не к лицу делать подобные заявления. Не слушай его, Бобби.

Я позволил себе отключиться — и стал прислушиваться к музыке, звучащей у меня в голове.

Мы зашли в открытый ресторан с садом и выпили капучино. На деревьях мигали рожде-

ственские огоньки; мраморный мальчик писал в мраморную раковину. Потом мы пошли домой. Клэр поцеловала меня в щеку и, бросив: «Добро пожаловать в Ад», скрылась в своей комнате. Джонатан помог мне расстелить на полу свой толстый зеленый спальник и отдал мне свою подушку. Когда мы легли и выключили белую напольную лампу, он сказал:

— Завтра я свожу тебя в Центральный парк. Если в день осматривать по району, к началу следующей недели ты уже будешь свободно ориентироваться.

— Знаешь, куда бы я хотел съездить? — сказал я. — В Вудсток.

— Он в ста милях отсюда.

— Я знаю.

— Можно, — сказал он. — Я сам еще ни разу там не был. Наверное, там здорово. Город постаревших хиппи.

— Ага. Скажи, а вы с Клэр действительно собираетесь завести ребенка?

— Ох, не знаю. Мы вслух размышляем на эту тему.

— Клэр — симпатичная, — сказал я.

— Да, мне она тоже нравится.

Первые чарующие минуты наступившей тем-

ноты миновали. Уличный шум просачивался сквозь шторы.

— Бобби!

— Угу?

— Не знаю… Мне кажется, нам с тобой нужно обсудить некоторые вещи. Но я не знаю как. Об этом трудно говорить.

— Мм, что ты имеешь в виду?

Он лежал на спине, скрестив руки под головой. Иногда он засыпал в такой позе, и его мысли превращались в сны. Потом иногда ему бывало трудно отделить сон от яви. Я знал это его свойство.

— Я имею в виду то, что когда-то было между нами, — пояснил он. — Ну, секс. Мы ведь никогда еще об этом не говорили, а после школы все кончилось. Мне бы хотелось знать, что ты об этом думаешь?

Я слышал свое дыхание. Это была непростая тема. Похоже, я вообще не испытывал того, что принято называть желанием. Наверное, во мне чего-то не хватало. Я знал, что такое любовь, чувствовал ее напряжение, теплоту и животное удовольствие, смешанное с человеческим страхом. Я испытывал ее к Главерам, к Самми из булочной, к Дилану, исполняющему «Baby

Blue».[25] Но в паху у меня от этого ничего не происходило; я не разжигался, ничто во мне не требовало освобождения. У нас с Джонатаном было что-то вроде сексуальной связи просто потому, что он этого хотел, а я любил его. У меня бывали оргазмы, но они словно бы не имели ко мне прямого отношения, как будто в меня на время вселялись бесплотные духи тех, кто более меня предан телесности. Эти посещения были приятны, но не оставляли в душе никакого следа. После отъезда Джонатана я жил один, внутри самого себя. Возможно, именно благодаря отсутствию желания я и смог вести ту жизнь, которую вел в Кливленде, словно и не нуждаясь ни в каких других впечатлениях, кроме тех, что давали мне первые хлопья ноябрьского снега и шипенье иглы, опущенной на винил.

— Мы были детьми, Джон, — сказал я. — Это было сто лет назад.

— Я понимаю. Скажи, а ты… ты с кем-нибудь встречался в эти годы?

— На самом деле нет, — ответил я. — Честно говоря, я просто работал и слушал пластинки. Странно, да? В моем возрасте…

---

[25] Примечания: 25
«Грустный бэби» *(англ.).*

— Ну, бывают вещи и постраннее.

На этом разговор и закончился. Какое-то время мы лежали в молчании, нарушаемом лишь отдаленными криками и автомобильными гудками. Последнее, что я слышал перед тем, как уснуть, был смех, смех огромной толпы, проходящей под окнами, гигантский церковный хор смехачей.

Клэр

Размеренная жизнь респектабельной женщины и шокирующая жизнь авантюристки. Я мечтала о том и о другом. Помните, у Ван Гога: кипарисы и церковные шпили на фоне склубившихся змей. Я была дочерью своего отца. Мне требовалась любовь кого-нибудь вроде моей строгой здравомыслящей матери и в то же время хотелось, вопя во все горло, бежать, лавируя между машинами, с бутылкой в руке. Это было проклятье нашего рода. Мы пытались сохранить целым и невредимым стадо строптивых желаний, рискуя, разумеется, остаться ни с чем. Что и случилось. Достаточно поглядеть сегодня на моего отца и мою мать.

Замуж я вышла, когда мне едва исполнилось двадцать. После развода я влюбилась в женщи-

ну. И в том и в другом случае мне казалось, что я примирила наконец свои противоречивые порывы и одержала долгожданную победу над мучительной неспособностью сделать выбор. Сегодня, когда мне уже под сорок, я меньше, чем раньше, знаю, чего хочу. Но теперь вместо спокойной веры в будущее я испытываю нервную растерянность, тикающую во мне, как часы. Я никогда не думала зайти так далеко в своей неприкаянности.

Я не пыталась переспать с Бобби — слишком уж он был похож на персонажа из мультика, не вполне оправившегося от очередного несчастного случая. Так и видишь, как он со слегка деформированной головой сидит на мостовой, а из глаз у него сыплются искры. Казалось, что он чуть-чуть косит. И в то же время в нем было что-то трогательное. Может быть, потому, что чувствовалось — стоит оставить его без присмотра, и он снова попадет в беду: беспечно улыбаясь, свалится в открытый люк; или на него рухнет рояль и он выползет из-под него с клавишами вместо зубов. Я с неудовольствием отмечала, что с годами становлюсь чересчур сентиментальной. Мне была противна эта постепенно проявляющаяся во мне слабость к неприспособленным мужчи-

нам, требующим постоянной опеки; я начинала повторять мать, заботившуюся о моем отце, пока у нее окончательно не лопнуло терпение.

Хотя я и сохраняла дистанцию, я не могла не отметить, что в Бобби есть своеобразное обаяние потерявшегося лохматого пони. У него были большие квадратные ладони и лицо, плоское и честное, как лопата. Если бы не глаза, невозможно было бы и помыслить о том, чтобы потревожить его сомнамбулическую невинность. Но глаза! Представьте себе аккуратный загородный домик с гипсовым гномом на лужайке и петуниями на подоконнике. Теперь представьте, что некто древний и безумно печальный смотрит на вас из верхнего окна. Вот лицо Бобби. Удивительное лицо.

Но я лишь замечала его, не более, отмахиваясь от привязавшегося ко мне в последнее время несильного, хотя и раздражающе-неотвязного желания, как от докучливой мухи.

Может быть, виной всему были деньги. Дело в том, что семья моей матери была довольно богата. Не благодаря наследству, как это бывает у аристократов Старого Света, просто отец моей матери невероятно преуспел в ювелирном деле. У него был третий по величине дом в Про-

виденсе. Он сменил фамилию Штейн на Стоун и отправил мать в Уэлсли. Обычная история! Бриллиантовый король обеспечивает респектабельное существование своим потомкам. Он оплатил учебу моей матери в «Севен систерс» и положил деньги на мой счет еще до моего рождения. По его мнению, регулярный денежный душ не мог не превратить его праправнуков в самых настоящих аристократов, исполненных чувства собственной значимости. Мне было десять лет, когда он умер. Но я хорошо представляю себе, какое именно будущее он имел в виду. На лужайке перед его домом, запрокинув рога, стоял олень из литого железа. Огромные рыбины, сверкая позолоченной чешуей, извергали струи воды в чаши фонтанов.

Однако его стройному плану не суждено было осуществиться. Мать ли не обращала внимания на юношей или они на нее, но так или иначе вечеринки в Уэлсли не принесли желаемого результата. У матери были властные черты лица и скрытные повадки дочери ювелира. Она не флиртовала. В ней бушевали оперные страсти, во всяком случае так ей казалось, и она не собиралась растрачивать их впустую. В прошлом веке у нее была бы репутация добропорядочной девуш-

ки. В Уэлсли в 40-х годах нашего — она не могла прослыть никем, кроме как синим чулком.

Проведя четыре года в колледже в состоянии раздраженного транса, она вышла замуж за моего будущего отца, занимавшегося «коммерцией». Экстравагантности в нем было на двоих! Он был ее первым и единственным приключением. Ей хватило.

Я не уверена, что он женился на ней исключительно по расчету. Не думаю, чтобы все обстояло так просто. Отец был прирожденным совратителем, практически никогда не встречавшим серьезного сопротивления. Возможно, в нем проснулся охотничий азарт: мать была противницей светских улыбок и вообще никогда не «делала вида». Она была принята во все юридические школы, куда подала документы. Отец был обаятельным ловеласом. Возможно, он решил, что она поняла его лучше, чем все остальные, и теперь своей неулыбчивой критикой возродит к другой, более правильной жизни. А может быть, он сам надеялся переделать жену.

Когда я была моложе, все мои любовники были энергичные люди с четкой жизненной позицией. Мой муж Дэнни танцевал по шесть часов в день и при этом все равно считал себя дилетантом.

Моя любовница Элен имела свое особое мнение по любому вопросу — от эмансипации женщин до приготовления шпината. А я не могла решить, стоит или не стоит носить шляпку. Между двадцатью и тридцатью я подозревала, что если каким-то образом лишить меня моей внешности, привычек и полудюжины «принципов», то там, где должна быть собственно я, основа моей личности, окажется пустое место. Это была моя самая страшная тайна. Я предлагала своим любовникам сговорчивость и энтузиазм — то есть все, чем располагала. Внимательность и нежность определяли тактику моего поведения с людьми, которые рано или поздно дрожащими от обиды голосами обвиняли меня в проступках, которых я и не думала совершать. Мужчины, грозившие покончить с собой в случае моей измены, запросто могли отвесить мне оплеуху только за то, что я купила пиво не того сорта. После развода я переходила от любовника к любовнику, всякий раз думая, что не повторю прежних ошибок. Мой новый избранник будет обладать чувством юмора и не будет наркоманом. Это будет женщина, или чернокожий, или компьютерный магнат, влюбленный в свои процессоры и программы.

Когда мне перевалило за тридцать, я вообще

перестала влюбляться. Я стала жить как ребенок. Просто час за часом, между тем как другие женщины моих лет ходили на школьные спектакли и сольные концерты своих детей. Плыть по течению оказалось совсем нетрудно. У меня было маленькое дурацкое дело и большие деньги в банке, которые станут моими, когда мне исполнится сорок. Мне было с кем выпить кофе, было куда пойти вечером. Кино, клубы — все это было интересно и довольно приятно. Но вот — это произошло как-то вдруг — продавщицы стали обращаться ко мне «мэм». А молодые люди уже не оглядывались на меня с прежним автоматизмом. Их радары меня больше не засекали. Мне отчасти даже нравилось то, как я старею. Во всяком случае, это была жизнь, которую я сама для себя выбрала. Я не сделалась холодной карьеристкой, проживающей с двумя кошками в собственном городском особняке, обклеенном древними картами. Не превратилась в алкоголичку, дрейфующую от выпивки к блево-терапии и обратно. Мне было чем гордиться. Но все же в глубине души я рассчитывала на большее. Я думала, что, дожив до своих лет, я все-таки смогу внятно ответить на вопрос, чем я, собственно говоря, занимаюсь в этой жизни.

Бобби

Вышло так, что моя новая жизнь оказалась связанной с городом, у которого был свой особый ритм, заметно отличавшийся от неторопливого вращения нашей зелено-голубой планеты. Нью-Йорк не был проникнут унылой безнадежностью, задававшей тон в других местах. Тут машины мчались на красный свет. А пешеходы, ругаясь, шагали им наперерез.

Я нашел работу далеко не сразу. Может, потому что не очень старался. Джонатан почти каждый день уходил в редакцию, где нередко засиживался до полуночи. Популярность газеты он сравнивал с вулканом, извергавшимся с такой частотой, что деревне никак не удавалось отстроиться. Наборщик делает корректорскую правку, секретарша подклеивает какие-то материалы, одновременно разговаривая сразу по нескольким телефонам, в белой приемной нервно поглядывают на часы рекламные агенты — такая картина была не редкость. Кроме своей еженедельной колонки, Джонатан отвечал также за развлекательные полосы и под псевдонимом писал рецензии на кинофильмы, которых не успевал посмотреть.

Бывали дни, когда он на ходу выпивал две чашки кофе и убегал, чтобы вернуться только к полуночи. Клэр предпочитала вести более размеренный образ жизни. Она относилась к тем людям, у которых явно больше денег, чем должно бы быть, учитывая, как и сколько они работают. Но мне не хотелось ее ни о чем расспрашивать. Ее общество меня только радовало.

Я всегда вставал одновременно с Джонатаном. Пока он принимал душ, я варил кофе. В то время как он облачался в какой-нибудь очередной черный наряд, мы болтали и слушали музыку. Перед уходом он целовал в щеку меня и Клэр, если она тоже вставала. «Пока, родные», — бросал он и сбегал по лестнице, на ходу дожевывая булку.

Когда он уходил, темп замедлялся. Утро вступало в более ленивую фазу. Просматривая объявления о работе, мы с Клэр выпивали вторую, а потом и третью чашку кофе. Иногда она перекрашивала ногти. Иногда мы смотрели «Правильную цену» по телевизору.

Без четверти одиннадцать она уходила на работу. Я прибирался в квартире и отправлялся за продуктами. Каждый день я заходил в музыкальный магазин. Нет, я не покупал новых записей. Просто стоял и слушал музыку, которую крутили

как фон. Я смотрел, как другие пытаются решить, что может захотеться послушать таким, как они.

Клэр возвращалась домой около семи. Я всегда ждал ее с готовым обедом. Джонатан каждый день обедал в городе, чтобы было о чем написать в кулинарной колонке. По словам Клэр, раньше она тоже всюду с ним ходила. Однако ей сильно надоело питаться одним и тем же всю неделю, и она заявила, что с радостью сделает перерыв. Иногда после обеда она уходила куда-нибудь со своими друзьями, а иногда оставалась со мной. Мы слушали музыку и смотрели телевизор. Она призналась, что теперь ей легче заставить себя пойти на работу, чем развлекаться. В те дни, что она оставалась дома, мы ели попкорн и пили кока-колу. Иногда она опять перекрашивала ногти — второй раз за день. А однажды июньским вечером она принялась переделывать меня.

Начала она со стрижки. Джонатан трудился в редакции, а мы с Клэр пошли в кино на «Все о Еве». Она не могла поверить, что я даже не слышал об этом фильме. «Все о Еве» оказался старой черно-белой комедией. Во время просмотра по нашим ногам пробежала мышь, легкая, как перышко, и внезапная, как дурной импульс.

Потом мы вернулись домой и уселись в гости-

ной. Я хотел поставить кассету Вана Моррисона, а она вдруг спросила:

— А ты когда-нибудь слышал Стива Райха?

Я признался, что нет. Я ведь жил за границей музыкального мира.

— Я хочу, чтоб ты его послушал, — сказала она.

Музыка Стива Райха оказалась голым ритмом с небольшими вариациями. Это был тот тип электронной музыки, которая существует как бы помимо инструментов, словно непосредственно соткавшись из морозных интерлюдий сухого вибрирующего воздуха. Стив Райх напоминал неунывающего заику, которому никак не удается выговорить первое слово. Чтобы попасть с ним в резонанс, требовалась определенная внутренняя работа, но, проделав ее, вы открывали для себя прекрасную элементарность его композиций — их несуетливую тождественность самим себе. Мне вспомнилось архаическое обаяние моих кливлендских будней, ничем не отличавшихся друг от друга.

Клэр не мешала мне слушать. К тому времени она знала меня уже достаточно хорошо и не пыталась обсуждать посторонние вещи, понимая, что это было бы так же неуместно, как и на просмотре «Все о Еве».

— Да-а… — сказал я, когда мы дослушали кассету до конца.

— Я знала, что тебе понравится.

— Очень. Он потрясающий. Он просто, ну, как тебе сказать…

Я попробовал изобразить форму музыки руками. Не уверен, что она меня поняла.

Она покачала головой.

— Бобби!

— Что?

— Нет, ничего. Ты на самом деле фанат?

Я пожал плечами. Я не знал, что означает это слово в ее устах и соответственно соглашаться мне или протестовать. Я начал разглядывать узор на ковре между своими тапочками.

— Знаешь, что я думаю? — сказала она. — Только можно совсем откровенно?

— Угу, — испуганно сказал я.

— Я думаю, что тебе нужна новая стрижка, вот что.

Значит, речь не о моих внутренних недостатках, а о чем-то совсем внешнем.

— Серьезно? — сказал я.

— Это вопрос соответствия формы и содержания. Честно говоря, мне кажется, что ты не вполне похож на самого себя. А знаешь, если казаться не

тем, кто ты есть на самом деле, можно получить не ту работу, не тех друзей, бог знает что еще. Не свою жизнь.

Я снова пожал плечами и улыбнулся.

— У меня нет ощущения, что я живу чужую жизнь, — ответил я.

— Но ведь твоя жизнь только начинается. Ты же не собираешься вечно готовить и убираться в этой квартире?

— Не собираюсь, — сказал я, хотя на самом деле внутренне склонялся уже именно к этому.

— Так вот, поверь, что эта стрижка а-ля Би Джиз только сбивает окружающих с толку. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Ага. Ладно. Я завтра схожу в эту, ну, как ее, ну, где стригут.

У меня поползли мурашки по коже. Неужели, чтобы вписаться в нью-йоркскую обстановку, мне придется выкрасить волосы в клоунский цвет? Если я это сделаю, то никогда уже не смогу вернуться в Кливленд или приехать в Аризону к Неду и Элис. Все мосты будут сожжены.

— Я сама могу тебя постричь, — предложила она. — Причем бесплатно.

— Правда?

По ее смеху я понял, что в этом односложном

вопросе прозвучали все мои сомнения.

— Представь, я даже ходила когда-то на парикмахерские курсы, — успокоила она меня. — У меня и ножницы остались с той поры. Так что, если хочешь, могу сделать тебе новую прическу прямо сейчас. Ну что?

И я согласился. В конце концов, это всего лишь волосы. В крайнем случае можно будет снова их отрастить и, вернувшись к своему нынешнему облику, опять устроиться на мою кливлендскую работу; ничего необратимого не произойдет.

— Хорошо, — сказал я. — Я согласен.

Она потребовала, чтобы я снял рубашку. Первая неловкость. Я был, мягко говоря, не в лучшей спортивной форме. Я выглядел как типичный работник пекарни. Но Клэр уже вошла в роль решительной парикмахерши и не позволяла своему вниманию опускаться ниже моих ключиц. Твердым профессиональным голосом она приказала мне намочить волосы под кухонным краном. Затем, накинув мне на плечи полотенце, усадила меня на стул посреди гостиной.

— Обычно, — сказал я, — мне просто немного подравнивали с боков.

— Ну, я собираюсь проделать более кардинальную операцию, — заявила она. — Ты мне

доверяешь?

— Нет, — ответил я, прежде чем успел сработать рефлекс учтивого вранья.

— Действительно, — рассмеялась она, — с какой, собственно, стати? Но все равно расслабься, пожалуйста. Мамочка тебя не обидит.

— Ладно, — сказал я.

В конце концов, уговаривал я себя, внешность — это не самое главное. Когда она начала лязгать ножницами, я напомнил себе, что жизнь в принципе состоит из неподконтрольных нам перемен. Мы не можем и не должны все время вмешиваться. Ножницы стрекотали над самым ухом. На пол летели мокрые пряди волос, на удивление безжизненные и словно не имеющие ко мне никакого отношения.

— Ладно, ты стриги, — сказал я, — ну, в смысле, я уже в самом конце посмотрю.

— Прекрасно, — отозвалась она.

Потом прервалась на минутку и поставила Вана Моррисона, видимо, в качестве моральной поддержки.

Она стригла меня почти сорок пять минут. Я ощущал исходящее от нее тепло, ее легкий жасминовый аромат, быстрые прикосновения ее умелых пальцев, ее дыхание. На самом деле я

охотно согласился бы на то, чтобы она кружилась вокруг меня всю ночь, лишь бы не видеть своей трансформированной головы, а просто сидеть вот так, без рубашки, посреди растущей кучи срезанных волос, чувствуя на себе ее потрескивающее душистое внимание.

Но вот все кончилось. Глубоко вздохнув и последний раз щелкнув ножницами у моего виска, она сказала:

— Вуаля! Теперь можешь пойти в ванную и посмотреть, что получилось.

Я, конечно, мог бы и сам найти дорогу, но пошел только тогда, когда она повела меня за руку. Мне хотелось продлить это состояние пассивного сотрудничества и неопределенности в отношении прически и моего будущего. Она привела меня в ванную и поставила перед зеркалом.

— Раз, два, три! — сказала она и включила верхний свет. Я невольно моргнул и уставился на свое отражение.

Она сделала мне ежик: очень коротко с боков, так что кожа просвечивала, и топорщащаяся щеточка на макушке. Глядя в зеркало на свою измененную внешность, я, может быть, в первый раз в жизни увидел себя со стороны. У меня были маленькие немного оттопыренные уши,

узкие пронзительные глаза и крупный нос с раздваивающимся кончиком, словно первоначально природа задумывала два носа поменьше. Я всегда воспринимал свои черты как неизбежные, но только теперь увидел, насколько они особенные. Глядя на свою физиономию на фоне залитых ярким светом белых кафельных плиток, я почувствовал себя вызванным на опознание родственником жертвы несчастного случая. Наверное, похожие чувства любопытства и ужаса испытывают души, взирая на опустевшие тела, если, конечно, они и вправду вылетают из нас после остановки системы.

— Да-а! — выдохнул я.

— Ты выглядишь великолепно, — уверенно заявила Клэр. — Просто надо немного привыкнуть. Поначалу всегда шок. Но поверь, теперь на тебя все будут заглядываться.

Я продолжал изучать себя в зеркале. Если я такой, то действительно непонятно, как жить дальше. Клэр с тем же успехом могла подвести меня к телефонной будке и попросить позвонить на Марс.

Она сказала, что мы обязательно должны дождаться Джонатана и продемонстрировать ему мою преображенную голову. Мне не очень-то

хотелось демонстрироваться Джонатану — в этом было что-то не то, как-то чересчур выпячивалось мое суетное желание выглядеть по-новому. Но спорить я не стал. Я уже говорил, что Клэр действовала на меня как музыка. Она проникала в мое подсознание. Я не только делал все, что она требовала, но, как я заметил, уже почти не различал, где кончались мои желания и начинались ее.

Ожидая Джонатана, мы по сложившейся традиции ели попкорн, запивая его кока-колой. Мы опять поставили Стива Райха, а потом посмотрели по телевизору «Мэри Тайлер Мур». Я обнаружил, что новая стрижка никак не повлияла ни на мою манеру двигаться по комнате, ни на мою привычку погружаться в невнятные мечтания. С одной стороны, это меня успокоило, с другой — огорчило.

Джонатан вернулся домой в начале второго. Когда мы услышали, как он отпирает дверь, Клэр приказала мне спрятаться в кухне.

— Я останусь здесь, — прошептала она, — и задержу его. А ты просто выйди через несколько минут как ни в чем не бывало.

Меня все эти игры не вдохновляли. Как я уже говорил, мне совсем не хотелось выставлять

напоказ свой тщеславный интерес к собственной внешности. Но возражать Клэр я не мог. Для этого она была слишком большой и яркой. Передо мной промелькнуло смутное воспоминание о детском празднике, на котором красноносый старик в салатовом парике вынимал монетки у меня из ушей, а потом вытянул бумажный букетик из-за ворота моей рубашки. Я вспомнил, что чувствовал себя униженно и очень глупо, но изобразил радостное изумление.

Как бы то ни было, я ушел в темную кухню. Я слышал, как с характерным поросячьим взвизгом петель открылась входная дверь, как Джонатан и Клэр обменялись обычными репликами:

— Привет, милый.

— Привет, родная.

— Как дела?

— Чудовищно. Как обычно.

Настоящие муж и жена! Идеальная пара! Действительно, ребенок представлялся вполне логичным следствием их отношений.

Я стоял и слушал. В окно клубясь вплывал зыбкий дымчатый свет. На подоконнике дрожали тени горшков с лечебными травами. Клэр наклеила на каждый отдельную бумажку и своим мелким колючим почерком написала названия:

чабрец, звездчатый анис, крапива.

Я услышал, как Джонатан спросил:

— А где Бобби?

— Где-то тут, — ответила Клэр.

Это был условный сигнал. Мне пора было выйти с подчеркнуто непрошибаемым выражением лица, но я не сдвинулся с места. Меня загипнотизировала эта ватная полутьма, это гудение холодильника, эти горшки с травами от головной боли, бессонницы и невезенья. Я почувствовал себя трупом, замурованным в кирпичной стене и оттуда подслушивающим будничные разговоры живущих. Я подумал тогда, что и сама смерть тоже, возможно, является формой тайного участия в продолжающейся истории мира, неким непрекращающимся отсутствием в то время, как ваши друзья, сидя посреди все тех же светильников и мебели, продолжают обсуждать того, кем вы уже не являетесь. Впервые за многие годы я ощутил присутствие моего брата. Я не мог ошибиться: некая часть его существа, сохранившаяся после того, как его голос и плоть и все плотское в нем исчезли, находилась тут, на этой кухне. Я почувствовал это так же ясно, как тем холодным белым вечером на кладбище, когда блистательное будущее призывно светилось на горизонте за мо-

гильными плитами. Карлтон здесь, сказал я себе, и я знал, что это правда. Я выработал привычку не вспоминать о нем и после смерти отца воображал, что родился в доме Неда и Элис. Сейчас я думал обо всех них, похороненных в Кливленде. Наверное, теперь на их могилах цветут дикие маргаритки и опушаются одуванчики. Моя губная гармошка, которую я на похоронах сунул в нагрудный карман Карлтона, провалившись сквозь ребра, по-видимому, лежит на дне гроба. Я жил свою жизнь и оборвавшуюся жизнь брата. Я был его представителем здесь в том же самом смысле, в каком он представлял меня там, в том неведомом мире. Может быть, он вышел из жизни в смерть так же, как я из гостиной — в кухню, в это мягкое ничейное пространство и гудящий, клубящийся полумрак. Я вдохнул темный воздух. Может быть, сейчас, когда я живой переживаю что-то вроде опыта смерти, он посреди смерти переживает опыт жизни. За окном на веревке сушилось чье-то белье. Пустые рукава рубашки болтались под ветром. Мы оба видели это — я и мой брат, моя жизнь была нашей жизнью и нашим общим сияющим будущим. Я мог питать его в том, другом мире, будучи сразу собой и им — в этом. Я продолжал стоять в кухне, между тем

как Клэр бросала мне одну реплику за другой, прозрачно намекая, что мне пора выходить. Но я продолжал смотреть на белую рубашку, плавно покачивающуюся над тротуаром на высоте шестого этажа.

В конце концов она сама пришла за мной. Она спросила, все ли в порядке, и я ответил, что все отлично. Я сказал ей, что прекрасно себя чувствую. Так в чем же дело? Вместо ответа я сделал беспомощный жест в сторону висящей за окном одежды. Она издала клокочущий звук, решив, что я просто не могу справиться со смущением, и за руку вывела меня в гостиную.

Увидев меня, Джонатан вскрикнул. Он сказал, что во мне появилось что-то пугающее.

— Бобби эпохи восьмидесятых, — гордо объявила Клэр, и я в общем-то был с ней согласен. Хотя Джонатан ужасно устал, мы повели мою стриженую голову на прогулку в Виллидж. Мы выпили в ресторанчике для голубых на Сент-Марк и немного потанцевали все вместе. Я как будто разбил стекло и прорвался наконец на вечеринку после многолетнего пребывания на кладбище.

Когда уже не осталось сил танцевать, я настоял, чтобы мы пошли на Гудзон смотреть на неоновую каплю, ползающую по гигантской неоновой

чашке. Потом Клэр с Джонатаном поймали такси и уехали домой, а я остался. Я обошел весь Нью-Йорк: дошел до Баттерипарк, откуда уже была видна статуя Свободы, воздевшая над гаванью свой маленький факел, а потом до Плац, где в ожидании подвыпивших чудаков и романтиков стояли лошади, запряженные в экипажи. Когда я догулял до перекрестка Пятой авеню и Двадцатых улиц, уже начало светать. Мимо меня прокатил фургон с хлебом. Шофер, отчаянно фальшивя, во все горло распевал «Crazy»[26] Пэтси Кляйн, и я начал ему подпевать на полквартала. Уверен, что причиной всему была стрижка, взорвавшая обыденный порядок вещей и продемонстрировавшая мне возможности, таившиеся еще в том пейзаже на обоях. Раньше, чтобы почувствовать примерно то же самое, мы употребляли наркотики.

Дальнейшие перемены были уже просто делом времени. Брак с повседневностью был расторгнут. Переделывать меня стало для Клэр любимым занятием. Она водила меня покупать одежду в комиссионки на Первой авеню, где знала всех продавщиц и половину покупателей. В магазине она обретала зоркость орлицы, охотящейся на

---

[26] Примечания: 26
«Сумасшедший» *(англ.)*.

форель. Она могла спикировать на картонный ящик, набитый замызганными тряпками из синтетики, на которые и на новые-то невозможно смотреть без грусти, и вытянуть из-под них шелковую рубашку в ярких желтых рыбах. Она любила яркость, но безошибочно отвергала безвкусицу. Можно было подумать, что вещи, которые она хочет купить, излучают некое особое свечение, отчетливо видимое ей, но незаметное для других покупателей. Я всегда соглашался с ее выбором и уже через две недели был обладателем недорогого гардероба поношенной одежды. У меня появились мешковатые штаны по моде сороковых годов и свободные просторные рубашки из вискозы цвета табака и замазки. У меня были теперь старые черные джинсы, кожаная мотоциклетная куртка и черный спортивный пиджак с квадратными плечами, небрежно прошитый рыжими нитками. У меня даже обувь была из комиссионок: коричневые туфли с носками, сделанными из чего-то вроде ломкой москитной сетки; черные армейские ботинки и пара черных кроссовок, слегка заляпанных краской.

Еще у меня появилась сережка. Клэр отвела меня в ювелирную лавку на Восьмой улице, и не успел я и глазом моргнуть, как хозяин-араб

продырявил мочку моего левого уха из гидравлического пистолета. Это было не больнее, чем комариный укус. Клэр пообещала, что сама сделает мне гениальную сережку. Араб широко улыбнулся, продемонстрировав зубы, настолько ровные, что можно было подумать, будто они вырезаны из цельного куска дерева.

Я сам поражался себе всякий раз, когда наталкивался на свое отражение в витринах. Таким мог бы быть мой хулиганистый брат-близнец, приехавший из какого-нибудь Богом забытого городка портить нервы законопослушным гражданам. Тот, кто отражался в стеклах магазинов, не мог написать «С днем рождения» на десяти тысячах пирожных, не мог многие годы спокойненько жить в комнате на втором этаже с видом на соседский спортивный комплекс.

Клэр познакомила меня со своими друзьями: циничным шляпным модельером Ошикой, нервным художником Ронни, изъяснявшимся исключительно целыми абзацами, неким Стивеном Купером, рассуждавшим о том, что ему пора завязывать со сбытом марихуаны и открыть ювелирный магазин в Провинстауне, чтобы можно было уделять больше времени развитию своих мистических способностей. Это

были люди-фильмы — я смотрел на них с тем же легким чувством отстраненности, с каким следишь за происходящим на экране из пятого ряда. Им нравилось быть ожившими персонажами собственных пьес, нравилось чувствовать себя самодостаточными. Так мы и общались. Я стоял или сидел в своей новой одежде, глядя на окружающее как бы со стороны. Я приобрел репутацию (если в моем случае вообще уместно говорить о какой бы то ни было репутации) загадочного и непоколебимо спокойного человека. Я понял, что ньюйоркцы — по крайней мере, те, с которыми дружила Клэр, — ценили в других умение помалкивать. Их жизнь и без того была слишком шумной. В глазах приятелей Клэр моя немногословность свидетельствовала о неком внутреннем знании, хотя на самом деле я обычно просто глядел на них и ни о чем не думал. Иногда я их о чем-нибудь спрашивал или отвечал на какой-нибудь их вопрос. Я носил сережку, которую смастерила для меня Клэр, — проволочное кольцо с серебряной бусиной каплевидной формы, соединявшееся с кружочком ржавого металла, внутри которого помещалась лошадка с серебряными крылышками. Время от времени Клэр нервно спрашивала меня, все ли в порядке,

и я, не кривя душой, неизменно отвечал «да». В этих шумных клубах без вывесок в подвалах или на чердаках, белых и пустынных, как Гималаи, я и вправду был совершенно счастлив. Я много лет провел на кладбище, а теперь, тихий, как привидение, сидел на вечеринке. Вот между танцующими проплывает красивая девушка с кожей цвета снятого молока и толстой крапчатой змеей вокруг талии. Вот двое угрюмых юношей в клетчатых школьных платьицах держатся за руки, словно охраняя вход в свой непредсказуемо-запутанный мир от посягательств, опасность которых существует лишь в их воображении.

Но больше всего мне нравились те вечера, когда Джонатан приходил домой сравнительно рано и мы отправлялись куда-нибудь вместе с ним. Иногда вдвоем — только он и я; иногда Клэр тоже составляла нам компанию. Как правило, мы шли в кино, потом в один из наших любимых баров. Большинство друзей Клэр стремились уподобить свою жизнь некому сказочному вихрю. Они были всегда в движении, в непрерывном поиске единственно верного места в пространстве, вечеринки внутри вечеринки. Я их понимал. Но мы с Джонатаном и Клэр отдавали предпочтение более спокойным барам, как бы отяжелевшим под

бременем ежедневных забот. Таких в Виллидже было тогда сколько угодно, да и сейчас тоже. Их отличительные черты — тусклость и обшарпанность. Основной интерьерный цвет напоминает темное пиво. Там стоят автоматы с картофельными чипсами и арахисом. Завсегдатаи — тихие безобидные пьяницы, все отъявленные пессимисты — сидят за стойкой на высоких крутящихся стульях, как куры на насесте. Мы всегда занимали отдельную кабинку подальше от входа.

Мы начали называть себя Хендерсонами. Не помню, кто первый это придумал — Клэр или Джонатан, — но кличка прижилась. Хендерсоны представляли собой семью скромных обывателей с незатейливыми вкусами и без особых претензий. Им нравилось ходить в кино и смотреть телевизор, они любили пропустить пару кружечек пива в небольшом дешевом баре. Наши совместные выходы мы называли «вечер с Хендерсонами». Клэр была Мамой, я — Малышом, Джонатан — Дядей Джонни. Со временем легенда обросла подробностями. Мама была боссом-воспитателем. Она требовала, чтобы мы следили за своими манерами, не сутулились, укоризненно цокала языком, если кто-то из нас позволял себе грубое слово. Малыш был добродушным

дубоватым парнем бойскаутского типа, которого можно было подбить на что угодно. Дядя Джонни — воплощением дурного начала. За ним нужен был глаз да глаз.

— Малыш, — говорила Клэр, — отодвинься от Дяди Джонни. И в туалет ты вполне можешь сходить без него. Не маленький, сам справишься.

Мы не всегда изображали Хендерсонов. Это была легенда, к которой мы обращались только время от времени, когда теряли интерес к нашей подлинной, более запутанной истории. Уходя утром на работу, Джонатан мог заявить, на пример, что-нибудь вроде:

— Сегодня я по идее освобождаюсь не поздно. Не будет ли Хендерсонам угодно сходить на Фасбиндера?

Мы с Клэр почти всегда соглашались — наши рабочие графики никогда не бывали слишком напряженными. Выбирая между «вечером с Хендерсонами» и другими развлечениями, мы почти всегда останавливались на «Хендерсонах». Иногда Клэр надевала маску Мамы, даже когда мы с ней были одни. Она начинала говорить несколько пронзительней обычного, со смутно угадываемым британским акцентом. Но без «отрицательного» Дяди Джонни все было уже не то,

как-то слишком пресно: начальственная мама и послушный ребенок. Нам требовались все три угла треугольника: покладистость, порочность и добродетельность.

Я устроился на работу, немудрящую работу в маленьком кафе в Сохо. Я говорил другим, а иногда и самому себе, что хочу пройти все ступени служебной лестницы, чтобы лучше разобраться в ресторанном деле и впоследствии снова открыть собственное заведение. Но положа руку на сердце, я не слишком в это верил. Я мог лишь изредка помечтать об этом, представляя отдельные сцены из своей будущей жизни: вот я, хмурясь, проверяю поднос с десертом перед тем, как официант понесет его из кухни в зал, или провожу рукой по красноватой и гладкой, как бок племенной кобылы, стойке бара. Это были сладкие видения, по телу от них разливалось приятное тепло, но стоило мне расслабиться, как я снова соскальзывал к моему нынешнему бытию в Нью-Йорке с Джонатаном и Клэр, к моей сегодняшней каждодневной работе. На самом деле я не имел ничего против того, чтобы и дальше резать грибы и кромсать груер на сальной кухне в компании посудомойки из Мексики. Но мне было стыдно в этом сознаться.

Однажды душным августовским вечером я принял душ и не одеваясь направился в комнату Джонатана, думая, что кроме меня в квартире никого нет. Клэр показывала город какой-то своей старой подружке, приехавшей ненадолго погостить, а Джонатан должен был находиться в редакции. Небо казалось густым и черным, как дым, а от ночевавших на тротуаре бродяг оставались вытравленные потом отпечатки. Весь усыпанный водяными каплями, я вошел в комнату, мурлыча себе под нос «Respect»,[27] и неожиданно обнаружил Джонатана, который, сидя на полу, стаскивал кроссовки.

— Здорово, — сказал он.

— О! А я думал, ты типа работаешь.

— У нас вентиляция сломалась, и мы тоже. Может, газета вообще не выйдет на этой неделе. В конце концов, даже в журналистике есть какие-то пределы.

— Ясно.

Я сконфуженно стоял у двери, не зная, куда деть руки. Мы обычно не разгуливали голыми по квартире. Это было не принято. Я чувствовал, как нагревается воздух вокруг меня. Джонатан

---

[27] Примечания: 27
«Уважение» *(англ.).*

разглядывал меня с дружелюбным интересом, между тем как я думал только о том, чтобы успокоиться в плотском смысле. В ту пору, когда мы были юными любовниками, не столько страстными, сколько смущенными, я, пожалуй, даже гордился своим телом. У меня была широкая, сильная грудь. Кожа на животе рельефно облегала три ряда мускулов. Теперь во мне было около семи килограммов лишнего веса. Я являл собой преждевременную версию фигуры отца — бочонкообразный торс на тонких ногах. От моей волосатой девственной плоти шел пар.

— Ты был в душе?

— Ага.

— Сейчас это просто спасение.

Он снял носки и стянул через голову черную футболку. Потом уронил на пол черные шорты, рассказывая, как какой-то сотрудник газеты заявил, что больше он этого не вынесет, и ушел после того, как роза на столе секретарши склонила головку и рассыпала по столешнице все свои лепестки. «Как канарейка в шахте», по выражению Джонатана. Он снял с себя все. Я не видел его обнаженным с тех пор, как нам было по шестнадцать лет, но его тело ничуть не изменилось. Стройное, почти без волос и видимых мускулов

— тело мальчика. В отличие от приверженцев спортивного образа жизни он не нарастил жира, не накачал героические бицепсы и трицепсы. Но кожа у него была свежая и упругая, как поднявшееся хлебное тесто. Невинно торчали розовые соски. Новым был только недоверчивого вида маленький красный дракончик с телом змеи, вытатуированный на плече.

Он улыбнулся. Было заметно, что он тоже немного сконфужен, но страха не чувствовалось. Я вспомнил Карлтона, его мальчишеское обнаженное тело на кладбище под твердым ослепительно-синим небом.

— Я открою только холодный кран, — сказал он, — и все равно вода будет тепловатой, точно, да?

— Да, — сказал я. — Точно.

Голый, он прошел через холл в ванную. Я пошел за ним. Я мог бы остаться в комнате и одеться, но не сделал этого. Я уселся на крышку унитаза, и мы продолжали болтать, пока он принимал душ.

Потом мы вместе вернулись в гостиную. Первый шок прошел. То, что мы оба были голыми, уже не выглядело так по-дурацки. Наша кожа сама уже стала чем-то вроде одежды.

— Недостаток этой квартиры в том, что тут

нельзя устроить сквозняк, — сказал он. — Как ты думаешь, наверное, на крыше попрохладнее?

Я неуверенно кивнул. Тогда он попросил меня подождать, побежал в ванную и вернулся с двумя полотенцами в руках.

— Держи, — сказал он, бросая мне одно. — На тот случай, если мы кого-нибудь встретим.

— Мы что, полезем на крышу вот так, в одном полотенце?

— Люди еще и не то делают, причем в менее экстремальных ситуациях. Пошли.

Он вытащил из холодильника поднос со льдом. Мы сделали из полотенец набедренные повязки и босиком вышли на лестничную площадку. Из-за закрытых дверей соседских квартир доносилось гудение электрических вентиляторов, откуда-то снизу долетала еле слышная музыка. В остальном на лестнице было тихо.

— Шш, — сказал он и на цыпочках с наигранной осторожностью начал подниматься по ступенькам к пожарному люку, держа перед собой голубой пластиковый поднос, с которого падали капли талого льда. Я шел следом.

Крыша была черной и совершенно пустой, гудроновый остров посреди электрического мельтешения большого города. Дул горячий

ветер. Запах мусора на такой высоте казался сладковатым.

— Все-таки лучше, чем ничего, — сказал Джонатан. — Хоть какое-то движение воздуха.

Это было похоже на сон — стоять голым на крыше в центре ночного Нью-Йорка. Мои нервы были напряжены, я испытывал легкий блаженный страх.

— Здесь здорово — сказал я. — В смысле, красиво.

— Угу.

Он снял полотенце и расстелил его на гудроне. В темноте его кожа казалась льдисто-серой.

— Тебя могут увидеть, — сказал я.

Неподалеку, сверкая, как маленький город в городе, торчал огромный высотный дом.

— Если лечь, не увидят, — сказал он. — Здесь темно. Ну а если и увидят, тоже невелика беда!

Он лег на полотенце, как на пляже. Я тоже снял с себя полотенце и расстелил его рядом. Я чувствовал прикосновение воздушных волн, наполненных автомобильными гудками и латиноамериканской музыкой.

— Держи.

Он протянул мне кубик льда и сам тоже взял один.

— Поводи им по коже, — сказал он. — Не слишком радикальное средство, но это единственное, что у нас есть.

Мы лежали рядом на своих полотенцах, водя по себе льдом. Потом он повернулся, протянул руку и положил кубик льда мне на живот.

— Пока Мамы нет, — сказал он, — позволь Дяде Джонни за тобой поухаживать.

— Хорошо, — сказал я и тоже положил на него кусочек льда.

Мы не комментировали больше своих действий. Мы говорили о работе, о музыке, о Клэр. Разговаривая, мы водили льдом друг другу по животу, груди и лицу. В этом был секс, хотя ничего *такого* мы не делали. Это было что-то более нежное, более братское. В этом была преданность, забота о комфорте другого и глубокое понимание несовершенства собственного тела. Когда таял один кусочек льда, мы брали с подноса другой. Джонатан водил льдом по моей спине, а я — по его. С каждой минутой я чувствовал приближение все новых и новых возможностей, пока мы лежали вот так, нашаривая на подносе последние кусочки льда и беседуя обо всем, что приходило в голову. На горячем темно-лиловом, как набрякший синяк, небе зажигались первые

бледные звезды.

Клэр

Я хотела завести ребенка с двенадцати лет. Но всерьез задумалась об этом лишь тогда, когда мне было уже под сорок. Наши шутливые разговоры об отцовстве и материнстве являлись для нас с Джонатаном разновидностью флирта, фоном, на котором мы жили. По-видимому, это была превентивная мера по снятию эмоционального статического напряжения. Если двое любящих друг друга людей лишены возможности проявить свои чувства на сексуальном уровне, это создает особую ситуацию! Вы планируете совместные путешествия и обсуждаете, как лучше всего заработать деньги; спорите, в какой цвет выкрасить дом и как назвать ребенка, понимая при этом, что у вас не будет ни того, ни другого.

А впрочем, кто знает? Я уже ни в чем не была уверена. Чуть больше чем через год я получу свои полмиллиона. Однако в тридцать восемь лет уже трудно заставить себя поверить, что жизнь только начинается. Надежда становится какой-то уж слишком эфемерной. Немножко трезвости, и вот ее уже нет. Меня саму удивляла та внутренняя

пустота, которую я ощущала: как будто сердце и желудок болтаются на ниточках. А ведь я всегда так самозабвенно участвовала в происходящем. Мне казалось, что достаточно просто пить кофе и вино, любить каждой клеточкой, каждым нервом, смотреть фильмы. Я считала, что, если просто впитывать в себя каждое мгновение, просто быть внимательной, вопрос о конкретных достижениях отпадет сам собой.

Вскоре к списку вещей, для которых я буду уже слишком стара, прибавится еще один немаловажный пункт. Я отдавала себе отчет в надвигающейся опасности: стареющая женщина, влюбленная в голубого мужчину, заводит ребенка в качестве компенсации за свои несостоявшиеся связи. Я не могла следовать этим курсом с чувством последней правоты. Но и отказаться от этих мыслей тоже не могла. У Джонатана была работа и любовник, которого я никогда не видела. У него была свобода для маневра, какая в двадцать семь лет дается каждому. А мне с моими отвисшими грудями уже хотелось стабильности. Мне хотелось, чтобы моему ребенку жилось лучше, чем мне; хотелось, чтобы мои деньги, здоровье и везенье нашли более достойное применение.

Однажды вечером я увидела, как Бобби в жо-

кейских трусах выходит из ванной, напевая «Wild Horses».[28] Я шла в свою комнату, и мы едва не столкнулись в холле. Он улыбнулся. У него было мягкое, большое тело — мускулы, слегка заплывшие жиром. Моя мать назвала бы его здоровяком, в одобрительном смысле. Брак с моим отцом навсегда излечил ее от интереса к стройным мужчинам, стреляющим глазами по сторонам. Бобби был типичным продуктом Среднего Запада: крупный, сильный, невозмутимый.

— Привет, красавчик, — бросила я.

Он покраснел. В Нью-Йорке в конце восьмидесятых кто-то еще был способен краснеть от комплимента.

— Ээ… — сказал он. — Я буду готов через несколько минут.

Мы куда-то уходили в тот вечер. Не помню куда.

— Можешь не торопиться, — сказала я. — Раньше двенадцати там все равно никого не будет.

— Ясно.

Он ушел в свою комнату. Я подождала немного, затем зашла в ванную и протерла кружок на запотевшем зеркале. Я увидела свое лицо — ни

---

[28] Примечания: 28
«Дикие лошади» *(англ.).*

красивое, ни уродливое. Во мне всегда было что-то от матери, что-то от отца.

С возрастом мать, как ни странно, сделалась привлекательнее. Немолодую женщину редко называют красивой. Обычно говорят, что у такой-то «хорошее лицо» или «располагающая внешность». Так вот, о матери, немного мужеподобной, широколицей шатенке с вкраплениями стальной седины, это можно было сказать с полным правом. На ее спокойном лице не было морщин, а резкая, деловая манера держаться казалась гораздо достойнее веселеньких кружавчиков и слишком густых румян ее молодящихся сверстниц. Мать наконец-то совпала сама с собой, как бы нашла свой стиль. Ей просто всегда полагалось выглядеть так, как сейчас в шестьдесят, — даже в детстве.

Отец, наоборот, сморщился, как сушеная слива. Щеки ввалились, жесткие иссиня-черные волосы поредели, а кожа на шее обвисла.

В детстве я с надеждой вглядывалась в зеркало, страстно желая отыскать хоть какие-то черты сходства с отцом. Теперь я выискивала у себя следы его износа — и находила их. Моя кожа на шее была уже совсем не такой тугой и гладкой, как раньше. Под глазами темнели коричневатые

круги. Гены делали свое дело.

Мама, ты зря ревновала меня к отцу. Ты нас победила. Ты — прекрасно выглядящий адвокат, счастливо избежавший ловушки похоти. А мы с отцом жухнем, увязнув в своих неразрешимых проблемах.

Я провела рукой по волосам и подошла к комнате Бобби и Джонатана. Бобби, выбирая носки, стоял, наклонившись над ящиком платяного шкафа. Его зад был несколько крупнее идеального, но вполне пропорциональный. Если бы определение «рубенсовский» было применимо к мужчинам, Бобби соответствовал бы ему в высшей степени. Его тело было дородным, но соразмерным, как у тех бело-розовых красавиц, танцующих на сумеречных полянах. Что-то девственное было в его молчаливости, хотя никакой женственности в нем не было и в помине. Он чем-то напоминал оленя. Координированное создание с маленькими копытцами, стыдливое, но отнюдь не хрупкое.

— Почему бы тебе не надеть сегодня черную габардиновую рубашку? — сказала я.

Он буквально подпрыгнул от звука моего голоса. В его испуге было что-то возбуждающее. Я почувствовала, как у меня в животе словно

потянули за «молнию». Я была охотницей, а он — крупным, ничего не подозревающим олененком.

— Мм… хорошо, — сказал он.

Я подошла к шкафу и достала рубашку.

— Вот эта — одна из моих самых любимых, — сказала я. — Надо, кстати, попробовать купить еще одну в том же стиле.

— Ага.

Я приложила рубашку к его обнаженному торсу.

— Здорово, — сказала я.

Он снова покраснел. Нет, все без толку. Эротичнее в комнате не стало. В моей заботе о его внешности было слишком много материнского. Мы не наработали еще соответствующей ауры.

Некоторых вещей невозможно добиться простым усилием воли. Мне потребовалось немало времени, чтобы усвоить даже такой элементарный урок.

— Может быть, сначала посидим в каком-нибудь баре? — предложила я. — Нет смысла заявляться туда слишком рано.

Я положила рубашку на матрас Джонатана. Она казалась особенно черной и хрустящей на белом фоне — мгновенный снимок асексуальной мужской красоты. И пошла в свою комнату

— приводить в порядок лицо перед очередным выходом в свет.

Пролетел месяц. В том году зима не заставила себя долго ждать. Еще за неделю до Дня благодарения выпал снег. Крупные, как десятицентовые монетки, снежинки, мерцая, порхали вокруг фонарей. Владельцы соседних магазинов с таким остервенением расчищали тротуар, словно это были не сугробы, а ошибки молодости, настигшие их в самый неподходящий момент. Когда Бобби вернулся с работы, я сидела на диване в гостиной, делая педикюр. Передо мной стоял бокал вина.

— Привет, — сказал он, стряхивая снег с пальто.

Я кивнула. Разговаривать не хотелось. Зима пришла даже раньше, чем положено.

— Странно, что в Нью-Йорке бывает такая разная погода, — сказал он. — Как-то не вяжется, понимаешь, да?

— Ничем не примечательный объект для атмосферных осадков, — ответила я. — Такой же, как все прочие.

Мне хотелось сбить с него эту юношескую восторженность. В тот вечер я была подходящей собеседницей разве что для дымящих как паровоз вдов и расстриг-священников.

— Знаешь, на улице сейчас действительно здорово, — сказал он. — Так тихо! Не хочешь прогуляться?

Я послала ему красноречивый взгляд, достаточно ясно — как я надеялась — выражающий мое отношение к его предложению порезвиться в снегу. Но он продолжал радоваться. Погода его явно взбодрила. Он вошел в комнату и уселся рядом со мной на диване.

— Видишь мои ногти? — спросила я.

— Хороший цвет!

— Правильно. Желчно-зеленый. Соответствует моему внутреннему состоянию в это время года.

— Может, сходим в кино? — предложил он.

— Не-е. Сегодня я собираюсь напиться и оплакивать свою неудавшуюся жизнь.

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю. Не спрашивай меня ни о чем, если только тебе на самом деле не хочется выслушивать мой скулеж.

— Хочется, — сказал он. — На самом деле хочется.

— Все чушь! Это просто зима, а я плохо ее выношу. Месяцев через шесть я снова повеселею.

— Бедняжка Клэр, — сказал он.

Я с трудом сдержалась, чтобы не смазать ему

лаком по физиономии.

— Эта дурацкая зима пришла на целый месяц раньше срока, — сказала я, — да еще мой бывший приезжает через пару недель. Что-то слишком много всего сразу.

— В смысле — бывший муж?

— Угу. У него сейчас гастроли. Его труппа должна выступать в Бруклинской академии.

— Ты будешь с ним встречаться?

— Наверное, он позвонит. Он всегда звонит, когда приезжает в Нью-Йорк. Ему кажется, что мы недомучили друг друга, пока жили вместе.

— Ты о нем никогда не рассказываешь, — сказал он. — Иногда я даже забываю, что ты была замужем.

— Я бы тоже предпочла забыть.

— Ээ… а где вы познакомились? — спросил он.

— Хочешь посмеяться? В Вудстоке. Да, на концерте. Три дня счастья и семь лет пытки.

— Ты была в Вудстоке?

— Угу. К тому времени я уже бросила четыре разных колледжа и присоединилась к группе ребят, путешествующих по Новой Англии. Они скупали старую одежду, а потом загоняли ее в Нью-Йорке. И вот когда мы — я уж и не помню где — превращали замызганное старье в гавайские

рубашки, пронесся слух о бесплатном концерте. Учти, я не каждому такое рассказываю.

— Ты действительно там была? Ты была на концерте?

— А что? Это значит, что я какой-то питекантроп, да? Все равно как если бы я жила в Нью-Йорке до того, как тут появились автомобили?

— Как там было?

— Прежде всего, жутко грязно. Ты в жизни не видел такой грязи. Я чувствовала себя просто какой-то свиньей. Знаешь, чем меня привлек Денни? У него был большой кусок мыла. После того как мы умылись, он сказал: «Хочешь, свалим отсюда и перекусим где-нибудь в городе?» И я согласилась. Мне надоели мои спутники, вечно одетые во всякую рвань. Они считали себя мистиками, а сами покупали у вдов старые ковры и меха за пять долларов, чтобы в городе загнать их за двести.

— Ты была там, — произнес он с придыханием. — Была на концерте.

— Да, и с тех самых пор моя жизнь — цепь сплошных разочарований. Бобби, не стоит преувеличивать! Это был просто концерт. Там было грязно и очень много народу. Я убежала, не высидев и половины, и через три месяца вышла замуж

за полного придурка.

Я докрасила ноготь на большом пальце и взглянула на Бобби. Перемена была разительной. Его глаза увлажнились и горели. Он сидел, алчно вытянув шею, и не отрываясь смотрел на меня.

Я узнала этот взгляд. Мужчины смотрели на меня так в молодости, когда я и вправду была красивой и экзотичной, а не просто яркой. Я увидела самое настоящее желание. На лице человека, которому не было еще и тридцати.

Мы не спали друг с другом в ту ночь. Для этого нам потребовалась еще одна неделя. Но в наши отношения — до того вечера сердечные, и не более — закралась потенциальная возможность секса. Мы уже не были просто друзьями, мы превратились в кого-то еще. Мы стали чуть чаще раздражаться; оставаясь вдвоем, немного смущались. Когда нам нечего было сказать, замечали провисающую паузу.

Но сам он, конечно, ни на что не решился бы. Просто не осмелился бы. Он слишком привык к той модели, которая возобладала в наших отношениях: опытная сестра, наставляющая младшего брата. Я еще никогда не встречала столь несовременного молодого человека. Наверное, последний раз мужчины подобным образом

обращались с женщиной в средние века: с той же смесью галантной предусмотрительности и боязни прикоснуться к ее рукаву.

Если уж этому суждено случиться, нужно брать инициативу в свои руки.

Я сделала это во вторник. Я не сообразовывалась со своим циклом. До такой расчетливости я все-таки не дошла. Ведь Бобби и вправду мне очень нравился. Мне было легче действовать в соответствии со своей искренней симпатией к его личности, чем с более запутанным интересом к его генам. Это, думала я, еще впереди.

Мы пошли на «Провидение», что чуть было не оказалось роковым для судьбы всего предприятия. Дело в том, что во время просмотра Бобби задавал вопросы. Сначала он поинтересовался, была ли настоящей женщина-волк, а потом — кем на самом деле приходится Элен Стрич Дирку Богарту — матерью или подружкой?

Я отвечала на его вопросы, а сама думала: «О, Джонатан! Ну почему же ты голубой?!»

Но когда мы оказались на улице, мой интерес вернулся ко мне с новой силой. Бобби был невинным ребенком. Нельзя требовать невозможного. Не говоря уж о том, что мужчин для совместных походов в кино в Нью-Йорке хватает. А вот такие,

как Бобби, встречаются нечасто.

Когда мы пришли домой, я поставила кассету со старыми песнями «Роллинг стоунз». Потом закурила косяк и предложила Бобби потанцевать. Джонатан должен был ночевать у любовника.

— Потанцевать? — переспросил Бобби.

Он затянулся, стоя посреди гостиной. На нем были джинсы, черная майка и ковбойский ремень с пряжкой в виде бычьей головы. Да-а, мне предстояла непростая работа. Я поневоле почувствовала себя размалеванной шлюхой в сапогах до бедра, пытающейся, поставив заезженную пластинку, уговорить рабочего парня с фермы вылезти из его замызганного комбинезона.

— Бобби, — сказала я. — Я хочу задать тебе прямой вопрос. Можно?

— Пожалуйста.

Он передал мне косяк.

— Только честно, хорошо? Что тебе во мне нравится?

— А?

— Не заставляй меня повторять. Мне и так стыдно.

— Что мне в тебе нравится?

— Ну, в смысле, я тебе интересна?

— Ээ… Конечно. Конечно.

Я вернула ему косяк, и он сделал долгую, глубокую затяжку.

— Бобби, ты когда-нибудь спал с женщиной?

— А… нет. Честно говоря, нет.

— А тебе бы хотелось?

Он ничего не ответил. Он стоял не двигаясь и молчал. «Роллинг стоунз» исполняли «Ruby Tuesday».[29]

— Подойди сюда, — сказала я. — Оставь косяк и просто потанцуй со мной, хорошо?

Он сделал еще одну затяжку и послушно положил окурок в пепельницу. Я раскрыла объятья. Он приблизился. Старая алчная паучиха, отлавливающая не слишком проворных молодых людей. Я постаралась отогнать от себя это напрашивающееся сравнение.

Мы закружились по комнате. К счастью, танцевал он прекрасно. Никакой робости и неуверенности. Его тело не нуждалось в том, чтобы я задавала ритм и подсказывала, что нужно делать в каждый следующий момент. Танцуя вот так, немного под кайфом, мы не были ни расслаблены, ни как-то особенно напряжены. Как брат и сестра, готовящиеся к своим будущим романам.

---

[29] Примечания: 29
«Рубиновый вторник» *(англ.).*

Возбуждающие друг друга и испытывающие от этого чувство вины, немного печальное из-за безнадежности такого обыкновенного, но заряженного и чуть опасного контакта. Танцующие брат и сестра.

Я улавливала его запах, свежий древесный запах карандашных очисток. Спина у него была широкой, как у оперного певца.

— Когда ты была на концерте, — сказал он, — ты досидела до Джимми Хендрикса?

— Что?

— В Вудстоке. Ты видела Джимми Хендрикса?

— Конечно видела. Знаешь, мне кажется, мы с тобой действительно можем стать близкими людьми. Пойдем. Мне уже ясно, что как бы между прочим ничего не получится.

Я перестала танцевать и повела его в свою комнату. Он не то чтобы участвовал, но и не сопротивлялся. Зажигать свет я не стала.

— Ты волнуешься? — спросила я, закрыв дверь.

— Угу.

— Не надо. Это должно быть радостно. Просто ты мне нравишься, вот и все. А волноваться нет никаких причин.

Я расстегнула его рубашку и помогла ему ее снять. Его волосатые плечи были влажными от

пота.

— Я не в очень хорошей форме, — сказал он, как будто я ни разу до этого не видела его без рубашки.

— А по-моему, в чудесной, — ответила я.

Я сняла блузку и бросила ее на пол. Лифчика я никогда не носила. Я положила его ладонь на свою левую грудь.

— По правде говоря, они несколько ниже, чем положено, — сказала я. — Но у тебя будут другие женщины, у которых здесь всего больше.

— Мне не нужны другие женщины, — сказал он.

— Это уж слишком, — сказала я. — Ты сам-то хоть это понимаешь?

— Что?

— Ничего. Ни-че-го. Раздевайся. Старушка Клэр покажет тебе пару фокусов.

Мы торопливо скинули оставшуюся одежду. Можно было подумать, что мы тайком залезли в чужую квартиру, куда в любую минуту могли нагрянуть хозяева. Когда мы были совсем голыми, я снова обняла его и поцеловала, скорее заботливо, чем страстно. Дыхание у него было горячее и довольно резкое, но не противное. Дыхание плотоядного.

— Не бойся, — сказала я, — это самая естественная вещь на свете. Как знать, может быть, тебе даже понравится.

— Мне уже нравится, — сказал он. — Да.

Я подвела его к кровати и уложила. Мне никогда еще не приходилось быть в такой степени главной. Если это один из аспектов старения, я не против. В таком лидерстве заключалось что-то приятно пугающее.

Бобби, голый, лежал поперек кровати. Его член опустился и мирно покоился теперь у него на бедре — красный, обрезанный, большой, но не гигантский. У него было на удивление мало волос на лобке. Я слышала его дыхание.

— Все в порядке, милый, — сказала я. — Расслабься, я сама обо всем позабочусь.

Я опустилась рядом с ним на колени и принялась массировать его грудь и живот. Он неуверенно поглядел на меня.

— Шш, — сказала я. — Просто расслабься и ни о чем не думай! Твоя многоопытная сестренка сама со всем разберется, просто закрой глаза.

Он закрыл глаза. Я наклонилась и стала ударять языком по его соскам. Я никогда раньше этого не делала. Он был такой большой и такой беспомощный. До этого мне в моей сексуальной

практике доставались напористые, хотевшие меня мужики, у которых всегда были свои, впрочем, часто весьма неопределенные, требования. Я изо всех сил пыталась изобразить спокойствие и компетентность умелой женщины. Как можно деликатнее я проверила, не подает ли его пенис признаков жизни.

— Клэр, — сказал он. — Клэр, не знаю, может быть…

— Шш… Тихо. Помолчи.

Я начала целовать его, продвигаясь вниз к животу, и взяла в руку его член. Он был как гуттаперчевая игрушка. Мне потребовалось усилие, чтобы напомнить себе, что вообще-то это не так. Я взяла его в рот и начала медленно обрабатывать, обхватывая языком снизу. Я решила не спешить. Я теребила и ласкала его кончиками пальцев, бегала языком вокруг мошонки и нежно покусывала его бедра. Я заставляла себя сдерживаться и не торопить события. У моих прежних любовников всегда были собственные желания, свои особые способы и предпочтения. Элен вообще не допускала ни малейшей инициативы с моей стороны. Я никогда еще не была в такой степени предоставлена самой себе. Я чувствовала себя шлюхой из фильма. Умной, победительной шлю-

хой, высокой профессионалкой. Я покусывала волосы у него на лобке, облизывала фиолетовую головку его члена. И наконец он начал твердеть.

Тогда я позволила себе более энергичные действия. Я снова взяла его в рот и начала водить головой туда-сюда, туда-сюда до боли в шее. Одновременно я бегала пальцами вдоль его ребер и пощипывала его соски. Его дыхание участилось. Я услышала, как он тихо застонал — капризный, маленький всхлип наподобие голубиного. Я уже и сама возбудилась. Это было несильное, щекотное, немного, тошнотворное чувство из моего детства, когда мне только-только начали грезиться большие, сильные тела, мечтающие о своем пленении и сами же ему сопротивляющиеся.

Когда я решила, что он готов, я оседлала его. Выражение его лица явилось для меня полной неожиданностью. Я увидела панику, а вовсе не удовольствие, как ожидала. Тем не менее я ободряюще улыбнулась. Я понимала, что теперь темп нельзя терять ни при каких обстоятельствах.

— Готов? — спросила я и, не дожидаясь ответа, вправила в себя его напряженный член.

Что-то явно было не так. Его взгляд выражал настоящий ужас. Но дело было сделано. Развернуть все назад было уже невозможно. Я не заботилась

о собственном удовольствии. Я поднималась и падала, поднималась и падала.

— Дорогой, — шептала я ему, — ты все делаешь замечательно. Да-да! Все замечательно.

Я хотела сказать одно, а выговорилось другое. Я гладила его грудь. Его лицо блестело от пота. Я наклонилась и убрала у него со лба прядь мокрых волос.

И вдруг он кончил. Я почувствовала спазм. А потом он издал такой жуткий вопль, как будто его ударили ножом в живот. Это был страшный крик, безутешный, крик умирающего. Я забыла о том, что мне следовало бы сделать, и просто прижалась коленями к его ребрам, ожидая, пока затихнет этот жуткий вопль. Затем наступила тишина с легким призвуком эха. А потом он заплакал, громко и не сдерживаясь, как ребенок.

Я дотронулась до его лица. Его пенис все еще был во мне. Я понимала, что с этой минуты мы навсегда потеряны друг для друга в неком абсолютном смысле. Теперь он был для меня тайной. Я лежала рядом с ним и убеждала его, что все в порядке. Он гладил меня по волосам тяжелой плоской ладонью.

— Я никогда не думал, что я…

— У тебя все получилось, — прошептала я.

Он прижался к моей груди. Я чувствовала тепло его слез. Больше он не произнес ни слова. Он уснул в моей кровати, и я не стала его будить, хотя сама уснуть не могла. Я долго еще лежала рядом с ним, вдыхая запах его большого потного тела и пытаясь понять, что же я, собственно, наделала.

Джонатан

В тот вечер, когда положили в больницу театрального критика Артура, мы с Эриком решили рассказать друг другу о себе чуть подробнее. До этого в своих разговорах о прошлом мы ограничивались самыми общими сведениями биографического характера. Встречаясь, мы подсознательно сажали память на короткий поводок, и все, происходившее ранее позавчерашнего дня, тонуло в пренатальной тьме. Наша связь осуществлялась в вечно длящемся настоящем, где не было ни глубины, ни отчаянья, ни подлинных страстей, где ничтожные перипетии рабочего дня приобретали вагнеровский масштаб, а жизнь в промежутках между идиотскими распоряжениями начальства и хамскими выходками таксистов представлялась областью совершенного покоя.

И вот, сидя в квартире Эрика за бутылкой «Мер-

ло», мы решили обсудить определенную сторону нашей жизни несколько конкретнее. Он поставил пластинку Джона Колтрейна.

— Я понимаю, что это не просто, — сказал я извиняющимся тоном.

— Нда… — отозвался Эрик, — честно говоря… я не слишком-то люблю проговаривать некоторые вещи. Я даже своему психотерапевту только через год признался, что я голубой.

— Ты не должен сообщать мне ничего, чего не рассказывал психотерапевту, — заверил я его. — Но, по-моему, нам следует составить хотя бы приблизительное представление о размахе… Если так можно выразиться.

Эрик покраснел и хихикнул — болезненный звук, свидетельствующий о чувстве психологического дискомфорта. В некотором отношении он был еще совсем незрелым. Этот чудовищный диван из искусственной кожи, на котором мы сидели, был подарком родителей по случаю его поступления в юридический колледж в Мичигане. Очевидно, они полагали, что не сегодня-завтра он переберется в двенадцатикомнатную квартиру, обшитую деревянными панелями, но меньше чем через год он бросил перспективный колледж ради туманного актерского будущего в Нью-Йор-

ке. Теперь родители с ним не разговаривали, а диван, перегородивший полкомнаты, смотрелся как океанский лайнер в бассейне.

— В самых общих чертах, — ободряюще добавил я. — Без унизительных подробностей.

— Я понимаю, — кивнул он. — Сам не знаю, почему мне так трудно об этом говорить. Не знаю. Может быть, потому, что я, в общем-то, всегда больше слушал. Привычка бармена.

— Давай я начну, — предложил я.

И вот почти целый час мы рассказывали друг другу о своих прежних аморальных связях, о романах, удавшихся и неудавшихся, о событиях такой давности, что, казалось, они уже не могли иметь к нам сегодняшним никакого отношения.

Выяснилось, что в спектре возможного риска мы оба находимся где-то посередине. Ни он, ни я не были какими-то особенно ненасытными. Мы никогда не совокуплялись под лестницами, не имели по десять незнакомцев за ночь и не покупали на час хищных грациозных юношей на Западных сороковых улицах. Однако дома у каждого из нас перебывал целый полк людей, которых мы практически не знали. Мы знакомились в барах и на вечеринках, мы спали с друзьями друзей, приехавшими погостить в

Нью-Йорк из Сан-Франциско, Ванкувера и Лагуны-Бич. Мы оба смутно надеялись влюбиться, но не слишком терзались, когда это не удавалось, полагая, что впереди у нас уйма времени. На самом деле любовь представлялась нам чем-то таким окончательным, таким тоскливым. Ведь именно любовь погубила наших родителей. Это она обрекла их платить за дом, делать ремонты, заниматься ничем не примечательной работой и в два часа дня брести по флюоресцентному проходу супермаркета. Мы рассчитывали на другую любовь, ту, что поймет и простит наши слабости, не вынуждая нас расставаться с мифом о собственной незаурядности. Это казалось возможным. Если не спешить и не хвататься за первое, что подвернется, если не дергаться и не паниковать, к нам придет та любовь, в которой будет одновременно и вызов и нежность. То, что существует в нашем воображении, может существовать и наяву. Ну а пока мы занимались сексом. Нам казалось, что мы живем на заре новой вакхической эры, позволяющей и мужчинам и женщинам без колебаний отзываться на безобидные влечения плоти. Именно чувство неограниченной свободы позволило мне сойтись с простоватым юношей, игравшим на флейте в

Вашингтон-сквер-парк, и с пожилым французом в красном кашемировом пиджаке, с которым мы познакомились в вагоне метро, и с парочкой учтивых врачей, подогревающих интерес к своему союзу эпизодическими приглашениями третьего участника. Лет в двадцать — двадцать с небольшим я чувствовал себя эдаким Паком,[30] проницательным, ловким, неисправимым. С каждым новым приключением церемонные вечеринки и серые будни Огайо уходили, казалось, все дальше и дальше в прошлое.

Мы с Эриком не задерживались на каждом эпизоде слишком подолгу. До этого мы все-таки не дошли. Мы освещали лишь центральные моменты, с особым воодушевлением отмечая те удовольствия, в которых себе отказывали.

Обхватив бокал своими длинными пальцами, Эрик сказал, нахмурившись:

— Меня никогда не вдохновлял анонимный секс. Никогда. Даже когда я знакомился с ребятами, приходившими в бар специально за этим, и, ну, приводил их домой, я никогда не мог доиграть сцену до конца — выходил из образа. Иногда я

---

[30] Примечания: 30

Пак — в английской мифологии, фольклоре и литературе сверхъестественное существо, подобное домовому, склонное к всевозможным каверзам и проделкам.

ходил в бани, но знакомиться там не решался. Я просто шел в сауну и возвращался домой…

Он сделал паузу и добавил:

— …мастурбировать.

После чего вымученно улыбнулся и густо покраснел.

Хотя мы оба сидели на его гигантском диване, мы не касались друг друга, занимая как бы разные секторы освещенного лампой пространства. В такой сдержанности не было ничего нового. Обмениваясь историями о своих прошлых связях, которые, как мы горячо надеялись, не должны были оказаться фатальными, мы вели себя как обычно. На самом деле подлинной близости между нами никогда не было. Увидев нас на улице, можно было бы подумать, что мы бывшие соседи по комнате в университетском общежитии, давно растерявшие остатки былой привязанности, но оттягивающие прямое признание этого факта. Только в постели нам на какое-то время удавалось выскочить из своей кожи и преодолеть нашу отдельность. Вертелась пластинка. Колтрейн исполнял «A Love Supreme».[31]

— Смешно, — сказал я, — я всегда комплексовал

---

[31] Примечания: 31
«Высокая любовь» *(англ.).*

из-за своей, как мне казалось, недостаточной склонности к риску. Когда я слушал рассказы других о том, как они меняют по четыре партнера за ночь, я казался себе самым осмотрительным голубым на свете. И хотя понимал, что с большинством из этих ребят никогда больше не увижусь, все-таки надеялся, что, может быть, мне захочется с ними встретиться, то есть все-таки пытался сохранить для себя пусть даже призрачную возможность влюбиться. Но этого никогда не случалось.

Глядя в свой бокал, Эрик пробурчал что-то невнятное.

— Что?

— Скажи, а мы с тобой могли бы влюбиться друг в друга? — спросил он. Я никогда еще не видел никого в таком смущении. Он стал просто багровым. Вино дрожало в его бокале.

Я знал, чего ему хочется. Ему хотелось спрятаться в любовь. Без этого жизнь была невыносима. Прославиться, несмотря на все его попытки, никак не удавалось, а надежда на будущее становилась все более и более эфемерной: непреходящий кашель, фиолетовое пятно на голени — и вот ее уже нет.

— Нет, — сказал я. — Ты мне не безразличен.

Но нет.

Он кивнул, не проронив ни слова.

— А ты меня любишь? — спросил я, хотя и так знал, что он ответит. Ему отчаянно хотелось в кого-нибудь влюбиться. Я принципиально подходил по возрасту, весу и росту. Но, в сущности, я как таковой был тут ни при чем. Я просто, что называется, подвернулся под руку.

Он потряс головой. Некоторое время мы сидели молча, а потом я дотронулся до его пальцев. Я не мог позволить себе ничего, кроме нежности, потому что ненавидел его. Я едва сдерживался, чтобы не наорать на него за то, что он оказался таким заурядным, за то, что он не сумел изменить мою жизнь. Мне тоже хотелось влюбиться. Я поглаживал руку Эрика. Проигрыватель, поставленный на автоповтор, начал альбом Колтрейна сначала. Эрик попытался было рассмеяться, но, проглотив собственный смешок, запил его вином.

Мне хотелось его убить, хотя если он и был в чем-то виноват, так только в недостатке интеллекта и в недостаточной сфокусированности именно на мне. Я готов был вонзить ему вилку в сердце только за то, что он оказался не в состоянии сыграть роль, на которую был назначен, за то, что он, как выяснилось, был всего лишь

эпизодическим персонажем. Не буду отрицать: я считал, что заслуживаю большего.

Так и не сказав ни слова, мы встали и подошли к кровати — первый и единственный случай психологической гармонии за все время нашего общения. Обычно нам приходилось подробнейшим образом обговаривать самые простейшие действия. Но в тот вечер мы взяли свои бокалы, молча подошли к его кровати, разделись и легли в объятия друг к другу.

— Страшноватые времена, — сказал я.

— Да.

Какое-то время мы просто лежали обнявшись. Последняя отличительная особенность нашей сексуальной практики — то, что мы не предохранялись — так и осталась без обсуждения. Предпринимать что-либо теперь было слишком поздно. Разумных объяснений, почему мы не делали этого раньше, не было, не считая того, что четыре года назад, когда мы познакомились, казалось, что это болезнь людей другой социальной группы. Разумеется, нам было известно о ее существовании. Разумеется, мы боялись. Но никто из тех, кого мы знали лично, не заболел. Мы верили — не без некоторого волевого усилия, — что заболевают те, чья кровь разжижена наркотиками,

те, кто имеет по десять партнеров за ночь. А Эрик собирал пластинки, на его столике стояли фотографии худеньких братьев и сестер — на озере, в гостиной, возле сверкающей красной «камаро». Он ходил на прослушивания и рассказывал мне о поисках работы. Он не мог умереть молодым — казалось, что для этого он просто слишком занят. Не знаю, какие мысли мелькали в его голове, но, так или иначе, мы не стали затрагивать эту тему. Вместо этого мы позволили себе долгое молчаливое объятие, после чего с какой-то новой серьезностью предались сексу, в то время как пластинка Колтрейна повторялась все снова и снова.

А через несколько дней после этого Бобби рассказал мне про себя и Клэр. Перед этим я навещал в больнице Артура. Воспаление легких у него почти прошло, и он с оптимизмом рассуждал о том, что полный отказ от алкоголя и специальная диета восстановят его здоровье на все сто процентов. Хотя у меня было еще много работы в редакции, я не смог заставить себя к ней вернуться. Вместо этого я пошел домой, чтобы провести вечер с Бобби и Клэр.

Когда я вошел, они готовили ужин. Хотя наша кухня была немногим больше телефонной будки,

они все-таки как-то умудрились втиснуться в нее вместе. Я услышал смех Клэр и как Бобби сказал:

— Подвинь, пожалуйста, задницу, а то я не могу открыть духовку.

— Привет, родные, — крикнул я.

— Джонатан! — смешно взвизгнула Клэр. — О боже, он вернулся!

Видимо, они попытались выйти из кухни одновременно и застряли. Я услышал новый взрыв хохота и ворчание Бобби.

Первой в гостиной появилась Клэр. На ней была желтая кофточка и нитка красных стеклянных бус. Потом показался Бобби. В футболке и черных джинсах.

— Привет, солнышко, — сказала Клэр. — Какой сюрприз! Что, редакция сгорела?

— Нет. Просто захотелось побыть с вами. И я решил взять выходной. Хотите сходить в кегельбан или еще куда-нибудь?

Клэр поцеловала меня в щеку. Бобби — тоже.

— Мы жарим цыпленка и печем эти… как их… пирожные, — сказал он.

— Чего, между прочим, никогда не делали наши родители, — добавила Клэр. — Не знаю, как было у тебя, но в моей семье быстренько разогревали замороженный стейк и заглатывали его,

уткнувшись в телевизор. Цыпленок с подливкой казался настоящей экзотикой.

— Мать Джона — великая кулинарка, — сообщил ей Бобби. — Она никогда не покупала ничего замороженного. Или, там, консервированного.

— Ну конечно, — сказала Клэр, — а еще она сама ныряла за жемчугом и ловила норок себе на воротник. Джонатан, милый, хочешь коктейль?

— Прекрасная мысль, — отозвался я. — А не выпить ли нам мартини?

Последнее время мы пристрастились к мартини. Мы завели три бокала на длинной ножке и всегда держали в холодильнике банки с оливками.

— Отлично, — сказал Бобби, — мы могли бы, ээ… обменяться тостами.

— Вы меня знаете. Я готов выпить за что угодно. А что празднуем: День Гая Фокса или еще что-нибудь?

— Хм… — неопределенно хмыкнул. Бобби.

— А что, есть какой-то особый повод? — спросил я.

— Я пойду приготовлю мартини, — сказала Клэр, — а вы посидите здесь.

И снова ушла в кухню.

— Что происходит, старик? — спросил я Бобби,

когда мы остались одни.

Ухмыляясь, он уставился в пол, как будто разглядел на ковре какие-то таинственные иероглифы. Бобби не умел хитрить. Он мог вообще ничего не ответить, но соврать он не мог. Объяснялось ли это честностью или просто недостатком воображения, трудно сказать. Иногда одно почти невозможно отделить от другого.

— Джонни, — сказал он, — мы с Клэр…

— Что вы с Клэр?

— Мы типа, ну, мы с ней… В общем, ты понимаешь.

— Нет, не понимаю.

— Понимаешь.

— То есть ты хочешь сказать, что вы с ней спите?

Он оторвал взгляд от ковра, но взглянуть мне в лицо не решался. Он моргал и улыбался. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не прыснуть — глядя чуть мимо меня с таким видом, будто ждал, когда же я наконец замечу, что забыл надеть штаны.

— Мм, — пробормотал он. — Понимаешь, Джонни, мы как бы полюбили друг друга. Потрясающе, да?

— Да. Действительно потрясающе.

Я сам не ожидал от себя такого отстраненно-

капризного тона. Мне хотелось, чтобы мой голос прозвучал твердо, но дружелюбно, хотелось отбросить всю эту романтическую белиберду. Услышав мой тон, Бобби с застывшей улыбкой взглянул на меня.

— Джон! — сказал он. — Вот теперь мы в самом деле семья.

— Что?

— Мы трое. Старик, неужели ты не понимаешь, как это здорово! Ведь мы же все любим друг друга.

Вошла Клэр с мартини на подносе, без которого теперь не обходилась ни одна наша коктейльная церемония. Поднос был облупленным старым сувениром из Южной Калифорнии. На нем были изображены апельсины цвета буйволовой кожи и черногубые красавицы в юбочках, с печально-отрешенными лицами, в ленивых позах расположившиеся на бледно-бирюзовом песке.

— Я ему сказал, — с гордостью сообщил Бобби.

— Как и обещал. — Она взглянула на меня полунасмешливо-полувиновато. — Джонатан, возьми коктейль.

— Это правда? — спросил я ее.

— Про нас с Бобби? Да. Можно считать, что мы сделали официальное заявление.

Бобби взял с подноса бокал.

— За семью! — провозгласил он.

— Перестань, Бобби, — сказала Клэр. — Ради Бога! Мы просто спим с тобой, и больше ничего.

Она повернулась ко мне.

— Мы с ним спим.

Я сделал глоток мартини. Я понимал, что мне полагается радоваться и умиляться этой древней как мир способности любви, вспыхнув в самый неожиданный момент, преобразить своим магическим светом скучные будни. Но я чувствовал только сухость и пустоту — песок, сыплющийся в песчаную яму. Я попробовал было изобразить ожидаемое воодушевление в надежде, что, если мне удастся проделать это достаточно убедительно, я и вправду смогу его ощутить.

— Поразительно, — сказал я. — И как долго это длится? Название песни, да? Вот так всегда: как начнешь говорить о любви, невозможно отделаться от ощущения, что цитируешь старые песни.

— Несколько дней, — ответила Клэр. — Мы все собирались тебе сказать, но как-то не было подходящего повода.

Я кивнул, уставившись на нее тяжелым взглядом. Мы оба понимали, что это неправда. И мне

и ей было ясно, что, если они с Бобби не сразу сообщили мне о своей близости, значит, у них были на то свои причины.

— А давайте, — сказал Бобби, — теперь заведем ребенка все вместе!

— Бобби, — выдохнула Клэр, — пожалуйста, заткнись. Я тебя умоляю.

— Но ведь вы же хотели ребенка, верно? У вас ведь были такие планы. Так почему бы нам и вправду не завести малыша? Или даже двух?

— Замечательно, — сказал я. — А может, сразу шестерых. Ровно полдюжины.

— Давайте сначала посмотрим, не передеремся ли мы все до Рождества, — сказала Клэр.

— Ну, — сказал я, поднимая бокал, — за счастливую пару!

Мы выпили за счастливую пару.

— Вот уж не ожидал, — сказал я. — Хотя теперь это кажется вполне логичным. Но, честно говоря, Бобби, когда ты только приехал, я и представить не мог, что вы с Клэр…

— Я сама не могла представить, — вставила Клэр.

— Ну ладно, — сказал я, — лучше расскажите мне, как это произошло. Со всеми подробностями, какими бы интимными они ни были.

Мы выпили еще и еще раз, пока Клэр рассказывала, а Бобби изредка давал краткие пояснения. В отличие от Бобби, Клэр была такой искусной выдумщицей, что часто уже и сама не могла отличить, где вымысел, а где правда. При этом она никогда не представляла себя в выгодном свете. Скорее наоборот — в своих рассказах она отводила себе роль наивного, немного нелепого персонажа, которому, подобно Люси Рикардо, не сходил с рук ни один промах и который никак не мог отделаться от злополучных и необъяснимых привязанностей, как клоунесса в «Дороге» Феллини. Она всегда готова была пожертвовать достоверностью ради яркости красок, — искажению, впрочем, подвергались лишь пропорции, а не факты. Клоунский, сюрреалистический мир ее рассказов, казавшийся ей самой весьма убедительным, существовал тем не менее на значительном удалении от ее глубинного самоощущения, давно продырявленного градом неотраженных ударов и паническим чувством ограниченности собственных возможностей.

— На самом деле Мама просто решила поучить Малыша жизни, — сказала Клэр. — Ну и, кажется, немного увлеклась. Не знаю, что сказали бы на это девушки из моей спортивной лиги…

— Им бы это не понравилось, — заметил я. — Возможно, они бы тебя вообще дисквалифицировали.

— Ну, Дядя Джонни! Я ведь так долго была пай-девочкой! Нельзя слишком много требовать от человека.

— Твой дядя просто в шоке! Все это настолько неожиданно.

— Еще бы, — сказала она.

В припадке нахлынувшей радости Бобби сжал ее голый локоть, оставив на нем бледные следы пальцев. Передо мной мелькнуло видение — Бобби и Клэр в старости: она, взбалмошная, эксцентричная, в экстравагантной шляпке и с невероятно густым макияжем, рассказывает хорошо отрепетированную историю своего романтического падения, а он, лысоватый, с брюшком, бормочет: «О, Клэр». Мы превращаемся в героев собственных историй.

— Наверное, это конец Хендерсонов, по крайней мере в их нынешнем виде.

— Наверное, да.

На какое-то время всех охватило чувство взаимной неловкости, как если бы на вечеринке общий друг оставил нас, незнакомых между собой гостей, наедине.

— Ужин почти готов, — сообщил Бобби. — Хотите поесть?

Я согласился, потому что это избавляло от необходимости придумывать, что делать дальше. Моя голова парила где-то под потолком. Оглушенный джином, я воспринимал собственные эмоции как радиосигналы, транслируемые моей же бесплотной головой. Меня душили ревность и злоба. Я хотел Бобби. В другом смысле я хотел Клэр.

За ужином мы говорили о другом. Потом пошли в кинотеатр «Талия» смотреть «Такие воры, как мы». Мы с Клэр уже видели эту картину несколько раз, но она заявила, что Бобби тоже необходимо ее посмотреть.

— Если мы и вправду вдруг сделались вроде как одной командой, — сказала она, — он должен познакомиться хотя бы с несколькими базовыми фильмами.

Во время просмотра она шепотом обращала его внимание на ту или иную деталь, сжимая при этом его колено. Она накрасила ногти фосфоресцирующим розовым лаком, ярко светившимся даже в темноте кинотеатра.

В нарушение установившейся традиции я отказался зайти в бар после фильма. Клэр потрогала мой лоб.

— Милый, ты не заболел?

Я сказал, что просто ужасно вымотался и что мне надо с самого утра быть в редакции, чтобы доделать то, чего я не успел закончить сегодня вечером. Бобби и Клэр заявили, что тогда они тоже никуда не пойдут, но я уговорил их пойти в бар вдвоем. На прощанье я поцеловал их. Когда я шел домой, морозный воздух был таким прозрачным, что над крышей Куперовского союза[32] можно было разглядеть Большую Медведицу, пробившуюся даже сквозь огни Манхэттена. Холодный воздух, мерцая, клубился у освещенных окон. Но и в такую ночь по улицам шагали пустоглазые мальчики с черными транзисторами в руках, рассыпая вокруг себя дробящуюся на морозе музыку.

Дома я скатал и засунул в шкаф спальник Бобби. Сегодня он будет спать с Клэр — почему-то я в этом не сомневался. Перед тем как лечь, я налил себе еще один бокал мартини. Пошел снег. Крохотные легкие снежинки, чуть крупнее частиц самого воздуха, слипались в твердые серые гранулы. Я пил мартини, пытаясь представить себе будущее Бобби и Клэр. Они были сомнительной парой.

---

[32] Примечания: 32

Куперовский союз — бесплатное учебное заведение в Нью-Йорке, основанное в 1859 г. промышленником П. Купером.

Вероятнее всего, когда будет исчерпана новизна нынешней ситуации, их роман превратится в фарс. Но, может быть, кто знает, все сложится иначе. И если благодаря какому-то немыслимому стечению обстоятельств, соединению влечения, ненависти и просто везения, они не расстанутся, у них будет свой дом. Дети. Какая-нибудь обыкновенная работа. Они будут толкать перед собой тележку с продуктами по флюоресцентному проходу супермаркета. Все это у них будет.

Элис

По настоянию врачей мы с Недом разобрали свое старое гнездо и свили новое в Аризонской пустыне. Наш новый дом, почти вдвое меньше старого, был частью жилого комплекса, явно не оправдавшего надежд своего создателя. Спустя три года после завершения строительства почти половина домов стояли пустыми, а над центральным входом до сих пор болтались потрепанные гирлянды разноцветных вымпелов. Коттеджи, стилизованные под мексиканские пуэбло, были сделаны из выкрашенного в грязновато-бурый цвет бетона, окна забраны в рамы из алюминия. Средств, вырученных от продажи нашего преж-

него жилища и кинотеатра, хватило лишь на дом с одной спальней. «Асьенда Главера», как называл его Нед. Или — когда бывал в более мрачном настроении — «Табачная дорога, 1987».[33]

Но вообще-то он не позволял себе раскисать. Возможно, он был к этому просто не способен. Демонстрируемые им эмоции колебались в диапазоне от печального приятия до легкого недовольства. Прощаясь с моей кливлендской кухней и грушевым деревом на заднем дворике, я поняла, что на самом деле всю жизнь собиралась уйти от Неда. Точнее сказать, я всю жизнь надеялась, что настанет время, когда я буду существовать сама по себе, вне нашей милой домашней комедии, сердечных разговоров за ужином и невинного сна без сновидений. Но беда таких неконфликтных союзов, как наш, в том, что они никак не желают разваливаться: ни в какой момент вопиющая несправедливость или бессердечие не пробивают спасительной бреши, сквозь которую, чувствуя себя в своем праве, можно выйти в новую жизнь. Приходится существовать в деталях: вот кухня, устроенная именно так, как ты хотела, вот помидоры, которые ты посадила

[33] Примечания: 33

Аллюзия на роман Э. Колдуэлла (опубликован в 1932 г.) о тяжкой жизни бедняков Юга.

и подвязала своими собственными руками. А когда заболевшему Неду велели перебираться на новое место, у меня просто не хватило злости и себялюбия оставить его одного. Укладывая ножи в картонную коробку, я размышляла о растущей статистике разводов — и как только люди решаются на такое? Фильмы и книги нашего детства оставляют нас безоружными перед чарами наших домов, никто не предупреждает нас о соблазнах, которыми чреваты наши гостиные с окнами на юг и стеклянные двери, увитые штокрозами.

А теперь нам приходилось переезжать, потому что легкие Неда отказывались сотрудничать с влажным огайским воздухом. Сама процедура оказалась на удивление несложной. Вместе с нарумяненной женщиной в тореадорских штанах мы составили описание нашего жилища, и уже через месяц она продала его по рыночной цене паре молодых программистов, поставивших на район с неясными перспективами. Кинотеатр собирались снести, а на его месте устроить автостоянку. Меньше чем через восемь месяцев после приговора врачей мы уже жили в таком месте, где я никогда не чаяла не то что жить, но даже просто побывать как туристка.

Выяснилось, что у пустыни есть свое особое очарование: странное сочетание пустоты и величия, раскаленное бездонное небо над головой. За время, прошедшее между тем моментом, когда мы подписали контракт, и тем днем, когда мы со своими пожитками приехали в Аризону, у кактуса перед нашим домом вырос один-единственный грязновато-белый цветок, сидевший на нем как экстравагантная шляпка. Редко какую судьбу мы считаем совсем уж невыносимой. В противном случае мы вели бы себя осмотрительней. И вот мы с Недом стали обживаться в этих маленьких белых комнатках. Повесили занавески, разместили медные сковородки на стене нашей новой кухни, где в лучах аризонского солнца они засияли ярче прежнего. Еще немного — поняла я, — и это место будет казаться столь же неотвратимо своим, как и прошлое. На самом деле предчувствие этой неотвратимости посетило меня уже в тот момент, когда мы только спорили, как развесить картины и расставить стулья. В перерыве Нед обнял меня за плечи так же, как в свои двадцать шесть лет, когда я залезла к нему в машину, чтобы отправиться к поймовым землям Луизианы, и сказал:

— Может, здесь будет не так уж и плохо, а? Как

тебе кажется, малыш?

Я ответила, что все будет замечательно, и при этом не покривила душой. Умение приспосабливаться у нас в крови. Наверное, именно в нем источник нашего земного комфорта и тайного раздражения. Нед ввел меня в комнату, которой предстояло стать нашей гостиной. За окном в просвете наших кливлендских занавесок простиралась фантастическая безлюдная земля, где незащищенный путник не протянул бы и суток.

Джонатан

Что-то со мной было не так. Я потерял чувство внутренней связи с происходящим, что, как я опасался, могло являться ранним симптомом заболевания. Сначала наступает это смутно-текучее состояние, когда проживаемые тобой часы словно бы не хотят складываться в дни, а твое присутствие в самолете или на улице уже никак не влияет на то, что тебя окружает; потом начинаются глухие боли, озноб, непроходящий кашель. Может быть, именно так смерть заявляет о себе, лишая тебя привычной степени участия в собственных делах.

Самолет разбежался и сквозь кувыркающуюся

белизну выплыл в голубое небо, ослепительно-невыразительное, как идеально строгое представление о небесной награде. Я молча летел через всю страну в почти убаюкивающем состоянии какого-то странного вывиха. Я чувствовал себя как в кино, словно со стороны наблюдая за двадцатисемилетним мужчиной, пристегнутым ремнями на случай возможной тряски. Я видел, как я наливаю себе виски в идеально прозрачный пластиковый стаканчик. Я летел в гости к родителям, в их новый дом, в котором еще никогда не был.

В Аризоне отец впервые заговорил со мной о смерти. Местный врач подтвердил прежний диагноз — эмфизема, — утверждая, впрочем, что при соблюдении необходимых мер предосторожности еще тридцать лет более чем реальны. Тем не менее пришло время обсудить некоторые вещи.

Отец сказал мне буквально следующее:

— Когда придет время, похорони меня там, где сочтешь нужным.

Мы сидели за маленьким столиком, играя в ятзи; мать готовила обед.

— Мне-то уже будет все равно, — добавил он, — ведь меня уже не будет.

— Но разве я должен это решать?

— А кто же еще? — сказал он. — Ведь именно тебе придется посещать это место следующие пятьдесят лет. Или тысячу, если к тому времени все-таки научатся заменять износившиеся органы пластиковыми.

Мать слышала каждое слово из кухни, образующей короткий конец г-образной загогулины «гостиная-столовая-кухня».

— Биологическое бессмертие вышло из моды, — сказала она, — вместе с монорельсами и экскурсиями на Марс.

Она принесла и поставила на стол острый томатный соус и блюдо с маисовыми чипсами. Переехав в Аризону, мать перестала укладывать волосы. Теперь она просто собирала их в хвостик на затылке. У нее был смугло-коричневый загар. Отец, предрасположенный к раку кожи, был бледным, как луна. Они смотрелись как поселенец и его невеста-индеанка.

— В сущности, все это не имеет большого значения, — добавил отец. — Извините, что я вообще завел этот разговор.

Я взглянул на мать. Но она только махнула рукой и снова удалилась в кухню к своим чили.

— Ну а все-таки, Джонатан, — сказал отец. — Если бы вот сейчас мы с матерью разом схватились

за сердце и рухнули головой в чипсы, что бы ты с нами сделал?

— Не знаю. Наверное, перевез бы вас в Кливленд.

— Вот как раз этого-то и не следует делать, — сказал он. — Ведь ты же никогда не вернешься в Кливленд. К чему тебе там мертвые родители?

— Все-таки мы прожили там много лет, — сказал я. — Для меня это по-прежнему что-то вроде дома.

— Мы тридцать лет пытались уехать из Кливленда, — сказал он. — Вот что происходило на самом деле. Этот кинотеатр едва меня не доконал, а климат едва не доконал нас обоих: и меня, и маму. Если ты меня туда отвезешь, клянусь, я буду к тебе являться. Каждую субботу до конца твоих дней я буду тебя будить и требовать, чтобы ты помог мне постричь кусты вокруг дома.

— Ну а здесь? — спросил я. — Тебе ведь здесь вроде бы нравится?

— Здесь я могу дышать, а мама учится делать «Голубую Маргариту».[34] Вот что такое для нас Финикс, не больше и не меньше.

На самом деле я не мог представить себе, что

---

[34] Примечания: 34
«Голубая Маргарита» — название коктейля.

его похоронят в Аризоне. В этом была бы какая-то насмешка над ним — чтобы шакалы завывали над его головой.

— Знаешь, я не могу все это больше обсуждать, — сказал я. — Мне нечего сказать.

— Ладно, — сказал отец, — хочешь, еще раз разгромлю тебя в ятзи?

— Нет. Я лучше немножко полежу. Если ты не против.

— Конечно. Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет. Просто хочу полежать минутку с закрытыми глазами.

Я встал и подошел к дивану, приобретенному ими уже в Аризоне. Это была почти точная копия кливлендского дивана: узловатые подлокотники из клена и накрахмаленный колониальный чехол. Диван, взвизгивая, раскладывался, превращаясь в еще одно спальное место. Его купили специально для меня, чтобы мне было на чем спать во время моих визитов, — у родителей, так же как и во всех других домах жилого комплекса, была только одна спальня. Это был район вдов и вдовцов.

— Может, разберешь его и поспишь? — сказал отец.

— Нет, не нужно, я так полежу.

Я лег, положив под голову вышитую подушку. На диванном чехле были изображены камыши, ржавого цвета лодки и вереница коричневых уток, улетающих вдаль группками по три. На угловом столике мерцала маленькая рождественская елочка, увитая гирляндой, которую, помню, я когда-то сам выбирал в кливлендском магазинчике. После «декоративных» елок с красными и серебряными шарами, тросточками, набитыми леденцами, и крохотными белыми лампочками родители снова вернулись к уменьшенной копии яркой, беспорядочной елки дома с детьми.

— Хорошо, что ты приехал, — сказал отец. — Честно говоря, ты немножко бледный.

— В Нью-Йорке в это время года все бледные, — сказал я. — Может быть, я тоже перееду в Аризону.

— Странное желание, — сказал отец, тряся стаканчиком с костяшками ятзи. — Молодому человеку тут делать нечего.

— А ты сам что здесь делаешь?

— Ничего. По правде сказать, здесь и таким, как я, делать нечего.

Он выкатил кости на стол.

— Малая серия, — сказал он. — Хочешь еще выпить?

— Пожалуй, нет.

Он встал и, тяжело дыша, подошел к узкому стенному шкафчику, изображавшему бар. Когда он открыл дверцу, я увидел аккуратный ряд бутылок на зеркальной полке и бежевое полотенце для рук, лежавшее без употребления около миниатюрной хромированной раковины.

Переехав в пустыню, родители привезли сюда свое кливлендское чувство порядка. И тут, где ночной ветер задувал в окна песок, а в дверь скреблось перекати-поле, баночки со специями стояли в алфавитном порядке. Домашние растения сияли своей зеленой глянцевой жизнью, и каждое утро мать проводила тщательный осмотр, отрывая и складывая в полиэтиленовый пакет мертвые листочки.

— Раз ты пьешь, я тоже выпью, — сказал я.

Я услышал характерное бульканье бурбона, выливающегося из горлышка одноквартовой бутылки.

— В торговом центре идет «Надежда и слава», — сказал отец.

— Если хочешь, можно съездить на утренний сеанс, — предложил я. — Заодно и от солнца спрячемся.

— Давай, — согласился он, протягивая мне

бокал.

— Знаете, ребята, — сказал я, — мне что-то правда не хочется планировать ваши похороны.

— Ну ты не очень-то переживай по этому поводу. Может, к тому времени, как мы умрем, ты уже где-нибудь осядешь. Просто похорони нас не очень далеко от своего дома.

— А что, если я вообще нигде не осяду?

— Осядешь. Поверь мне, рано или поздно это случится.

— Схожу посмотрю, не нужна ли моя помощь на кухне, — сказал я.

— Давай.

— Просто я правда понятия не имею, где буду жить, — сказал я. — Ни малейшего. Может, я поселюсь в Шри-Ланке.

— Ну и замечательно! Пока молод, надо путешествовать.

Отец снова бросил кости и подосадовал на невезение.

— Я уже не так молод, — сказал я.

— Ха! Ты так думаешь?

На кухне мать с выражением усталой сосредоточенности на лице сушила салат — словно пеленала десятого ребенка. Я остановился рядом с ней возле раковины. От матери исходил сухой

хрупкий запах, как от палых листьев.

— Привет, — сказал я.

— Ты только посмотри — вот это здесь называют салатом, — сказала она. — Я обошла три магазина. Этот еще лучше других. Можно подумать, что всю дорогу до Финикса его били палкой.

Она придала своей жалобе игривую интонацию. Последнее время, когда я приезжал домой, сначала в Кливленд, а теперь в Финикс, она бывала то ироничной, то подчеркнуто дружественной.

— Печально, — отозвался я.

Мы помолчали, пока отец не поднялся с кресла и не пошел наверх. Когда он был вне зоны слышимости, мать сказала:

— Ну, как дела? Как Бобби?

— Нормально. У Бобби все хорошо. Все отлично.

— Хорошо, — сказала она и энергично кивнула с таким видом, словно мой ответ был совершенно исчерпывающим.

— Мама, — сказал я.

— Да?

— Честно говоря, я… мне… даже не знаю. Мне иногда ужасно одиноко в Нью-Йорке.

— Понимаю, — ответила она. — Трудно избежать чувства одиночества. Где бы ты ни находился.

Она начала резать огурец на поразительно тонкие прозрачные ломтики. Огурец словно вспыхивал под лезвием.

— Знаешь, о чем я думаю последнее время? — сказал я. — Почему у вас с отцом так мало друзей? В детстве мне иногда казалось, что нас высадили на какой-то неизвестной планете. Как ту семью в старом телесериале.

— Что-то не припомню такого сериала, — сказала она. — Если бы у тебя был ребенок, дом и собственное дело, я думаю, у тебя бы тоже не было сил носиться по городу в поисках новых знакомств. А потом, когда твоим детям исполняется восемнадцать лет, они пакуют чемодан и уезжают.

— Естественно, — сказал я. — А чего еще ты ожидала?

Она рассмеялась.

— Уезжают, если ты правильно их воспитала, — сказала она весело. — Дорогой, никто и не предполагал, что, окончив колледж, ты снова вселишься в свою комнату.

В нашей семье было не принято ссориться, мы

всегда — и чем дальше, тем сильнее — старались подладиться друг под друга.

— Я просто думаю, может, большего и не надо, — сказал я. — Квартира, работа, несколько человек, которых любишь. Чего еще желать?

— По мне, звучит неплохо, — отозвалась она.

— Мама, — спросил я. — Когда ты поняла, что хочешь выйти замуж за отца?

Она не отвечала, наверное, целую минуту. Дорезала огурец и принялась за помидор.

— Знаешь, — сказала она наконец, — я до сих пор еще этого не поняла. Я все еще думаю.

— Перестань! Серьезно.

— Ну хорошо. Как ты знаешь, мне едва исполнилось семнадцать, а отцу было двадцать шесть. Он сделал мне предложение во время нашей четвертой встречи. Я помню, что спустя целую неделю после Дня труда на мне были белые туфли. И от этого я чувствовала себя и глупо, и вызывающе. Мы сидели в машине, и я изображала задумчивость, хотя на самом деле единственное, что меня в тот момент волновало, были эти распроклятые туфли, а отец повернулся ко мне и сказал: «А почему бы нам не пожениться?» Вот и все.

— И что ты ответила?

Она потянулась за вторым помидором.

— Ничего. Я была потрясена, и мне было ужасно стыдно — беспокоиться о каких-то туфлях в такой ответственный момент. Помню, у меня еще мелькнула мысль: «Я самая неромантичная девушка на свете». Я сказала, что мне нужно подумать, и вскоре поняла, что не могу найти ни одного аргумента против. И мы поженились.

— Ты была в него влюблена? — спросил я.

Она поджала губы, как будто мой вопрос был бестактным.

— Я была совсем девочкой, — ответила она. — Ну да, конечно, он мне ужасно нравился. Никто не мог меня рассмешить так, как он. Помнишь, каким серьезным всегда был дедушка? А потом, у отца были тогда такие чудные каштановые волосы.

— Ты чувствовала, что из всех мужчин на земле именно он — тот, кто тебе нужен? — спросил я. — Тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, это ошибка и что все последующее будет теперь отклонением от твоей подлинной жизни, как бы движением по касательной?

Она отмахнулась от моего вопроса, как от неповоротливой, но настырной мухи. Ее пальцы были красными от помидорной мякоти.

— Мы тогда не задавались такими глобальны-

ми вопросами, — сказала она. — Разве можно и решать, и обдумывать, и планировать столько всего сразу?

Я услышал, как наверху отец спустил воду в туалете. Через минуту он опять вернется в гостиную для очередной партии в ятзи.

— Как он, как тебе кажется? — спросил я мать.

— По-разному.

— Выглядит он неплохо.

— Это потому, что ты приехал. Рубин говорит, что эмфизема вообще непонятная болезнь. Она может вдруг взять и пройти. Сама собой.

— По-твоему, он выздоравливает?

— Нет. Но это может произойти. Он может начать выздоравливать в любой момент.

— А как ты?

— Я? Меня ничто не берет. Я так хорошо себя чувствую, что даже как-то стыдно.

— Я не о том. Ты хотела устроиться на работу. Помнишь, ты говорила что-то о риэлторской школе.

— Да. Я по-прежнему хочу сходить туда и все выяснить. Но тогда отцу придется целый день сидеть одному. Смешно! Он всегда был таким самостоятельным. Так много времени проводил в своем кинотеатре. Мне казалось, ему нравится

независимость. А теперь, стоит мне задержаться в магазине, он начинает нервничать.

— Думаешь, он стареет?

— Нет. Он просто очень хороший и напуганный, больше ничего. У него никогда не было особой склонности к созерцательной жизни. И сейчас ему нужно, чтобы вокруг него что-то постоянно происходило. Так что я теперь вроде директора турбюро для одного.

Она улыбнулась, весело расширив глаза, но на этот раз в ее усмешке просверкивала ирония, как шелк сквозь оберточную бумагу.

— Для двоих, — сказал я. — Вас двое.

— В некотором смысле.

На следующий день мы с отцом отправились в торговый центр смотреть «Надежду и славу». Мать, заявившая, что она пересмотрела уже достаточно фильмов на этой неделе, осталась возиться на крохотном участке (в саду, как она его называла), засаженном травой, которую требовалось без конца поливать, и цветами с толстыми жесткими стеблями. Когда мы уходили, она как раз собиралась на улицу, наряженная в клетчатые бермуды, выцветшую соломенную шляпу и гигантские садовые перчатки, похожие на лапы Микки Мауса.

Распахнув дверь, отец произнес:

— Вот идет последний фермер-джентльмен.

Мать смерила его особым взглядом, выработанным ею уже после переезда в пустыню: сострадательным, профессионально теплым взглядом добросовестной медсестры.

Мы поехали в кино на «олдсмобиле» отца, огромном, глубоком синем «катлассе», тяжелом и бесшумном, как подлодка. Отец старомодно держал руль обеими руками. Поверх обычных очков он прицепил защитные стеклышки от солнца.

Над нами струилась расплавленная синева. За домами и магазинами миражно дрожали горы. Объезжая мертвого броненосца, отец потряс головой и сказал:

— Разве можно было представить, что будешь жить в пустыне?

— Разве можно представить, что вообще будешь где-то жить? — отозвался я.

— Ну, это для меня слишком заумно, — сказал отец и мимо неоновых ковбоев на лошадях с мигающими ногами въехал на стоянку торгового центра.

В кинозале, кроме нас, сидело еще человека четыре. Будни. Утренний сеанс.

Своим безлюдьем это место напомнило мне

бывший кинотеатр отца. Хотя это была всего лишь средних размеров комната, задрапированная по периметру шафрановым занавесом, тут царили та же печаль и те же запахи: затхлости и попкорна. Пожилая женщина, сидевшая через два ряда впереди нас, обернулась и поглядела, кто это так шумно дышит. Встретив взгляд отца, она быстро отвернулась и поправила сережку.

Мне показалось, что я прочитал ее мысль: *этот долго не протянет.* Может быть, она была вдовой, регулярной посетительницей утренних сеансов. Мне захотелось тронуть ее за толстое плечо и рассказать о моем отце. Чтобы она не думала, что это просто пожилой астматик в нейлоновой тенниске.

Фильм оказался совсем неплохим. А потом мы отправились гулять по торговому центру, представлявшему собой огромное здание с фонтаном и пальмами, макающими в него свои листья. На скамейках рядом с этим центральным оазисом сидели какие-то люди преклонного возраста, а маленький человечек в белом хлопчатобумажном костюме играл им на электрооргане.

— Аризона — штат ходячих мертвецов, — сказал мне отец. Быстренько миновав декоративный грот, мы прошли в секцию товаров от «Монтго-

мери уорд».

На полках стояли проигрыватели, мини-телевизоры, алюминиевые оконные рамы. На лужайке из искусственного дерна были выставлены мощные газонокосилки.

— Хорошая машина, — заметил отец, пробуя ручные тормоза на ярко-красной.

— Я бы купил «Титан», — сказал я, указывая на малиновое чудовище размером с небольшой трактор. — На нем самому можно кататься.

— Сомнительный выбор, — сказал отец. — Ведь эта втрое дешевле.

Мы держались как настоящие покупатели, так что к нам даже подскочил молодой продавец с прической, маскирующей лысину, и принялся расписывать достоинства более дорогой модели. В этот момент мимо нас прошла женщина со специальным рюкзаком, в котором сидели близнецы. У нее были каштановые волосы и маленький острый подбородок. Она была почти красива. В глазах — во всем ее облике — проглядывала глубочайшая усталость, от которой, казалось, ее не мог бы избавить уже никакой отдых. Тем не менее она шла по залитому светом проходу уверенной твердой походкой, придающей вес и смысл всему окружающему. Близнецы

озадаченно глядели прямо перед собой. Наблюдая за ней, я подумал, как прочно укоренена она в этой жизни, несмотря на все свои проблемы и заботы. Через год ее близнецы будут ходить и говорить. Через год она будет точно знать, сколько именно времени прошло.

Она завернула за угол и скрылась в секции «Мебель для сада». Указывая на три чувствительных фотоэлемента, продавец рассказывал о специальных приспособлениях, лишающих косилку всякой возможности оттяпать вам кисть или ступню и потом вернуть ее назад в виде фонтана крови и крошева костей. У него были белые тонкие руки со странно — казалось, болезненно — вывернутыми большими пальцами.

Мы с отцом все внимательно выслушали и обещали подумать. Когда отец, кивая, брал у продавца визитку, я обратил внимание, что он был бледен какой-то особенной восковой бледностью. В жестком искусственном свете «Монтгомери уорд» его волосы казались совсем редкими. Как только продавец завершил наконец свой рекламный рассказ, я поскорее потащил отца в мягкий полусумрак кафе и взял ему стакан бурбона. Объявление, торчащее из ведра с пластмассовыми тюльпанами, приглашало «ранних пташек» на

специально организованную для них распродажу. Кроме нас, в баре никого не было.

— Словоохотливый юноша, — сказал отец, отхлебнув бурбона. — Только есть ли смысл переплачивать за громоздкость? Меньше чем за сотню долларов тебе сделают косилку на заказ.

— Все равно у меня нет газона, — сказал я.

— Когда-нибудь будет, а ты уже будешь в курсе дела.

— Если у меня действительно когда-нибудь будет свой газон, мы с тобой устроим целенаправленный поход за косилкой.

— Меня в этот момент может не оказаться поблизости, — сказал отец. — Так что уж лучше я поделюсь с тобой необходимыми сведениями прямо сейчас.

— Послушай, — сказал я. — Я не уверен, что я в принципе «газонный» человек. У меня нет ни одного растения. У меня даже автомобиля нет.

— Мой «олдсмобиль» и сорока тысяч не набегал, — сказал он. — Думаю, что он будет еще в приличном состоянии, когда перейдет к тебе.

— Я не говорю, что мне нужна машина. Дело не в том, что мне ее не хватает. В Нью-Йорке вообще ни у кого нет машины. А в случае чего я вполне могу позволить себе такси.

— Скажи, как тебе там живется? Ты счастлив? — спросил он.

— Да. То есть мне кажется, что да. Вполне.

— Остальное меня не волнует. Можешь устроить из «олдсмобиля» кормушку для птиц, если захочешь. Мне важно одно: чтобы ты был счастлив.

Я вздохнул и вдруг впервые за много месяцев почувствовал себя невероятно, почти неприлично здоровым. Большую часть своей жизни я ждал, что он выскажет более конкретные и реалистичные пожелания, нежели эта его единственная и всепоглощающая мечта о моем ежесекундном счастье.

— Прости, пожалуйста, — сказал я. — Мне нужно в туалет.

— Я жду тебя здесь.

Туалетные комнаты находились около самого входа, рядом с кассами. Подойдя туда, я увидел, что могу незаметно для отца выйти из кафе, и немедленно сделал это, просто потому, что представилась такая возможность. Распахнув двери с тонированными стеклами, я вновь вступил в залитое резким светом пространство торгового центра. Какое-то время я моргал, заново привыкая к этой ослепительной яркости. За спиной я

услышал вздох закрывающейся двери. Когда она захлопнулась, меня охватило чувство сумасшедшей, головокружительной свободы. Я прошел через зал и вышел на улицу. На автостоянке было полным-полно семейных пар, только что отпущенных с работы, — послеобеденное солнце золотило ветровые стекла и радиоантенны их автомобилей. Это был осенний свет, начисто лишенный даже намека на осеннюю прохладу. Не имея никакого конкретного плана действий, я пошел вдоль западного края стоянки по направлению к зарослям юкки, отделявшим стоянку от шоссе. По другую сторону шоссе были разбросаны передвижные домики, а за ними простиралась огромная усеянная кактусами безлюдная земля, неравномерно обрамленная красными горами. Я решил перейти дорогу и углубиться в пустыню. Я не думал ни о том, зачем я это делаю, ни о том, что из этого может выйти. Впервые в жизни я почувствовал, что можно просто так взять и уйти — от смерти отца, ироничного одиночества матери, собственного неясного будущего. Можно под новым именем устроиться на какую-нибудь работу, снять комнату и гулять по бульварам незнакомого города, не испытывая ни страха, ни смущения. Какое-то время я стоял, разглядывая пустыню.

Мимо меня по шоссе проносились машины.

Меня позвал отец, точнее сказать, мысль о его растущем беспокойстве. Не то чтобы я ужаснулся, представив, как он, обыскав пустой туалет, обойдя «Уордс» и «Сиерс», обращается наконец в полицию. Все это само по себе было не так уж страшно. Невыносимым было сознание того, что вот сейчас он со своим недопитым бурбоном одиноко сидит в кафе, начиная догадываться, что что-то не так. Я бегом пересек стоянку и вынужден был минуту постоять перед дверью, чтобы успокоить дыхание.

Когда я вернулся за столик, он сказал:

— С тобой все в порядке? А то я уже собирался отправляться на поиски.

— Все в порядке, — сказал я. — Небольшое желудочное расстройство.

— Выглядишь ты неважно, — сказал он. — Может, вернемся домой?

— Нет. Все нормально. Наверное, я просто не привык пить днем.

Официантка, женщина моих лет, скрывающая плохую кожу под толстым слоем пудры, громко расхохоталась какой-то шутке бармена. И он и она курили. Бармен, человек лет сорока, был похож на веселого дружелюбного терьера. Его

темный силуэт парил в задымленном стекле бара, как замороженное тело в глыбе льда. На полке над подсвеченными рядами бутылок маленькие пластмассовые тяжеловозы тянули по вечному кругу игрушечную повозку с пивом.

Вечером после ужина, когда отец вытащил «Скрэбл», я предложил вместо этого прогуляться.

— А тут некуда идти, — сказал он. — Вокруг одни дома.

— Пойди пройдись, Нед, — сказала мать. — Рубин говорил, что небольшие нагрузки тебе только на пользу.

— Ненадолго, — сказал я. — На десять минут.

Отец стоял посреди комнаты. Я слышал сухой наждачный звук его дыхания.

— Хорошо, — сказал он. — Но от «Скрэбла» тебе все равно не отвертеться.

— Я только забегу в туалет, — сказал я. — Я сейчас.

— Известно ли тебе, — обратился отец к матери, — что этот парень в основном проводит время в сортире?

— Мне уже двадцать семь лет, — отозвался я. — Мне больше, чем было тебе, когда ты познакомился с мамой.

В туалете, оклеенном обоями с оранжевыми

розочками, я побрызгал себе в лицо холодной водой. Я просто немного постоял там под тихое гудение флюоресцентной панели. Я не смотрелся в зеркало. Вместо этого я разглядывал стройные шеренги роз — каждый цветок на отдельном стебле с одиноким тускло-коричневым листком.

Когда мне было девятнадцать лет, я носил на шее нитку жемчуга, а на правом плече мне вытатуировали дракона. Не поставив в известность родителей, я на семестр оставил Нью-Йоркский университет и истратил деньги, выданные мне на учебу, на курсы барменов. Я думал тогда, что действительно сумею превратиться в человека, способного на такое. И вот теперь я стоял в туалете родительского дома в Финиксе, не зная, что делать с собственным отцом — ни живым, ни мертвым. Я никогда не думал, что окажусь в такой тривиальной ситуации. Я простоял в туалете столько, сколько было возможно, чтобы сохранилась хотя бы видимость правдоподобия. В качестве объяснения я спустил воду два раза.

— Ты уверен, что действительно хочешь гулять? — спросил меня отец, когда я наконец вернулся в гостиную.

— Абсолютно, — сказал я. — Пошли.

Был ясный аризонский вечер с сумасшедшим

количеством звезд. Когда мы вышли на улицу, отец спросил:

— Куда пойдем? И там ничего, и тут ничего.

— Тогда налево.

Мы повернули налево. По обеим сторонам дороги уютно светились дома пергаментного цвета. Отец начал негромко напевать «Give My Regards to Broadway»,[35] и я подхватил. Когда мы прошли пару кварталов, я спросил:

— Если срезать между этими домами, то выйдешь в пустыню, да?

— В пустыне змеи, — сказал отец. — И скорпионы.

То, что Нед Главер, бывший владелец кинотеатрав Огайо, живет теперь среди змей и скорпионов, показалось мне настолько нелепым, что я невольно расхохотался. По-видимому, отец подумал, что меня рассмешила его осторожность.

— Ну, надеюсь, — сказал он, — что у тебя ботинки на хорошей толстой подошве.

И пошел между домами к пустыне.

Я остановился, размышляя над его словами о змеях. Пройдя несколько метров, он обернулся, поманил меня за собой и зашагал дальше. Когда

---

[35] Примечания: 35

«Передай от меня привет Бродвею» *(англ.).*

он вышел из тени домов в звездный простор пустыни, налетевший ветер взъерошил его волосы. Как будто он вышел из туннеля. Я потрусил за ним, то и дело поглядывая под ноги.

— Тут что, правда водятся змеи? — спросил я.

— Кроме шуток. Гремучие. Миссис Коен через два дома от нас недавно обнаружила змею, утонувшую в ее джакузи.

Мы вместе ступили в пустыню. Земля была неестественно ровной и гладкой, как в кинопавильоне, там и сям торчали черные, похожие на маленькие взрывы звездчатые кусты юкки. Впереди поднимался горный хребет с четко прорисованными срезанными вершинами. В глубокой тени у его подножья светились какие-то бледные огоньки — костры отшельников? призраки индейцев Навахо? лагерь пришельцев из космоса?

— Красивый вечер, — сказал отец.

— Да. Папа!

— Что?

— Ничего.

Я боялся, что у нас остается совсем мало времени. Всегда молчаливо предполагая, что отец умрет раньше меня, я отодвигал это событие в неопределенное будущее, когда я помудрею,

выработаю характер, пущу хоть какие-то корни. И вдруг — казалось, это произошло буквально в одночасье — он стал сдавать с какой-то непредставимой быстротой, да и у меня самого, возможно, должны были вот-вот проявиться первые симптомы болезни. Я хотел задать ему несколько важных вопросов, но не мог решиться сделать это в доме, «олдсмобиле» или торговом центре. Я надеялся, что сумею выговорить их здесь, под звездами.

— Язык проглотил? — спросил он.

— Что-то в этом роде.

Я все еще пытался играть роль собственного антипода — гордого, независимого сына, способного на равных говорить с отцом о своих последних тайнах. Я хотел, чтобы он наконец *увидел* меня. До сих пор я ждал, пока я как-то определюсь в жизни, чтобы предстать перед ним в понятном ему образе «счастливого человека».

— Я все думаю об этой газонокосилке, — сказал он.

— Да?

— Стоящая вещь. Может быть, я завтра все-таки съезжу куплю ее. Пусть пока постоит у нас.

— А сам-то ты будешь ею пользоваться?

— Я? Что здесь косить? Мой сад камней? Но ведь

у нас есть этот огромный гараж на две машины, так что места хватит.

— То есть ты хочешь сказать, что, когда у меня лет через десять-двадцать будет собственный газон — что еще, кстати, далеко не факт, — я приеду сюда за этой устаревшей косилкой?

— Вещи становятся все хуже и хуже, — ответил он. — Знаешь, сколько отдала бы мама, чтобы снова иметь свой старенький «хувер»? Такого пылесоса, сегодня ни за какие деньги не купишь. Теперь все из пластика.

— Ты это серьезно? — спросил я.

— Конечно серьезно. Рано или поздно все, что есть в этом доме, в любом случае перейдет к тебе. Почему бы тебе не унаследовать качественную газонокосилку, когда в магазинах будут продаваться только сделанные из резины?

— Мне не нужна газонокосилка, — сказал я. — Честное слово. Спасибо за предложение.

— Ну, может, я все равно ее куплю, — сказал он. — Пусть будет. А если она тебе не понадобится, отдашь ее в Армию спасения или еще куда-нибудь.

— Папа, мне не нужна косилка, — сказал я.

— Поживем — увидим.

— Мне не нужны ни электродрель, ни мик-

роволновая печь, ни «меркурий седан», ни абонемент на бейсбольные матчи, ни «рототилер», ни спиннинг, ни термос, сохраняющий кофе горячим с утра до вечера.

— Ну-ну, — сказал он. — Что это ты так разнервничался?

— Мне нужно одно — понять, в чем дело. Почему у меня ничего не выходит в жизни?

Его лицо закрылось. Лицевые мускулы напряглись. Знакомое выражение! Так бывало всегда, когда он сталкивался с чем-то неприемлемым или необъяснимым. Его лицо съеживалось и как будто заострялось. Как если бы он пытался заглянуть в замочную скважину с расстояния в несколько метров.

— Все образуется, — сказал он. — Ты еще молод. Пройдет какое-то время, и все образуется.

— Отчего так? Может быть, ты знаешь. Наверное, было что-то такое, чего я не помню. У меня нормальная работа, личная жизнь, друзья. Почему же я чувствую себя таким потерянным и одиноким? Почему я чувствую себя неудачником? Может быть, ты что-то сделал со мной? Я не стану тебя за это ненавидеть. Я просто хочу знать.

Он ответил не сразу — сначала глотнул воздуха.

Его лицо продолжало сжиматься.

— Я любил тебя, — сказал он. — Я много работал. Не знаю. Наверное, я делал что-то не так. Мы с мамой заботились о тебе, как умели.

— Да, я знаю, что вы заботились обо мне, — сказал я. — Я знаю. Но почему же тогда у меня все валится из рук?

— Это неправда, — сказал он, — то есть, если у тебя есть какие-то проблемы…

— Ты можешь ответить на мой вопрос?

— Я не знаю.

Слегка приоткрыв рот, он не мигая уставился в одну точку. О чем он подумал? Что-то было, не могло не быть — раздражение из-за того, что я никак не мог перестать плакать, короткая вспышка ревности. Непроизвольный сбой, обычная мимолетная неспособность к любви, которая на самом деле ничего не объясняла.

Какое-то время мы молчали, что было для нас нехарактерно. Обычно мы с отцом избегали пауз. Мы оба — и отец и я — умели окружить себя беседой, играми, отрывками песен. По звездному небу скользнул серповидный силуэт ястреба. Пустая жестянка от «7-Up» блеснула в лунном свете, как жемчужина.

— Папа, послушай, — сказал я.

Он молчал, и только тут я заметил, что он пытается и никак не может вздохнуть.

— Папа! — сказал я. — Что с тобой?

Его лицо посерело, глаза неестественно расширились. Он старался сделать глоток воздуха. Он был похож на удивленную рыбу, выброшенную из воды в безжалостное безвоздушное пространство слепящего света.

— Папа! Ты можешь говорить?

Он отрицательно покачал головой. У меня мелькнула мысль о бегстве. Я мог убежать и все отрицать потом. Никто бы ни в чем меня не заподозрил.

— Папа, — сказал я беспомощно. — Папа, что мне делать?

Он махнул рукой, чтобы я подошел ближе. Я обхватил его за плечи, вдыхая его одеколонный запах, не изменившийся с моего детства. Его легкие издавали скрипучий звук — как будто кто-то с остервенением тер воздушный шар.

Осторожно, словно он был фарфоровым, я помог ему сесть. И сам опустился рядом с ним на меловую землю.

Вот оно, подумал я. Смерть отца. И я ничего не могу сделать, я даже не знаю, где его похоронить. Я гладил его поредевшие волосы, послужившие

когда-то достаточным аргументом для женитьбы.

Я открыл рот, чтобы что-то сказать, и понял, что сказать нечего. В голову не приходило ничего, кроме расхожих клише у одра умирающего, которые мог бы предложить любой незнакомец. Тем не менее я их произнес, просто чтобы не молчать.

— Все нормально, — сказал я. — Все будет нормально.

Отвечать он не мог. Его лицо потемнело и как бы увеличилось от усилия вздохнуть.

— Не беспокойся о маме и обо мне, — сказал я. — С нами все будет нормально. Все хорошо. Правда, все хорошо.

Я не был уверен, что он меня слышит. Он весь обратился внутрь, целиком сосредоточившись на работе легких. Я продолжал гладить его по голове и по плечам. Я продолжал убеждать его, что все будет нормально.

И через какое-то время он пришел в себя. Ему удалось заглотнуть воздух, и его лицо мало-помалу утратило свое паническое выражение. Мы сидели рядом в пыли. Его легкие, ставшие тонкими, как сырная пленка, каким-то образом опять заработали, обеспечивая доступ кислорода.

Наконец он смог выговорить:

— Похоже, я перенапрягся. Немного перегулял.

— Тебе, наверное, лучше подождать здесь, — сказал я. — Я сбегаю позову кого-нибудь на помощь.

Он потряс головой.

— Не нужно. Я дойду. Просто пойдем помедленнее, хорошо?

— Конечно, конечно. Папа, прости.

— За что?

Я помог ему подняться на ноги, и мы медленно пошли обратно. Дорога домой заняла у нас больше часа, хотя сюда мы добрались меньше чем за двадцать минут. Над нами падали звезды.

Когда мне было пятнадцать лет, мы с отцом поехали за покупками в Чикаго и на обратном пути попали в грозу. Дождь лил как из ведра. Небо потемнело и приобрело зеленовато-серый оттенок, предвещающий торнадо. В какой-то момент двигаться вперед стало просто невозможно, и мы свернули на площадку для отдыха у грязноватого озера, за которым тянулось широкое зеленое поле ячменя. Дождь яростно барабанил по крыше и капоту. Мы молчали, время от времени прочищая горло, пока вспышка молнии не выхватила из темноты желтовато-серую поверхность озера.

И тогда мы начали хохотать. Как будто молния была ударной концовкой искусно закрученного анекдота. Отсмеявшись, мы заговорили о моем будущем, о том, не завести ли нам новую собаку, и о десятке наших любимых кинофильмов. Когда дождь кончился, мы поехали домой, опустив стекла и включив радио. Потом мы узнали, что смерч и вправду пронесся совсем близко от места нашей стоянки, повалив водонапорную башню и разрушив адвентистское кладбище.

Сейчас мы еле-еле брели по ночной бледно-голубой пустыне.

— Папа, — сказал я.

— Да, сынок?

— Может быть, сходим завтра в кино. Я слышал, «Лунатик» вроде бы ничего.

— Прекрасно. Ты меня знаешь. Я всегда рад сходить в кино.

Я улавливал негромкое, неумолчное стрекотание неведомых насекомых — сухой вибрирующий звук, наверное, похожий на тот, что, вращаясь, производит сама Земля, и притихни мы все хоть на мгновение, мы бы его услышали. Светились окна жилого комплекса. Совсем близко, но до них нельзя было дотянуться — для этого они были какими-то слишком реальными. Они

были похожи на дыры, проделанные в темноте, чтобы пропускать свет из другого, более одушевленного мира. На какой-то миг я ощутил, что значит быть привидением: вот так же — только вечно — брести сквозь невероятную тишину, чувствуя близость, но так и не достигая никогда огней родного дома.

Клэр

«Обычный визит к родителям. Чувство вины и походы в кино. Они теперь живут в пуэбло» — вот все, что он рассказал, вернувшись в Нью-Йорк. Но после этой поездки Джонатан как-то притих, стал более замкнутым, часто недоговаривал начатой фразы. Дверь в его комнату теперь всегда была плотно закрыта. В марте он объявил, что съезжает.

— Почему? — спросила я.

— Потому что хочу жить свою жизнь, — ответил он.

А когда я спросила, чем, по его мнению, он занят в данный момент, он ответил:

— Жду отмененного рейса.

Было утро. Утро одного из тех подслеповато-слякотных мартовских дней, которые прибывают

один за другим, словно кто-то разматывает бесконечную катушку. Джонатан смотрел в окно. Произнося слово «рейс», он печально-манерным движением кончиками пальцев смахнул волосы со лба.

— Солнышко, — сказала я, — ты не мог бы изъясняться понятнее?

Он вздохнул. Он не хотел говорить прямо. С выражением радости, участия и теплоты проблем у него не было. Тут он вполне обходился собственным голосом. Но для проявления недовольства или грусти ему требовалась маска. Я видела, как он возмущается в широкоглазой, полыхающей манере Бетти Дейвис; видела, как он смущается, уставившись в пол и сжав кулаки, как беспризорный мальчишка.

Это меланхоличное гляденье в окно и приглаживание волос было чем-то новеньким.

— Ну, — сказала я, — говори.

Он повернулся в мою сторону.

— Жизнь, к которой я себя готовил, отменена, — заявил он. — Я думал, что можно оставаться свободным и любить сразу многих. В том числе вас с Бобби.

— Все правильно. Так оно и есть.

— Нет. Наступает новая эра. Все женятся.

— Только не я. Спасибо.

— Ты тоже. Ты теперь с Бобби. И мне нужно найти кого-то, тем более что, может быть, у меня не так много времени. Клэр, не исключено, что я болен.

— Ты не болен, — сказала я после короткой паузы.

— Ты-то откуда знаешь? Это иногда годами не проявляется.

— Джонатан, милый, по-моему, ты сейчас переигрываешь.

— Ты думаешь?

— Да. С тобой все в порядке. Я чувствую. Ты абсолютно здоров. Не надо никуда переезжать, ты разрушишь семью.

— Семья — это ты и Бобби, — сказал он. — Третьему тут делать нечего.

И он опять отвернулся к окну, за которым на другой стороне воздушного колодца молодая пуэрториканка развешивала выстиранные детские шорты и черные мужские носки.

В ближайшее время я должна была забеременеть. Я перестала предохраняться, не сказав об этом ни Бобби, ни Джонатану. Наверное, потому, что мне было стыдно. Мне не хотелось действовать слишком расчетливо, ни тем более

исподтишка. На самом деле я хотела бы забеременеть случайно. Непредвиденный недостаток современной жизни в том, что мы теперь обладаем несравненно большими возможностями по контролю над своей судьбой. Сегодня мы почти всё должны решать сами, будучи исчерпывающим образом информированы о возможных последствиях. В другие времена я родила бы уже в двадцать с небольшим, как только вышла замуж за Денни. Я стала бы матерью словно поневоле. Не взвешивая последствий. Но мы с Денни сначала были слишком благоразумными — мы жили на проценты с моего вклада, и, кроме того, у него были большие амбиции, — а потом слишком недовольными друг другом, чтобы заводить ребенка. Однажды я действительно забеременела от одного артиста из Деннины танцевальной группы, долго уверявшего меня, что он голубой. Но я приняла меры. В молодости стараешься избавляться от всего лишнего. Стараешься быть изящной и ничем не обремененной, стараешься сохранить возможность путешествовать.

Теперь мне хотелось ребенка, и я мечтала растить его с Джонатаном. Мы могли бы образовать новую свободную семью с дядями и тетями по всему городу. Но я не могла заставить себя поде-

литься своими планами. В моей пьесе это должно было произойти случайно.

Чтобы подбодрить Джонатана, я уговорила его пригласить к нам Эрика. Джонатан долго отнекивался. Пришлось брать его измором. На это ушло больше недели. Но я не сдалась, поскольку считала, что это действительно важно. По моим представлениям, чуть ли не все проблемы Джонатана коренились в том, что он разделил свою жизнь на слишком большое количество отдельных секторов. У него была его работа и его жизнь со мной и Бобби. Было несколько друзей из колледжа, была беспорядочная сексуальная жизнь с незнакомцами и продолжающаяся связь с человеком, которого ни Бобби, ни я никогда не видели. Мне казалось, что ему необходимо иметь в жизни больше точек пересечения.

— Почему бы тебе не пригласить Эрика к нам на обед? — спросила я его как-то пасмурным утром, которое, как ни старалось, никак не могло разродиться дождем. — Ты что, нас стесняешься?

На мне был халат из розовой шенили; волосы забраны наверх и подвязаны платком с зебровым узором. Я на миг почувствовала себя чьей-то сварливой женой — руки, сжатые в кулаки, уперты в костлявые бедра. Не слишком привлекательная

картинка. Но по крайней мере такая женщина твердо знает, чего хочет. Сомнения не вьются вокруг нее, как назойливые мухи.

— Нет, конечно, — сказал Джонатан. — Я уже тебе говорил. Просто Эрик не сочетается с Хендерсонами.

Я собирался на работу. Он стоял в одном ботинке, отхлебывая кофе. Бобби делал ему бутерброд с маслом.

— А мы не позовем Хендерсонов, — сказала я. — Посидим вчетвером. Обычные люди, слишком озабоченные собственным несовершенством, чтобы замечать чье-то еще.

— У нас с ним не такие отношения, — сказал Джонатан.

— В каком смысле «не такие»?

— Ну, «приходи, познакомишься с моими друзьями». Ничего хорошего из этого не выйдет. Всем будет только неловко.

— Откуда ты знаешь? Ведь ты ни разу не пробовал. Солнышко, все эти пограничные заслоны существуют только в твоей голове.

Бобби подал Джонатану бутерброд и любовно шлепнул меня по крестцу. Я с ужасом подумала о нашей совместной жизни — вот так день за днем, вечер за вечером…

— Может, ты и права, — сказал Джонатан. — Но сейчас я опаздываю. Прости.

Я вышла за ним в прихожую.

— Мы не будем открывать ему твои тайны, — сказала я. — Не будем отпускать идиотские шутки и показывать слайды, сделанные во время нашей последней прогулки в Национальном парке.

И в конце концов я его добила. Умение настоять на своем, пусть даже практически в каждом конкретном случае приносящее свои временные плоды, едва ли можно было причислить к списку моих достоинств, хотя бы потому, что у меня не хватало терпения развивать достигнутый успех. Моя настойчивость вынудила меня, несмотря на все разумные доводы против такого шага, выйти замуж за мессианского танцора, а потом — завести роман со знаменитой женщиной, пообещавшей освободить меня от склонности к самоедству. Моя способность добиваться своего привела к тому, что я перепродавала поношенную одежду, посещала парикмахерские курсы, занялась буддизмом и современными танцами. Наверное, сходные трудности испытывают бульдоги. Схватив быка за хвост или за ухо, они ошибочно полагают, что дело сделано.

Эрик пришел к нам в пятницу вечером. Мы с

Бобби приготовили легкий хрустящий ужин по тогдашней моде: спагетти со свежей зеленью, жареный цыпленок, овощи с трех континентов. Нам хотелось произвести впечатление. Готовя, мы болтали об Эрике.

— Наверное, — сказала я, — он задумчивый, молчаливый и неуравновешенный. О таких вслух говорят «трудный человек», а про себя думают «редкий придурок».

— По-твоему, Джонатан мог польститься на такого? — спросил Бобби.

— По-моему, мог, — сказала я, — не забывай, что он его от всех прятал.

Мы с Бобби трудились спина к спине. Он нарезал кубиками желтый перец, я мыла салат. Кое-как мы освоились в этой тесной кухоньке, наловчившись синхронизировать свои движения.

— Угу, — сказал он. — Может, ты и права. Мне кажется, он криминальный тип.

— Криминальный? Серьезно?

— Ну, не убийца. Не какой-то кровожадный монстр. А что-нибудь вроде торговца наркотиками. Понимаешь, да? Так, по мелочи.

— Но ведь он актер, — сказала я. — Это-то нам известно.

— А я не сомневаюсь, что большинство этих

ребят подторговывают наркотиками. Разве нет? А на что, по-твоему, они живут?

— Ну а как, тебе кажется, он выглядит?

— Темные волосы. Не красавец, но типа «интересный». Как бы такой опрятный хип. Мне кажется, у него хвостик.

— Мм… По-моему, он еще очень молод. Знаешь, из таких накрахмаленных блондинов со Среднего Запада, которые кончают тем, что рекламируют зубную пасту.

— Увидим, — сказал Бобби.

И через полчаса мы действительно увидели.

Джонатан и Эрик приехали вместе. С желтыми парниковыми тюльпанами и бутылкой красного вина. Джонатан пропустил Эрика вперед, а сам замешкался в дверях, словно собираясь улизнуть.

Эрик пожал руку сначала мне, потом Бобби.

— Очень рад, — сказал он.

Он был худым, лысоватым, в джинсах и синей тенниске от Ральфа Лорана — с вышитым красным пони на груди.

— Эрик, — сказала я. — Человек-загадка.

Его высокий лоб потемнел. У него было угловатое лицо с маленьким треугольным подбородком, остреньким носом и небольшими яркими близко посаженными глазами. Скомканное, перепу-

ганное лицо человека, зажатого между дверями лифта. Он кивнул.

— На самом деле ничего загадочного во мне нет, — сказал он. — Совсем ничего. Жаль, что мы не познакомились раньше. Я… в общем, я действительно очень рад, что мы наконец встретились.

Он рассмеялся — резкий болезненный выдох, как будто его ударили в живот.

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросила я.

Он сказал, что выпил бы минералки, и Джонатан бросился к холодильнику. Мы расположились в гостиной.

— Хорошая квартира, — сказал Эрик.

— Вообще-то этот дом — настоящий притон, — сказала я. — Но спасибо. Надеюсь, тебе не пришлось перешагивать через трупы в подъезде, нет?

— Нет… — сказал он. — Нет. А что? Здесь такое случается?

По его тону трудно было сказать, какое впечатление произвела на него эта информация. Голос у него был из таких — бодрых, нечитаемых.

— Последнее время нет, — сказала я. — Стало быть, ты актер?

— Да. Впрочем, я уже и сам не знаю. В данный

момент я скорее что-то вроде бармена. А чем ты занимаешься?

Он устроился в кресле, которое я притащила когда-то с Первой авеню, — старое чудовище с высокой спинкой, обтянутое зеленой парчой. Он сел так, чтобы занять как можно меньше места, положив ногу на ногу и обхватив колено сцепленными руками.

— Я старьевщица, — сказала я. — Делаю сережки из всякого хлама.

Он кивнул.

— И тебя это кормит?

— В какой-то степени.

Я никогда не рассказывала незнакомым о своем банковском счете. Иметь незаработанные деньги в то время, как другие выбиваются из сил, чтобы вовремя заплатить за квартиру, казалось чем-то аморальным. И хотя я никогда особенно не бездельничала, мне все-таки не приходилось работать на износ, как тем, кто вынужден жить исключительно на собственные доходы.

У меня вдруг возникло смутное чувство, что я проговорилась. Эрик был похож на подсадную утку из ЦРУ. Из тех, кто практически не скрывается; все сами выдают им свои маленькие секреты из чувства психологического дискомфорта.

Джонатан принес напитки.

— За раскрытую тайну! — провозгласила я, и мы выпили за это.

— Ты какую музыку больше любишь? — спросил Эрика Бобби. Эрик моргнул.

— Я? — сказал он. — Разную.

— Тогда я поставлю что-нибудь, хорошо? — сказал Бобби. — Будут какие-нибудь заказы?

— Надо посмотреть, что у вас есть, — сказал Эрик. И с неожиданным изяществом выпрыгнул из нашего продавленного кресла и вместе с Бобби направился к кассетнику.

У нас с Джонатаном появилась возможность обменяться взглядами.

— Я тебя предупреждал, — прошептал он одними губами. Бобби присел на корточки перед полками с кассетами.

— У нас, в общем-то, тут всего понемножку, — сказал он. — По всему спектру.

— Я вижу, у вас есть Колтрейн, — сказал Эрик. — О, у вас есть «Дорз»!

— Ты любишь «Дорз»? — спросил Бобби.

— Когда я был помоложе, — сказал Эрик, — я хотел быть Джимом Моррисоном. Я выходил на задний двор и отрабатывал все его жесты. Каждый день. Так, чтобы даже движения губ

совпадали. Но потом я понял, что мне не хватает самого главного.

Он рассмеялся — опять тот же пугающе резкий выдох.

— Ну, тогда давай его и поставим, — сказал Бобби и воткнул кассету в плейер.

— А Боб Дилан тебе нравится? — спросил он у Эрика.

— Конечно. Им я тоже хотел быть.

— Я привез из Огайо немножко пластинок, — сказал Бобби. — Среди них есть даже довольно редкие. А Хендрикса ты любишь?

— Еще бы! Лучше него вообще никого не было.

— Некоторые пластинки дублируются на кассетах. Но некоторых уже нигде не достанешь. Хочешь посмотреть?

— Да. Конечно. Конечно хочу.

— Мы их не слушаем, — сказал Бобби. — У нас тут нет проигрывателя. Надо купить. Хоть они и выходят из моды.

— У меня есть проигрыватель, — сказал Эрик. — Если хочешь, можешь зайти как-нибудь и послушать свои пластинки у меня. Если хочешь, конечно.

— Здорово! Отлично! Пойдем. Пластинки в другой комнате.

— Вы на нас не обидитесь? Мы на минутку, — обратился Эрик к нам с Джонатаном.

И вдруг я поняла, каким он был лет в восемь-девять: услужливый, чрезмерно восторженный, глаза на мокром месте — загадка для родителей.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказала я.

— Похоже, дети подружились, — шепнула я Джонатану, когда они вышли. Он покачал головой.

— Я тебе говорил, что это будет катастрофа. Ты меня не послушала.

— Чушь! Никакая это не катастрофа. Бобби уже в него влюбился.

— А ты, конечно, думаешь, что он прохвост и зануда.

— Ничего я не думаю! Я с ним и пяти минут не знакома.

— Вполне достаточно. Ничего более интересного ты не увидишь. Единственный способ узнать его получше — это с ним переспать.

— Непонятно, зачем ты с ним встречался все эти годы, если он тебе так активно не нравится?

— Секс, — отозвался Джонатан. — Плюс мое безумие. Наверное, я даже люблю его в некотором неромантическом смысле. Просто мне никогда не хотелось смешивать мои отношения с ним с

остальной жизнью, и я был прав.

— Ты странный человек, — сказала я.

— Неужели?!

Когда Бобби с Эриком вернулись в гостиную, я предложила взять бокалы и подняться на крышу посмотреть закат. Паузы на этой вечеринке были недопустимы. Темп нельзя было терять ни при каких обстоятельствах. Вечер был не по-мартовски теплым, что могло быть вызвано одним из двух: либо ранней весной, либо воздействием на климат ядерных испытаний.

Все согласились. Впрочем, Бобби и Эрик без большого энтузиазма. Я понимала почему. Если мы полезем на крышу, они не смогут послушать вторую сторону «Strange Days».

— Мальчики, — сказала я. — Музыка от нас никуда не денется. Мы ее опять включим, как только вернемся.

И сама поразилась своему взрослому тону. Настоящая мамаша!

Мы вылезли на крышу — гудроновое плато, ограниченное зубчатым бетонным парапетом. На горизонте в районе Нью-Джерси опускалось оранжевое солнце. Телеантенны отбрасывали свои тонкие, птичьи тени. Окна небоскребов верхнего города отливали бронзой и янтарем.

Над Бруклином, вбирая в себя последние отсветы дня, висело толстое розоватое облако. Каждая его линия, каждый завиток были невероятно четкими, словно вырезанными из кости. Из открытого окна дома напротив вырывались гофрированные занавески и латиноамериканская музыка. Мы стояли лицом на запад, отбрасывая десятиметровые тени.

— Красиво, — сказал Джонатан. — Как только начнешь подумывать о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше от цивилизации, город обязательно выкинет что-нибудь в этом роде.

— Обожаю крышу, — сказала я.

И вновь поразилась своему тону. И когда только я успела превратиться в такую матрону?

— В моем районе такой музыки не услышишь, — сказал Эрик. — В смысле, всей этой мексиканщины.

— Мне она, в общем-то, нравится, — сказал Бобби.

— Мне тоже, — отозвался Эрик.

Бобби повел в такт музыке бедрами и начал танцевать.

Наблюдая за этим добродушным увальнем в течение дня, я невольно забывала о его танцевальных талантах. Это было одним из его

сюрпризов. Стоило зазвучать музыке, в его движениях появлялось что-то удивительно грациозное, он становился невесомым, бесплотным, как бы растворяясь в звоне гитары или рыданиях трубы. На пластинке женский голос под аккомпанемент трещоток и гитар по-испански исполнял что-то бесстыдно-сладострастное. Бобби, любивший всякую музыку, и плохую и хорошую, без разбора, танцевал в лучах заходящего солнца.

Эрик покосился на нас с Джонатаном. Я угадала ход его мыслей.

— Вперед, — сказала я.

И, смущенно улыбаясь, он тоже начал танцевать.

И хотя танцевал он гораздо хуже Бобби, его ноги не сбивались с такта, и он вполне умело подергивал руками. Бобби повернулся к нему лицом. Темнело. С неба исчезли последние полоски голубизны, и на расширяющемся фиолетовом фоне в восточной части проступила первая бледная звезда.

Мы с Джонатаном наблюдали за ними с бокалами в руках.

— Я не собираюсь играть роль дуэньи на этом балу. А ты? — сказал Джонатан.

— Пожалуй, нет, — ответила я.

Джонатан поставил бокал на парапет и присоединился к Бобби и Эрику. Он был сдержанным, но элегантным танцором. Он двигался внутри строго очерченного небольшого пространства, не нарушая его незримых границ. Я смотрела.

На какой-то миг, всего лишь на миг, я почувствовала себя брошенной. Я как бы увидела себя чужими глазами, в тающем закатном свете — стареющую, в ярко-алом платье с барахолки, наблюдающую за танцующими молодыми людьми. Это был не обычный момент. И все-таки мне показалось, что когда-то такое со мной уже было.

Чтобы вернуться к реальности, я тоже начала танцевать.

А что еще мне оставалось делать? Мои туфли на каблуках, соприкасаясь с гудроном, издавали негромкий чмокающий звук, и в конце концов я их скинула.

— Ладно, — сказал Джонатан. — «Вестсайдская история». Ария на крыше. Все готовы?

— Как начинается? — спросила я.

— Сейчас… I like to be in America.

— O'kay by me in America.

— Everything free in America!

— For a small fee in America.[36]

Мы орали и хлопали в ладоши. Когда мы допели, я сделала подряд три идеальных колеса. Последний раз я проделывала такое по меньшей мере лет пятнадцать назад. Но все получилось: мои ноги мелькнули в воздухе как ножницы.

— Я когда-то собиралась стать лидером группы поддержки, — сказала я. — До того, как решила просто отправиться ко всем чертям.

Что-то нашло на всех нас на этой крыше. Я вспомнила мои детские ощущения, когда игра достигала своей кульминации, Бобби расстегнул рубашку, и она пузырилась на ветру. Мы все танцевали, не щадя сил, как артисты бродвейского мюзик-холла — с прыжками и вращениями. Когда оборвалась мексиканская музыка, мы начали петь. Мы исполнили, что смогли вспомнить, из арии «Ракет» и «Officer Krupke».[37] Мы пропели от начала до конца «Hair».[38]

— Мой брат, — сказал Бобби, — ставил эту

---

[36] Примечания: 36

Мне нравится быть в Америке. Мне хорошо в Америке. Все бесплатно в Америке. За небольшую плату в Америке *(англ.).*

[37] Примечания: 37

«Офицер Крупке» *(англ.).*

[38] Примечания: 38

«Волосы» *(англ.).*

пластинку по десять раз в день. Пока мать ее не выкинула. Тогда он пошел и купил еще одну. После чего мать выбросила проигрыватель.

— Моя двоюродная сестра играла в «Hair», — сказала я. — Пару лет назад во Флориде.

Мы спели несколько вещей из «South Pacific»[39] и все, что нам удалось вспомнить из «Моей прекрасной леди». Мы танцевали под аккомпанемент собственных голосов. Выбившись из сил, мы сели на еще не остывший от солнца гудрон, вдыхая его кисловатый запах чернозема, пропитанного химикатами. Мы продолжали петь. Когда мы пели «Get Me to the Church on Time»,[40] я нечаянно поймала на себе взгляд Джонатана. Это был новый взгляд. В нем читались обида, печаль и злоба. Когда наши глаза встретились, он сразу же отвернулся и уставился в небо. Мы спели «I Heard it Through the Grapevine»[41] и «Norwegian Wood».[42] Бобби с Джонатаном исполнили пару

---

[39] Примечания: 39
«Южный Тихий» *(англ.).*

[40] Примечания: 40
«Доставь меня в церковь вовремя» *(англ.).*

[41] Примечания: 41
«Я слышал, будто» *(англ.).*

[42] Примечания: 42
«Норвежское дерево» *(англ.).*

вещей из репертуара Лоры Найро, но я быстренько заставила их переключиться на что-нибудь более известное. Мы сидели на крыше и пели, пока небо не стало совсем черным и город не расцветился огнями десяти миллионов вечеринок.

Бобби

На следующий день после наших танцев на крыше Джонатан выскользнул за грань своего привычного существования. На столе под солонкой мы нашли записку: «Дорогие Б. и К., будьте счастливы! Звучит так банально, да? Я хочу попробовать начать все сначала в другом месте. Еще не знаю где. Честно. Когда-нибудь позвоню. Мои вещи возьмите себе. То, что не нужно, раздайте. Целую. Д.»

Мы с Клэр несколько раз перечитывали эти строки, как если бы они были только шифром, скрывающим более осмысленное сообщение. Клэр позвонила в газету и выяснила, что утром Джонатан совершенно неожиданно для своих коллег уволился с работы. Его нового адреса никто не знал. Его комната была такой же пустой и необитаемой на вид, как обычно. Из одежды он почти ничего не взял.

— Сволочь, — сказала Клэр. — Какая сволочь! Как же так?

— Не знаю, — сказал я. — Но он это сделал.

Клэр была в ярости, я — в прострации. Расставания ставили меня в тупик — мое сознание как бы затуманивалось. Когда кто-нибудь исчезал, я терялся. Вот и сейчас я был совершенно сбит с толку: обволакивающее, немного покалывающее ощущение, похожее на воздействие наркотика. Что-то вроде психического ступора. Того, кто только что был, больше нет. Я не мог этого вместить.

— Джонатан, ты скотина, — сказала Клэр. — Только-только все стало налаживаться.

Она скомкала записку и швырнула ее в пакет с мусором, но потом опять вытащила, как будто этот клочок мог пригодиться в качестве улики.

— Он вернется? — сказал я. Я хотел произнести это с утвердительной интонацией, но получился вопрос.

— Да что же это такое с мужчинами? — воскликнула Клэр.

Она стояла на ковре в гостиной, сложив руки на груди и выставив вперед нижнюю челюсть. Я увидел, что в другой жизни она вполне могла бы быть безумной школьной учительницей, одной

из тех неистовых старых дев, которые поначалу кажутся излишне патетичными, но в конце концов меняют вашу судьбу. Я ничего не ответил. Я сидел, засунув ладони между коленями, на вытертом бархатном стуле, который мы когда-то приволокли с угла Пятой и Восемнадцатой.

— Серьезно, — сказала она. — Я правда хочу понять. У тебя есть какие-нибудь соображения? Что творится у них в головах? Чего они хотят?

Я пожал плечами. Если она рассчитывала на какие-то объяснения с моей стороны, то зря. В ее классе я наверняка был бы худшим учеником, не способным ответить даже на самые элементарные вопросы, с которыми она бы изредка ко мне обращалась.

— Я ухожу, — сказала она, набросив на плечи свою поношенную кожаную куртку с пацифистской символикой на спине. Сверкнули и звякнули ее сережки. Она так решительно зацокала каблуками по лестнице, что я почти поверил, что она вот-вот вернется, таща Джонатана за ухо.

Она обыскала вокзалы и аэропорты, площадку на мосту Джорджа Вашингтона, где ловят попутки. Она была такой большой и сердитой, что, казалось, от нее просто невозможно скрыться. Но меньше чем через час она вернулась. Одна.

Я почти все это время не двигаясь просидел в гостиной, наблюдая за безмолвной жизнью неодушевленных вещей. Клэр, войдя, уставилась на меня в замешательстве.

— Нашла? — спросил я.

— Конечно нет.

Она приблизилась ко мне энергичной деловой походкой.

— Ты меня любишь? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я.

В тот момент я не мог сказать ничего, кроме правды.

— Я тоже не знаю, люблю ли я тебя, — сказала она. После чего так резко стащила с меня рубашку, что та треснула по швам.

Мы занимались любовью на ковре в гостиной. Она искусала мне шею и соски, чуть не вырвала волосы, исцарапала мне всю спину и ягодицы.

Джонатан снял в банке все свои сбережения и купил билет в неизвестном направлении. Мы с Клэр надеялись, что он все-таки объявится, но прошло несколько недель, а от него не было ни слуху ни духу.

— Я этого не понимаю, — сказала она. — Бред какой-то! Это просто жест! Ты знаешь Джонатана.

— Знаю, — сказал я.

Но, так или иначе, он исчез. Элис и Нед не сообщили нам ничего нового. Связаться с Эриком мы не могли — мы знали только, как его зовут, и то, что он работает в каком-то ресторане. После ужина на той памятной вечеринке мы все поздравили друг друга с тем, что еще не разучились веселиться. Мы договорились в самое ближайшее время собраться снова и опять учинить что-нибудь столь же вызывающее. Мы и представить себе не могли, что такая встреча может оказаться под вопросом.

Джонатан как сквозь землю провалился. Когда мы видели его последний раз, он мыл посуду, потом пил виски, а потом, поцеловав нас, пожелал нам спокойной ночи. Рано утром он ушел на работу. А когда мы с Клэр вернулись домой, то обнаружили эту записку.

— Какой гад! — сказала Клэр. — Что с ним?

— Он любит эффекты, — сказал я. — И ничего не может с этим поделать.

Я все ждал, что начну испытывать какие-то эмоции. Я ждал адекватной реакции — скажем, чувства гнева или досады, ощущения, что меня предали. Но проходили недели, а я не чувствовал ничего, кроме какой-то пришибленности. Ничего не происходило. Вообще ничего. Я ощущал,

что снова скатываюсь к моему кливлендскому образу жизни — существованию в деталях. На работе я натирал сыр, горы сыра, и мелко-мелко резал грибы. Дома я смотрел телевизор, или как меняется свет за окном, или следил, как проходит время, пока я слушаю записи. Я с удивлением обнаружил, что Нью-Йорк может быть таким же заурядным и промозглым городом, как Кливленд, таким же задрипанным и ненужным. Мы привыкли думать, что мертвые населяют прошлое, но теперь мне кажется, что они существуют в непрекращающемся настоящем. Нет никакой надежды на лучшее. И ничто в истории человечества этого не опровергает.

В отсутствие Джонатана я стал собственным призраком. Я выпал из происходящего. Я часами как тень бродил по комнатам, в которых он танцевал, плакал и занимался любовью; по комнатам, где он был в такой степени живым, что на него можно было не обращать внимания.

Реакция Клэр была полярно противоположной и более предсказуемой. Она приняла эгоистичную выходку Джонатана как данность, даже сформулировала правило: никогда не доверяйте людям моложе тридцати.

— Даже если человеку уже двадцать восемь, на

него все равно нельзя рассчитывать, — заявила она. — Человек в этом возрасте все еще чувствует, что меняется, растет. Я искренне желаю Джонатану всего самого хорошего. Надеюсь, он мне позвонит, когда сформируется как личность.

Какое-то время она ненавидела меня за то, что мне двадцать восемь. После того потного совокупления на полу с кусаньем и царапаньем она прервала со мной всякие сексуальные отношения и велела мне спать в кровати Джонатана, чтобы, как она объяснила, меньше переживать, когда я тоже сбегу. Потом, почти через месяц, в полночь она снова забралась ко мне в постель.

— Я вела себя как настоящая, сволочь, да? — прошептала она. — Милый, пожалуйста, прости меня. Просто мне действительно делается очень плохо, когда меня бросают. Как тебе кажется, у нас с тобой вдвоем что-нибудь получится, а?

Я сказал ей, что мне кажется — да. Мы, в общем-то, любили друг друга. Мне нравилось спать с ней; мне нравились жар и непредсказуемость ее тела. Нравилась узенькая полоска коротких золотистых волосков, идущая от пупа к промежности, нравились складки, образуемые ее задом и ляжками. Мы были вместе в ту ночь впервые за целый месяц, но хотя мы проделали все необ-

ходимые движения, что-то главное ушло. Чего я и боялся. Теперь секс был всего лишь последовательностью отдельных действий с приятным взрывом в конце. К обычным будничным делам прибавилось еще одно.

После этого мы снова стали спать в одной кровати. Мы занимались любовью один-два раза в неделю. Но уход Джонатана изменил что-то в самой атмосфере — как бы лишил нас будущего. Мы с Клэр увязли в настоящем. Принято думать, что из прочих возможностей эта как раз самая правильная. Но когда это произошло — когда мы потеряли ощущение прошлого и будущего, — мы начали дрейфовать. Клэр тоже это почувствовала. Она чаще стала называть меня «милый» и «солнышко». В ее взгляде появилась материнская заботливость, то есть нечто противоположное желанию. Я начал замечать, как прыгают жилы у нее на шее, когда она разговаривает. И как она пальцем рисует картинки на столе, и как у нее на ресницах собираются иногда клееобразные катышки туши.

Мы делали то же, что всегда. Смотрели телевизор и ходили в кино, покупали старую одежду и совершали долгие прогулки по меняющимся окрестностям. Но натяжение между нами ослаб-

ло. Мы не знали, что сказать друг другу. Я был неважным собеседником. Мое восприятие вещей не было напрямую связано с речью. У Джонатана хватало голоса для нас обоих. И вот в наших разговорах стали повисать паузы, из которых мы никак не могли выбраться. Теперь домой приходили только мы с Клэр и больше никто. Нам стало не о ком сплетничать и беспокоиться.

Я думал о своих родителях. Я думал об Элис и Неде.

Значит, вот что такое любовь между мужчиной и женщиной. Мое образование продолжалось.

Кончилось лето, наступила осень. Я встретился с Джонатаном в конце ноября, причем совершенно случайно. Как-то раз на работе я, поднимая ящик с шампанским, потянул спину, и мне пришлось пойти к врачу в Апер-Вест-сайд. Можно было подумать, что я попал в другой город, настолько этот район отличался от центральной части Нью-Йорка, где жили мы. Идя к метро через Центральный парк, я, как турист, глазел на осеннюю желтизну деревьев и аккуратно подстриженных собачек, жмущихся к сияющим туфлям своих хозяев. Я был настолько захвачен роскошным своеобразием этого места, что чуть не проскочил мимо Джонатана.

Он стоял, прислонившись спиной к кирпичной стене многоквартирного дома, и читал «Виллидж войс». Я уставился на него так, будто он был местной достопримечательностью. Он был похож на ожившую фотографию. Наверное, примерно такое же впечатление производят виды Парижа, когда вы носитесь по нему во время трехдневной экскурсии.

— Джонатан! — сказал я.

Он поднял голову и произнес мое имя.

— Джонатан, я… Это правда ты?

Он кивнул.

— Правда. Я вернулся в Нью-Йорк пару недель назад.

— Я… да, старик. Даже не знаю, что сказать. Ээ, как ты?

Его появление ошеломило меня не меньше его внезапного исчезновения. Мои системы вновь вышли из строя, и я испытал что-то вроде состояния невесомости.

— У меня все нормально. Знаешь, я не так представлял себе нашу встречу.

— Угу. Ты можешь мне объяснить, что происходит?

Он вздохнул.

— То, что я вот так исчез, наверное, показалось

вам странным, да? Прости… Но просто я… просто я понял, что иначе у меня вообще ничего не получится. И я так и буду Дядей, пока вы с Клэр сами не съедете и не бросите меня в этой дурацкой квартире. Как Клэр?

— Нормально. В смысле, по-прежнему. По-моему, мы оба, в общем-то, мало изменились.

— По твоему тону можно подумать, что тебя это огорчает, — сказал он.

Я пожал плечами, и он снова кивнул. Его лицо было слишком знакомым. И в то же время как будто подернуто какой-то дымкой. Я вполне мог допустить, что с моей психикой что-то случилось и на самом деле я говорю с кем-то другим, с кем-то, кто только похож на Джонатана. В Нью-Йорке полно людей, сломавшихся под тяжестью своих неудач и вообразивших, что их проблемы интересны всем встречным.

— Зайдем посидим где-нибудь, — предложил он.

— Давай, — сказал я. — Конечно.

Мы зашли в первое попавшееся заведение, — оказавшееся ирландским баром, где подавали горячую солонину. Этот бар напомнил мне те места, где мы когда-то коротали вечера с Хендерсонами, — с поправкой на местную специфику.

Рождественские гирлянды из гофрированной бумаги превратились тут в бессменную деталь интерьера; по телевизору крутили мелодраму — цвета были неестественно яркими, изображение плыло. Единственной зрительницей была сидевшая за стойкой старушка, явно готовая дать отпор всякому, кто попытается ей помешать.

Джонатан заказал «Дювар» со льдом, а я — пиво. Он легонько дотронулся своим бокалом до моего.

— Ты думал, мы еще увидимся? — спросил он.

— Я ничего не думал. Откуда я мог знать?

— Верно. Откуда ты мог знать?

— Где ты был? — спросил я его.

Все происходящее по-прежнему казалось мне нереальным. У меня даже мелькнула мысль попросить его подождать минутку, а самому выскочить и позвонить в полицию. Но что бы я им сказал?

— На моем банковском счете было негусто. То есть я хочу сказать, что, если бы у меня были тысячи, я, может, слетал бы во Флоренцию, или Токио, или еще куда-нибудь. Ну а так пришлось ограничиться поездкой в Калифорнию. Помнишь Донну Ли, с которой я учился в колледже? Она теперь живет в Сан-Франциско с некой Кристиной. Так вот, я какое-то время ночевал у них и,

ну, как бы старался выдумать для себя жизнь в Сан-Франциско.

Он отпил из своего бокала и втянул губами кубик льда именно тогда, когда я и ожидал. На пальце у него по-прежнему поблескивало индейское серебряное кольцо, которое он купил еще в Кливленде, когда нам было по пятнадцать лет. Какие-то обрывки воспоминаний с легким стрекотом проносились у меня в голове.

— Честно говоря, — сказал я ему, — мне все это не очень понятно. Начиная с записки. Ведь все было так здорово, ужин с Эриком прошел прекрасно, а потом ты взял и сбежал. Я просто не понимаю.

— Думаешь, я понимаю?! Просто месяц назад мне исполнилось двадцать девять. И у меня такое чувство, что еще через пять минут мне будет тридцать.

— А… С днем рожденья!

— Тебе тоже будет двадцать девять через несколько недель.

— Верно, — сказал я.

— Ладно. Послушай, сейчас мне нужно идти. В газете до сих пор не решили, брать меня обратно или нет. Через полчаса я встречаюсь с Фредом и Джорджиной. Они все еще спорят, кто я: нервный

романтический гений или просто безответственный разгильдяй. Я заплачу.

Он положил на стол несколько купюр. Я наклонился и накрыл его ладонь своей.

— Может, вечером зайдешь? — спросил я. — Клэр была бы очень рада.

Он посмотрел на наши ладони.

— Нет, Бобби, — сказал он. — Я не хочу к вам заходить. То, что мы встретились, просто случайность. Ведь ты никогда не бываешь в этом районе. Я подумал, что поселиться здесь — все равно что в Мичигане.

— Ты не хочешь нас видеть?

Он посмотрел мне в лицо. И вынул свою ладонь из-под моей.

— Бобби, на самом деле я думаю, что влюбился. В вас обоих. Это звучит странно, я понимаю. Я никогда не предполагал, что со мной может такое произойти. То есть… как бы… Я хочу сказать, это не входило в мои планы. Но похоже, я вправду влюбился и в тебя, и в Клэр. Я понял это той ночью на крыше. Мне не нужен ни Эрик, ни кто-нибудь еще. Это безнадежно. Пока существуете вы, я не смогу больше никого полюбить.

Он встал.

— Подожди, — сказал я. — Подожди минутку.

— Передавай привет Клэр, — сказал он. — Если когда-нибудь я приведу себя в более нормальное состояние, позвоню.

Он повернулся и направился к выходу. Я был в полной растерянности и совершенно не понимал, что следует сделать или сказать. Я позволил ему выйти в ноябрьский полдень, а когда сам выбежал из кафе, его уже не было.

Он сдержал слово — жил сам по себе. И хотя мы находились в одном городе, я никогда с ним больше не сталкивался. Звонков от него тоже не было. Закончилась осень, потом зима. А весной он оставил на нашем автоответчике сообщение:

— Привет, Бобби и Клэр! Диковато наговаривать такое на автоответчик. Бобби, сегодня утром умер мой отец. Я подумал, что должен тебе об этом сказать.

Затем раздался щелчок и механический шелест пленки, готовящейся воспроизвести следующее сообщение.

Клэр

Я летела за две тысячи миль на похороны человека, которого никогда в жизни не видела. Тени густых облаков ложились на плоский одноцвет-

ный Техас. По бескрайней светло-коричневой земле были разбросаны фермы, хозяева которых, возможно, провожали сейчас глазами наш самолет, стараясь представить себе — как и я сама иногда — богатую, интересную жизнь тех, кто в этот самый миг летел навстречу новым неведомым поворотам своей судьбы.

— Ты точно не хочешь вина? — спросил Бобби. Я отрицательно помотала головой.

— Хочу немножко побыть трезвенницей, — сказала я. — Вот если бы нам принесли минералки или чего-нибудь еще в этом роде…

Бобби наклонился, чтобы нажать на кнопку вызова стюардессы. Поток холодного воздуха, льющийся из отверстия над нашими головами, взъерошил его волосы, которые он к тому времени опять отрастил. Он теперь зачесывал их назад, фиксируя гелем. Я поправила его прическу. Потом передумала и растрепала снова.

Я была на третьем месяце беременности, но об этом никто не знал. Я не решила еще, что с этим делать.

— Здорово, что ты тоже полетела, — сказал Бобби.

— Не могу же я пропустить похороны!

— Знаешь, о чем я думаю? Может, нам потом

взять напрокат машину и на ней вернуться в Нью-Йорк? Мы бы могли, типа, посмотреть страну.

— Почему бы нет, — сказала я.

— Можно было бы проехать через Карлсбадские пещеры, поглядеть на Большой каньон.

— Мм… Я всегда мечтала увидеть Большой каньон.

— Естественно, — сказал он. — Можно взять напрокат туристские ботинки и рюкзаки. Поставить палатку…

— Бобби, такие вещи не берут напрокат. У некоторых людей они просто есть. У тех, кто ведет соответствующий образ жизни. Но мы с тобой больше по части ночных клубов.

Мне хотелось именно *посмотреть* на Большой каньон, а не карабкаться по нему.

— Значит, ты не хочешь, — сказал он.

— У меня с собой только траурное платье, — сказала я. — Ты просто представь, как я буду ковылять по какой-нибудь расщелине в черном платье и туфлях на каблуках.

Бобби кивнул. Потом пригладил ладонью волосы. Свет над Техасом серебрил его крупное квадратное лицо и тяжелые руки, покрытые узловатыми венами. Несмотря на блестящие

итальянские волосы и сережку в ухе, его лицо было совершенно невинным, как пустая миска. Это было лицо человека, не потерявшего веры в то, что паломничество к знаменитым геологическим образованиям способно устранить любые противоречия.

— Нет, я так. Просто подумал, — сказал он.

— Понятно. Давай отложим это на другой раз.

Он снова кивнул. Растущий во мне ребенок подчинялся диктату его и моих генов. Вот сейчас у него отрастают крохотные ноготки. Бобби потягивал вино. Под нами плыла пустота.

Джонатан встретил нас в аэропорту. Он весь был какой-то съежившийся, словно из него выкачали воздух. Я не видела его почти год. А может, он всегда был таким тщедушным? Вокруг него в зале ожидания толпились загорелые, ярко одетые люди. Болезненно бледный в своей черной футболке, он был похож на беженца, только что прибывшего из какой-то угрюмой голодной страны. Он заключил нас в объятия в официально холодной манере французских политиков.

— Как Элис, Джон? — спросил Бобби.

— У нее железные нервы, — сказал он. — В отличие от меня.

— А как ты? — спросила я.

— Чудовищно, — сказал он спокойно. — В полной истерике.

Из аэропорта домой мы поехали в огромном синем «олдсмобиле» отца Джонатана. Я ни разу до этого не видела, как Джонатан водит машину. Он являл собой нечто среднее между ребенком и отцом семейства. Руль он держал обеими руками, как будто управлял кораблем.

По дороге он рассказал нам, как умер его отец. У него случился разрыв сердца, когда он шел к дому от почтового ящика. Джонатан особо подчеркнул этот факт. Дело в том, что у его отца была астма, перешедшая потом в эмфизему. Его смерть от инфаркта явилась полной неожиданностью, застав всех врасплох, как если бы у него было безупречное здоровье. Все чувствовали себя обманутыми.

— Когда он шел от почтового ящика? — переспросил Бобби, словно именно это обстоятельство было самым ужасным.

Я надела солнечные очки и смотрела на мелькающие за окном торговые центры. Они дрожали в нагретом воздухе. Между ними тянулось открытое бурое пространство, усеянное кактусами. Аризона оказалась первым местом, выглядевшим именно так, как я и предполагала. Пока мы ехали по слепяще яркому шоссе, я чувствовала

себя спокойно и уверенно — зрелой женщиной в темных очках, приехавшей помочь двум растерянным молодым людям справиться с их горем. Я подумала тогда, что уйду от Бобби и буду растить ребенка одна.

— Я написал ему письмо, — сказал Джонатан. — Первое за год. Но не успел отправить. Оно так и лежало у меня в куртке, когда мне позвонили.

Родители Джонатана жили в грязновато-рыжем районе, расположенном в нескольких милях от торгового центра «Типи таун». Возле главного входа висело объявление: «Сегодня, как всегда, — товары на любой вкус». Голубые буквы сильно выцвели. Джонатан припарковался и по гравиевой дорожке мимо коричневого почтового ящика провел нас к дому, буро-коричневому, как цветочный горшок. Очевидно, его красили из пульверизатора. Кем же нужно быть, чтобы поселиться в таком месте? — невольно подумала я.

В самом доме было темно и прохладно. Вместо ожидаемых индейских ковров и глиняной посуды там стояли кресла с подлокотниками, кадки с комнатными растениями, на стенах висели семейные фотографии в хромированных рамках. О том, что кто-то умер, можно было догадаться только по обилию цветов — в вазах и горшках,

обернутых фольгой. На круглом полированном столе между двумя букетами стояла белая фарфоровая пастушка…

Не успели еще наши глаза как следует привыкнуть к полутьме, откуда-то из глубины — видимо, из кухни — вынырнула маленькая загорелая женщина. Она вытерла руки о джинсы.

— Возвращение блудного сына, — сказала она с едва уловимым южным акцентом.

— Здравствуйте, Элис, — сказал Бобби.

Она взяла Бобби за подбородок и несколько раз повернула его голову туда-сюда, разглядывая ее с пристальностью антрополога, проверяющего сохранность черепа. Я поняла, у кого Джонатан научился этим формальным объятиям.

— Здравствуй, красавчик, — сказала она и чмокнула его в губы.

Бобби тупо стоял перед ней, вытянув руки по швам. Джонатану пришлось нас познакомить. Элис скользнула по мне быстрым оценивающим взглядом. Мы пожали друг другу руки.

— Спасибо, что приехали, — сказала она.

— Спасибо за гостеприимство, — сказала я.

Ничего более глупого, чем благодарить за гостеприимство женщину, только что потерявшую мужа, нельзя было придумать.

— Я был так потрясен, Элис, — сказал Бобби.

Он неуверенно положил руку на плечо Джонатана.

— Я знаю, — сказала она. — Я тоже.

— Мы что, первые? — спросила я.

— А мы не собираемся устраивать большой прием, — сказала Элис. — Еще должен приехать брат Неда из Манси и, может быть, зайдет кто-то из соседей. Так что все будет достаточно камерно.

— А… — протянула я, чувствуя, что опять брякнула что-то невпопад.

Сначала я расстроилась, а потом решила расслабиться. Элис мне не понравилась, и я отказалась от попыток убедить себя в обратном, хоть она и была новоиспеченной вдовой.

— Может быть, вы хотите чего-нибудь выпить? — спросил Джонатан.

Все согласились. Джонатан пошел за напитками. Я подумала, что, наверное, вот так он и рос — предлагая чего-нибудь выпить, или сыграть партию в «Скрэбл», или погулять в парке. Я представила себе, каким он был в два года, как отчаянно, наверное, пытался привлечь к себе внимание вечно занятой собой матери, перебивая, выкрикивая только что усвоенное слово. Теперь, в тридцать, он сам начинал походить

на мать. Сухо здоровался в аэропорту и пытался сделать свою жизнь такой же упорядоченной и отдельной от всего и вся, как эта гостиная в стиле американских первопоселенцев.

После того как мы выпили и пообедали, Элис объявила, что будет ночевать в мотеле. Бобби с Джонатаном начали бурно протестовать. Но ее решение было твердым.

— Здесь яблоку негде упасть, — сказала она. — Вам не хватает только заботиться о покое пожилой леди!

Бобби продолжал настаивать, что это нам с ним, а не Элис следует ночевать в мотеле, но Элис была непреклонна.

— Я уже собрала сумку, — сказала она. — Вы и встать не успеете, как я уже вернусь.

— Но это несправедливо, — не унимался Бобби. — Получается, что мы выпихиваем вас из собственного дома.

Я незаметно ущипнула его за колено. Неужели он не видит, что Элис хочется побыть одной? Я знала, что она сделает: войдет в свежеубранный номер, включит верхнюю вентиляцию и ляжет на безликую кровать. Она проведет несколько часов вне своей жизни. Я сама так делала, когда заканчивался очередной роман и моя квартира

начинала вдруг вызывать чересчур много ассоциаций. Потому ли, что он понял мой намек, или еще по какой-то причине, Бобби отстал. А уже в следующую минуту Элис выскочила из дома, пообещав испечь бельгийские вафли еще до того, как мы разлепим глаза. Я попрощалась с ней без лишних эмоций, давая понять, что вовсе не воспринимаю ее уход как самопожертвование. Но хоть я и поняла ее мотивы, симпатии к ней от этого у меня не прибавилось.

Она уехала. И мы остались одни, испытывая чувство взаимной неловкости. Хотя я не раз бывала на похоронах, непосредственного опыта прощания с близкими у меня не было. Мои родители были еще живы. Деды и бабушки умерли в других штатах, когда я была совсем маленькой. От чувства уверенности, посетившего меня на заднем сиденье «олдсмобиля», не осталось и следа. Теперь я не ощущала ничего, кроме досады и раздражения от необходимости ночевать в незнакомом доме и присутствовать на похоронах абсолютно неизвестного мне человека.

— Хотите еще выпить? — спросил Джонатан.

Мы выпили еще. Мы с Джонатаном расположились в креслах с подголовниками, Бобби — на уродливом колониальном диване. Я всегда пред-

ставляла себе церемонию прощания с умершим как свободно текущий обмен воспоминаниями между людьми, которые либо искренне любят друг друга, либо настолько оглушены случившимся, что их мелкие обыденные разногласия и взаимные претензии просто перестают существовать. Но, потягивая тоник в этой дешево обставленной неуютной гостиной, я не ощущала в себе никакой перемены. Ни тщеславие, ни мой обычный эгоизм никуда не делись. Смерть отца Джонатана не была моим горем, и я ничего не могла с этим поделать. Более того, затерянный в пустыне жилой комплекс представлялся мне местом, где смерть была не просто логичной, но почти уместной. Немудрено, что здешние жители были так хорошо к ней подготовлены.

— Мне жаль, что мы вот так вот встретились, — сказал Джонатан. — Я подозревал, что мы еще увидимся, но надеялся, что это произойдет при других обстоятельствах.

Я знала: чтобы произнести эти слова своим голосом, не подражая ничьим жестам и интонациям, ему нужно было сделать над собой немалое усилие. Наиболее органичным для Джонатана было держаться так, как будто ничего дурного не происходит — как будто все замечательно.

— Я тоже иначе представляла себе нашу встречу, — сказала я. — Честно говоря, я вообще не была уверена, что мне стоит приезжать.

Он кивнул. Он не стал меня разуверять.

С трудом сдерживаясь, чтобы не обнаружить свою нервозность и раздражение, я сказала:

— Я уверена, что твой отец был прекрасным человеком.

— Нед был великим человеком, — сказал Бобби. — Он действительно был удивительным, Клэр. Жаль, что вы не были знакомы. Уверен, что он бы тебе ужасно понравился.

— Наверняка.

В наступившей тишине было слышно, как позвякивают кубики льда в бокале Джонатана.

— Знаешь, Джонатан, — сказала я, — я не очень понимаю, почему ты сделал то, что сделал. Наверное, так было нужно. Но по-моему, раз уж мы здесь, нам следует просто постараться обо всем этом забыть.

— Я говорил с Бобби, — сказал он. — Я и тебе пытался это объяснить. Я просто почувствовал, что, если останусь с вами, у меня не будет жизни.

— А сейчас она у тебя есть?

— В какой-то мере. Обратно в газету меня не взяли. Но они помогли мне устроиться редакто-

ром в «Эсквайер». Так что в плане карьеры мне приходится начинать все сначала. Загадочные исчезновения не проходят безнаказанно — даже для журналистов.

— Надеюсь, что теперь ты счастливее, чем раньше, — сказала я.

— На самом деле нет, — сказал он. — Но это может произойти в любой момент.

— Бобби, — сказал Джонатан, — если тебе нужна моя семья, пожалуйста. Отныне все мое прошлое принадлежит тебе. И с этого дня тебе решать, где похоронить отца. И что делать с матерью, которой придется научиться жить одной. Если ты этого хочешь, пожалуйста. Ради бога.

В этом гигантском кресле Джонатан смотрелся как идеально воспитанный разъяренный ребенок. Кровь отхлынула у него от лица, глаза горели. Я никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном, но каким-то образом почувствовала, что сейчас он не играет, что это его настоящий голос: пронзительный, ясный, звенящий от гнева. Я поняла, что умение любить и быть щедрым было только одной стороной его личности. Просто до сих пор с помощью особой системы разработанных жестов ему удавалось скрывать этого злобного карлика, представшего нам сейчас. Его

голова казалась непропорционально большой для его тела. Ступни едва дотягивались до пола.

— Прекрати, — сказала я. — Сейчас не время для всех этих разборок.

— Джон, — сказал Бобби, — Джонни, я…

— Давай, — продолжал Джонатан, — будь мной. Как ни странно, у тебя это лучше получается. Когда моего отца завтра запихнут в печь, ты станешь сыном, а я — лучшим другом. Я уроню несколько слез, посочувствую немного, а потом опять займусь своими делами.

— Джон, — сказал Бобби.

Он не плакал, но голос у него стал сдавленным и влажным.

— Тем более что ты намного больше подходишь на роль сына, — сказал Джонатан. — У тебя есть девушка, когда-нибудь родятся дети. У тебя не будет проблем, с кем поехать в отпуск. В отличие от чудаковатого холостяка, у которого в жизни нет ничего, кроме работы. В тебе больше смысла. Отец уже опоздал, но хотя бы у матери будет нормальный сын. Сварганишь ей внуков, чтобы ей было чем заняться, кроме гляденья в окно на перекати-поле.

— Ну и дерьмо же ты! — сказала я Джонатану и невольно вскочила. — Да ведь он же боготворил

тебя! А ты? Бросил его! Ты не имеешь права говорить с ним в таком тоне!

— О! Голос добродетели, — воскликнул он. — Сначала ты позволила мне в тебя влюбиться, а потом начала трахаться с моим лучшим другом. И теперь рассказываешь мне о моих правах.

— Минуточку, минуточку! Я позволила тебе в себя влюбиться? А кто вообще говорил, что ты в меня влюбился?

— Я. Говорил и говорю. В вас обоих. Все, хватит. Оставьте меня в покое.

— Джон, — сказал Бобби. — Джон…

— Пойду прокачусь, — сказал Джонатан. — Пока я совсем не свихнулся.

— Машину взяла твоя мать, — напомнила я ему.

— Ну, тогда пройдусь.

Он встал и вышел. Дверь из дешевого дерева трагически тихо звякнула об алюминиевый косяк.

— Я его догоню, — сказал Бобби.

— Нет. Не надо, пусть придет в себя. Он скоро вернется.

— Угу. Я хочу с ним поговорить. Я ему ничего не ответил.

— У него только что умер отец, — сказала я. —

Он не в себе. Ему нужно побыть одному.

— Нет, он и так слишком долго был один, — сказал Бобби. — Ему нужно, чтобы я его догнал.

Бобби обошел меня и тоже вышел на улицу. Я все равно не смогла бы его задержать, даже если бы захотела. Возможно, самым правильным для меня было бы остаться дома, но, представив себе это ожидание среди похоронных цветов под мерное тиканье будильника, я тоже сорвалась с места и выбежала за Бобби и Джонатаном. Не для того, чтобы вмешиваться, а просто потому, что у меня не было моральных сил сидеть в этом безупречно чистом доме.

Когда я выскочила во двор, Джонатан был уже за квартал от дома. Нелепая сгорбившаяся фигурка, торопливо удалявшаяся в фонарном свете. Как раз в тот момент, когда я распахнула дверь, Бобби окликнул его. Услышав его голос, Джонатан, не оглядываясь, бросился бежать. Бобби помчался за ним. И я, в ужасе от перспективы одинокого сидения в этом доме с привидениями, припустилась за Бобби.

Самым проворным из нас оказался Бобби. Я сроду не делала зарядку. И к тому же была беременна. Да еще в туфлях на каблуках, делавших меня похожей на героиню какого-то триллера. Эдакая

пышнотелая дамочка с ножками маленького размера, которую то и дело приходится выручать из беды. Задыхаясь, я бежала по улице. Расстояние между Бобби и Джонатаном стремительно сокращалось. И слева и справа стояли залитые резким фонарным светом абсурдные дома. Белели посыпанные гравием дворики. Кое-где окна были освещены, но большинство домов были темные, без штор, явно нежилые. Я слышала свое тяжелое дыхание и ночную музыку пустыни — шуршание песка и шелест ветра.

Когда Бобби настиг Джонатана, я отставала от них на два квартала. Я увидела, как он схватил Джонатана за рубашку и потянул на себя. Какое-то время Джонатан продолжал по инерции перебирать ногами, как персонаж из мультфильма. А потом развернулся и ударил Бобби — истерический, неловкий удар в живот. Бобби согнулся пополам — как мне показалось, не столько от боли, сколько от неожиданности. А Джонатан бросился дальше. Но далеко он не ушел — опомнившись, Бобби нагнал его и с ревом напрыгнул сверху. После чего оба грохнулись на землю, молотя друг друга кулаками.

— Прекратите, — заорала я. — Придурки! Слышите, прекратите немедленно!

Когда я подбежала к ним, они катались по асфальту, лягаясь и одновременно пытаясь опереться друг на друга, чтобы подняться на ноги. Щека Джонатана была в крови. Я нагнулась, изловчилась и, схватив их за волосы, потянула в разные стороны.

— Прекратите, — взвизгнула я. — Прекратите! Сейчас же!

Они остановились. Но я не отпустила их, пока они не расцепились и не уселись, обалдело уставившись друг на друга, на бархатисто-черном асфальте. У Джонатана была глубокая царапина на лице и почти оторван рукав. Сквозь прореху проглядывал бледный полумесяц плеча. У Бобби, более крупного и сильного, была порвана брючина на колене и перепачкан лоб.

— Кретины, — сказала я. — Вы что, совсем спятили? Оба?

— Ага, — сказал Бобби.

И вдруг они начали хохотать. Одновременно.

— Как ты? — спросил Джонатан. — Я тебя не ушиб?

— Нет. Со мной все в порядке. Все отлично. А ты как?

— Вроде бы цел.

Он дотронулся до щеки и удивленно поглядел

на перемазанные кровью пальцы.

— Смотри, — сказал он с явным удовлетворением. — Кровь.

— Ничего страшного, — успокоил его Бобби. — Это просто, ну, ссадина.

— Я ни разу в жизни не дрался по-настоящему, — сказал Джонатан. — Никогда никого не бил.

— Я дрался в детстве, — сказал Бобби. — С братом. Но силы были уж очень неравные — он просто смеялся и, типа, отшвыривал меня, как котенка.

— Вы хотя бы понимаете, какие вы придурки? — сказала я.

— Мне кажется, я понимаю, — отозвался Джонатан.

— По-моему, я тоже, — сказал Бобби.

Они поднялись, и мы пошли назад. Джонатан сказал:

— Простите, что я так себя вел. Сегодня и весь последний год.

— Все нормально, — сказал Бобби. — То есть мне кажется, я тебя понял. По-моему, понял.

Джонатан взял Бобби под руку. Они шли умиротворенные и самодовольные, как два бюргера, прогуливающиеся по подконтрольному им го-

родку. Джонатан предложил свой второй локоть мне, но я отказалась. Я шла одна, сзади. Побуду на похоронах, решила я, сяду в самолет и улечу от них навсегда.

Похороны Неда состоялись на следующий день в четыре часа. Утром из Индианы прилетел брат Неда Эдди. Когда он курил, сигаретный дым, выползая из ноздрей, лез в его водянистые глаза. Я невольно вспомнила своего отца. Мне стало ясно, что проникнуться симпатией к такому человеку я не смогу. Мне вообще никто не понравился на этих похоронах. Даже седенькие соседки. Одну, ту, что покрупнее, звали миссис Коен, другую — миссис Блэк. Активного раздражения они у меня не вызвали, но общее впечатление было скорее отрицательным — ридикюль, набитый салфеточками «Клинекс», хлопья розовой пудры в складках у рта. Впрочем, может быть, дело было не в них, а во мне и в моем недовольстве всем в целом. Мы поехали в крематорий на трех машинах: «олдсмобиль», «хонда», «плимут». И, сохраняя тот же порядок, двинулись от места парковки к церкви. Впереди Джонатан, Элис и Эдди, затем мы с Бобби и, наконец, старушки соседки.

— Как ты думаешь, — шепотом спросила я у Бобби, — почему Элис не захотела, чтобы на по-

хоронах было больше народу?

— Я думаю, больше просто никто не приехал, — прошептал он в ответ.

Мы шли вдоль ослепительно белой бетонной стены, заключенной в раму живых растений. Между зелеными с восковым отливом листьями то тут, то там торчали розовые цветы, похожие на маленькие трубы. Бобби, облачившийся в темный пиджак, обливался потом. Я в предотъездной суматохе сунула в сумку только одну пару очков от солнца — в треугольной ярко-алой оправе, которые сейчас были бы явно неуместны.

— Ну ведь были же у него еще какие-нибудь знакомые! — сказала я.

Я взяла Бобби под руку, чтобы не споткнуться. Солнце было таким ярким, что у меня начала кружиться голова. Идти, держась за него, было приятно — не потому, что он мне как-то особенно нравился, просто это делало меня более полноправным членом нашей небольшой похоронной процессии.

— Он ведь был всего-навсего владельцем кинотеатра в Кливленде, — сказал Бобби. — В смысле, а кто еще мог приехать? Билетеры, с которыми он последний раз виделся десять лет назад?

— Не знаю, — ответила я. — Кто-нибудь.

Мы уже почти дошли до церкви, представлявшей собой остроконечное сооружение из витражного стекла и зеркал. Сзади к ней был пристроен крематорий. Когда мы вылезли из машины, я поискала глазами трубы, но разглядела только бетонное здание с плоской крышей. В стенах через равные промежутки были прорезаны вертикальные канавки, как если бы кто-то провел по еще не застывшему цементу гигантской расческой. Разумеется, трубы производили бы излишне индустриальное впечатление.

Мы разместились на передних скамьях. Тишину нарушал лишь едва слышный стрекот вентилятора. Гроб Неда из темного, сухо поблескивающего дерева был установлен под светящимся Распятием. На гробе лежал одинокий венок из розовых штокроз. Я невольно вспомнила о гирлянде цветов, которую Донна Рид бросает за борт в финале картины «Отныне и навек», и подумала, что Неду как бывшему владельцу кинотеатра это должно было бы понравиться.

Я забилась в самый угол. Рядом со мной сидел Бобби. За ним Джонатан, потом Элис. Джонатан плакал — негромко, но самозабвенно. На один день он, по-видимому, решил отказаться от своей обычной сдержанности. Царапина у него на щеке

затянулась тоненькой коричневой корочкой. Дрожавшая на подбородке слеза повторяла все оттенки витражного стекла. Я дотронулась до своего собственного подбородка, и вдруг из моих глаз тоже хлынули слезы, как будто я нажала на какую-то кнопку. Мне опять вспомнился отец. Однажды, напившись, он начал выяснять отношения с матерью и уронил меня в сугроб. Мне кажется, это мое самое первое воспоминание в жизни. Я сидела у отца на руках, мать попыталась меня вырвать, отец не отдавал, и в результате я упала в снег. Вообще-то у отца была крепкая хватка, даже у пьяного. И если бы не эта потасовка с матерью, он бы меня не уронил. Я помню свое ощущение от снега, который был белым, холодным и тихим, как сама смерть. Я провалилась довольно глубоко, и они оба бросились меня выкапывать, понося друг друга на чем свет стоит. Если бы я была дочерью Неда, я бы что-нибудь сделала, чтобы его жизнь сложилась как-то иначе и закончилась не так — не этими малолюдными похоронами в пустыне. Слезы текли рекой. Бобби стиснул мне руку. На какой-то миг мне показалось, что я сестра Джонатана, а Бобби — наш общий друг. Потом я поняла, что на самом деле плачу о себе и о собственных малень-

ких горестях, а не о большом реальном горе того, кто действительно умер. И от этого разрыдалась еще сильнее.

После службы гроб поставили на специальную каталку и вывезли туда, где кремируют. А мы сели в машины и поехали домой. Нам сказали, что урну с прахом можно будет забрать на следующий день. Теперь все делается быстро. Возможно, используется какая-то новая, усовершенствованная технология. Выйдя из церкви, я — чтобы спрятать свои красные глаза — надела очки от солнца.

Все поехали к Элис. То, что было раньше домом Элис и Неда, стало называться теперь домом Элис. Как же, наверное, Элис должна ненавидеть этот дом со скверно покрашенными бетонными стенами и вечно гудящими кондиционерами. Я подозревала, что Нед научился по-своему любить его. На ироничный манер. У людей, часто ходящих в кино, обычно вырабатывается особое, ироничное отношение к происходящему, спектр смешного заметно расширяется.

Всю обратную дорогу Бобби молчал — как я поняла, уважая мое горе, мои чувства и память о собственных невзгодах, хотя в действительности покойника знала не я, а он. У меня горело лицо. Я окончательно потеряла ощущение реальности. Я

повернулась и погладила его по волосам, потом позволила себе уронить руку ему на грудь, на эти широкие мягкие горы мускулов, затянутых жиром. Мне вдруг ужасно его захотелось. Захотелось его доброты и самоотверженности, как если бы эти качества принадлежали не Бобби, а кому-то еще — некому красивому самодостаточному мужчине, с которым я только что познакомилась. Мне захотелось, чтобы этот сострадательный незнакомец свернул на какую-нибудь боковую улочку, где мы бы с ним занялись потной, визгливой любовью. В качестве частичной компенсации за свои гнусные мечты я поцеловала Бобби в ухо и прошептала:

— Все в порядке, родной.

Он улыбнулся. Выражения его глаз было не видно. На нем были темные очки с зеркальными стеклами. Он ничего не ответил.

Джонатан, Бобби и я, наша перекрученная полудружба-полулюбовь, та кривобокая семья, которую мы пытались создать, — все это еще недавно казалось мне просто очередным глупым эпизодом, чем-то вроде еще одного крашеного бетонного дома. И вдруг я почувствовала неслучайность происходящего, наполненность этого момента. Мы с Бобби ехали по шоссе, по обе сто-

роны которого лежала пустыня, вторыми в этом маленьком похоронном кортеже. Я была беременна. Он был отцом ребенка. Джонатан, неким таинственным и не вполне определимым образом разбивший сердца нам обоим, ехал впереди со своей решительной матерью. По радио, пульсирующему оранжевым светом в неумолимой предвечерней белизне, передавали старую песню Флитвуда Мака.

Когда мы вернулись домой, старушки соседки немедленно отправились на кухню заниматься запеканками и десертом. Ох уж эта человеческая озабоченность едой перед лицом смерти! Я испытала что-то вроде облегчения, хотя в действительности это нисколько не оправдывало моего неуместного желания жаркого полового акта примерно в то самое время, когда гроб с телом Неда опускали в печь.

Брат Неда Эдди сидел в кресле и курил. От него пахло цветочным одеколоном и всем тем, что этот одеколон был призван устранить. Интересно, где же его жена и дети? Ведь у такого человека не может не быть жены и детей. Меня всегда потрясало, насколько само собой разумеющимися являются эти вещи для большинства людей.

— Была хорошая служба, — сказал он.

— Наверное, — отозвалась Элис.

Соседки выжили ее из ее же собственной кухни, и теперь она бесцельно бродила по комнате, время от времени внося мелкие усовершенствования. Например, поправила фотографию, и без того висевшую абсолютно ровно. На ней было черное вечернее платье, по-видимому сохранившееся еще с кливлендских времен. В пустыне ходить в таком платье ей было некуда. Наверное, собираясь переезжать, она упаковала его, имея в виду нынешний повод.

Меня посетило видение: Элис пакует вещи в своей огайской спальне. Вот она перебирает свою одежду, откладывая что-то в сторону для Армии спасения. Вот натыкается на это платье. Она чувствует, что когда-нибудь оно ей пригодится. Она сидит на кровати, разглядывая эту скользкую темную ткань с некоторым недоверием. Платье как платье, случайно купленное в торговом центре, не слишком дорогое, ничего особенного. Несколько минут она неподвижно сидит на белом шелковом покрывале, в джинсах, с черной материей, лежащей у нее на коленях. Затем своими четкими, выверенными движениями складывает платье и засовывает в чемодан между купальниками и шортами.

Эта картина так ясно стояла у меня перед глазами, что мне даже пришлось слегка потрясти головой, чтобы избавиться от нее.

— Больше никого не осталось, — сказал Эдди. — Только присутствующие в этой комнате. Как же так? Где же все?

— В этом мире не всегда получается обзавестись множеством друзей, — ответила Элис.

Она послюнявила палец и стерла пятнышко пыли с листа филодендрона.

— Работаешь, растишь детей, живешь в своем доме, и все. Ни Нед, ни я никогда не были особенно компанейскими.

— Но мне казалось, в Кливленде вокруг вас всегда были какие-то люди, — сказал Эдди.

— Соседи, — сказала Элис, — среди них были очень симпатичные. Но мы же уехали. Все они прислали цветы.

Она быстрым шагом пересекла комнату и раздернула занавески. Вспыхнул свет, словно зажгли электричество. Джонатан вздохнул и сказал: «Простите», словно совершил что-то неприличное. Я подумала, что Элис с Недом, по-видимому, относились к парам типа «все-любят-его-никто-не-выносит-ее»; подумала, что, если бы я была женой Неда, у него нашлись бы

приятели, достаточно ценившие его для того, чтобы раскошелиться на авиабилет до Аризоны. Я почувствовала, что слезы опять наворачиваются на глаза, и сжала, кулаки, чтобы их остановить. Я пересела поближе к Бобби. «Прости, Нед», — сказала я про себя. На мгновение Бобби и Нед слились у меня в голове. Мне померещилось, что мне шестьдесят пять лет и я сижу рядом с Бобби, моим покойным мужем, вышедшим из могилы, чтобы изобличить меня в моих грехах. Из кухни доносился спотыкающийся разговор старушек, разбавляемый время от времени обрывками мелодий, выбиваемых ложками о кастрюли. Я стала расспрашивать Эдди о его жизни, просто чтобы не молчать. Его жена умерла. У него были две взрослые дочери (обе замужем), не сумевшие — как он выразился — выбраться на похороны. Он был ветераном размеренной жизни, непрерывной череды рождений и смертей в Манси, штат Индиана. Целиком сосредоточиться на рассказе Эдди мне мешали собственные воспоминания, наплывавшие на меня помимо воли. Под аплодисменты толпящихся вокруг мужчин отец ставит меня на стойку бара. Мне около четырех лет. Накануне отец купил мне платье, украшенное рюшем и оборками. Возмущенная мать заявила,

что я выгляжу в нем как потаскуха, и довольно долго я, приняв это за сдержанный комплимент, считала, что «потаскуха» — это такая девушка, которая утаскивает сердца у мужчин. Мой отец был широким и безалаберным человеком. Мать считала, что главное в жизни — труд. Только повзрослев, я поняла, что в ее позиции тоже есть своя правда. Отец сквернословил, рыдал, падал с лестницы, разбивал машины и в конце концов начал обвинять меня в тайном сговоре с матерью. Его сделалось как-то слишком много, и я перестала чувствовать себя с ним в безопасности. Будь в матери хоть чуть-чуть побольше беззаботности, я бы и вправду встала на ее сторону. Мне вспомнилось, как отец, совершенно голый, спотыкаясь идет мне навстречу по коридору. Он что-то бормочет, но что, я не могу разобрать. А потом — вскоре после этого случая — он исчез. Мать переклеила обои в спальне — на новых были яркие бесполые маргаритки — и сказала: «Теперь все наладится».

Эдди продолжал дымить. Пятьдесят лет курения не прошли даром — его глаза были мутно-желтыми от въевшегося дыма.

— Да… вот уж не думал, что переживу его, — сказал он. — Хоть он и был старшим, как ты

знаешь. Но все равно…

— Да, — тихо сказала Элис. — Я знаю.

Из кухни вышли миссис Коен и миссис Блэк. Одна из них — я так и не смогла запомнить, кого как зовут — вытерла руки полосатым кухонным полотенцем.

— Пусть ему земля будет пухом, — сказала другая.

— В общем-то, он прожил неплохую жизнь, — сказал Эдди. — Он с детства любил кино и в конце концов стал владельцем собственного кинотеатра. Это все-таки кое-что.

— Он был очень добрым человеком, — сообщила старушка с кухонным полотенцем в руках. (Кажется, миссис Коен, а может, миссис Блэк.) — Мне было как-то спокойнее спать по ночам, потому что я знала, что в любой момент могу ему позвонить и он тут же приедет. Слава богу, мне этого не потребовалось, но если бы что-то случилось, он бы обязательно помог.

— Да, он был очень сердечным человеком, — поддакнула другая. Джонатан прошаркал к креслу. Бобби пристроился рядышком — ляжкой на подлокотнике. Я подумала, что если бы из них можно было составить одного человека, то этому человеку неплохо бы жилось на свете.

— Спасибо вам за труды, — обратилась Элис к соседкам. — Сейчас, наверное, уже шестой час. Почему бы нам не выпить по одной, по две, а может, и по три рюмочки?

— Нет, нет, я не пью, — сказала старушка с полотенцем. — Мне делали операцию на почке. Теперь у меня только одна почка — моей сестры.

— Все правильно, — сказала вторая соседка. Может быть, они сестры, подумала я.

После обеда соседки ушли к себе, а Эдди — в гостиницу, пообещав еще заскочить перед сном.

— По-моему, ребята, — сказала Элис, — вам стоило бы пообщаться друг с другом наедине. Может быть, съездите куда-нибудь вдвоем, посидите в кафе?

— Не знаю, — сказал Джонатан. — Как ты думаешь?

Он вопросительно покосился на Бобби, а тот — на меня. Интересно, а я-то тут при чем? Я незаметно кивнула.

Джонатан спросил, нужно ли ему взять пиджак. Бобби посоветовал взять.

— Отличная парочка, — сказала Элис.

Я еще никогда не видела, чтобы кто-нибудь был так растерян, как сейчас Джонатан.

Выходя из комнаты, Бобби чмокнул меня в

щеку — быстрый мокрый поцелуй.

— Мы ненадолго, — шепнул он.

Я отмахнулась от него, как от мухи. Я снова перестала понимать, что происходит. Почему-то я сидела в этом дурацком доме с резкой, неприятной, практически незнакомой мне женщиной. Ладно, скоро это все закончится. Очередная идиотская история в моей жизни.

Джонатан задержался в дверях.

— Пока, — сказал он. — Мы скоро вернемся.

— Иди, иди, — сказала я.

Если бы я была сестрой Джонатана, я бы не позволила Элис вот так выпить из него все соки. Я бы быстренько поставила ее на место и научила Джонатана стоять за себя.

— Пока, мам, — сказал он.

Элис взяла его за подбородок своими ловкими пальцами естествоиспытателя. Она посмотрела ему прямо в глаза.

— Пока, сынок, — сказала она. — Я тебя люблю.

Они ушли, и Элис повернулась ко мне.

— Можно за вами поухаживать? — спросила она солнечным голосом хозяйки дома, как бы напоминая тем самым, что я всего лишь гостья.

— Нет-нет, спасибо, — ответила я. — Может быть, я могла бы чем-то вам помочь?

— Нет. Хочу немного прибраться на кухне.

— Я помогу.

— Нет, спасибо, — сказала она, холодно улыбаясь. — Я сама. Вы отдыхайте.

Честно говоря, меня это вполне устраивало. Теперь ни Элис, ни мне не придется подыскивать темы для разговора. Когда Элис ушла в кухню, я просто включила телевизор без звука, чтобы не мешать ее мыслям, и уставилась на экран.

То, что я никогда не видела этой программы и соответственно ничего не понимала, меня не смущало. Я и дома часто смотрела телевизор только ради того, чтобы чувствовать, что что-то происходит. Я убирала звук и включала магнитофон, чтобы не прислушиваться к тому, что один неведомый персонаж говорит другому.

Элис исчезла надолго. Кончилась одна передача, потом еще одна. Я то поглядывала на экран, то листала журналы. Просто чтобы убить время. Наверное, Бобби с Джонатаном сидят сейчас в какой-нибудь придорожной забегаловке, напиваются и обсуждают друг друга, Элис и меня. Я почувствовала укол ревности — скорее даже не к их сегодняшней преданности, а к их общему прошлому. К непреложному факту их внутренней связи. Я подумала, что скоро я, как более

здравомыслящая и сформированная личность, вернусь в Нью-Йорк и начну новую жизни. Я рожу ребенка одна. В моем союзе с Бобби и Джонатаном не было никакой неизбежности, ничего рокового. Я листала «Аризона хайвейс» и «Нэшнл джиогрэфик».

Вдруг из кухни донесся звон разбитой посуды. Я не знала, что правильнее: заглянуть туда или нет? Может быть, у Элис небольшой нервный срыв и ее сейчас лучше не трогать? Мне не хотелось проявлять бесцеремонность. В телевизоре огромный детский хор беззвучно пел славословие кока-коле. Я знала слова. Это была старая реклама, которую опять стали крутить неизвестно зачем. И все-таки я решила проведать Элис, подумав, что никак, не отреагировать будет просто невежливо.

Элис стояла в кухне с двумя половинками тарелки в руках.

— Уронила, — сказала она с какой-то особенной, почти торжествующей улыбкой, словно это было большое достижение.

— Обидно, — сказала я.

— Ничего страшного. Они продаются за доллар девяносто восемь центов в ближайшем супермаркете. Можно в любой момент купить точно

такую же.

— Ну тогда все в порядке, — сказала я.

— Вы так думаете?

Она продолжала сжимать в руках половинки тарелки в форме двух идеальных полумесяцев. Через какое-то время она уронила их снова.

— Простите, — сказала она. — Простите. Идите, пожалуйста, в комнату смотреть телевизор. Со мной все нормально.

Она повернулась и вышла во двор через заднюю дверь, захлопнувшуюся за ней с хрупким алюминиевым звуком.

Я наклонилась и начала подбирать осколки. На этот раз тарелка разбилась на много толстых треугольных черепков. Я выбросила их все в пакет с мусором. Мне не хотелось, чтобы они раскрошились на еще более мелкие кусочки. Какое-то время я стояла в опустевшей тихой кухне, испытывая только одно желание — чтобы Бобби с Джонатаном поскорее вернулись домой. Я почти уже собралась снова отправиться в гостиную и усесться перед телевизором, как мне было сказано, но в последний момент все-таки передумала. Я решила выйти к Элис и еще раз неназойливо предложить ей свою помощь. В конце концов я действительно была всего лишь гостьей.

Я открыла дверь и ступила в прямоугольник фонарного света. В небе сияли звезды, которых не смогли затмить даже огни жилого комплекса. Задний дворик был совсем крошечным. Просто небольшой островок травы с клумбой и двумя шезлонгами, окруженный стеной из необожженного кирпича. Элис стояла возле клумбы, спиной к дому. Обеими руками она держалась за голову, раскачиваясь из стороны в сторону. Как раз когда я сделала шаг в ее направлении, она издала что-то вроде стона, обратившегося в долгий свистящий выдох. Потом вырвала у себя клок волос. Я услышала характерный скользкий звук.

— Элис! — сказала я.

Она повернулась, сжимая в кулаке вырванные волосы. Вьющаяся прядь около тридцати сантиметров длиной поблескивала в электрическом свете.

— Вам не нужно всего этого видеть, — сказала она. — Это не ваша жизнь. Идите в дом.

— Может быть, я все-таки могла бы что-то сделать для вас? — спросила я. Она рассмеялась.

— Да, дорогая. Пожалуйста, сбегайте в супермаркет за новой тарелкой. И новым мужем.

Мы стояли друг против друга. Наверное, она ожидала, что я обиженно вернусь в гостиную. Но

я не сделала этого из духа противоречия. Может быть, потому, что я действительно чувствовала себя обиженной.

Минуту спустя она взглянула на вырванный клок волос.

— Вот все, что у меня есть, — сказала она. Я промолчала, не сдвинувшись с места.

— Я не хотела бы, чтобы мальчики видели меня в таком виде, — сказала она. — Особенно Джонатан. Он этого просто не вынесет.

— Не беспокойтесь, — сказала я.

— Однако я беспокоюсь. Вы — другое дело. Вы фактически только такой меня и знаете. Но вы — это другое. В конце концов ведь это естественно, да?

— Да, — сказала я. — Конечно.

Она подняла свободную руку и снова вцепилась себе в волосы. Я схватила ее за запястье.

— Не надо, — сказала я. — Не нужно так.

Я никогда бы не подумала, что осмелюсь до нее дотронуться.

— Не надо? — переспросила она. — Не надо?

— Нет, — сказала я.

Она вздохнула. Я продолжала сжимать ее кисть. Я держала крепко. Какая-то часть моего существа ждала следующего шага Элис, другая

— прислушивалась к растущему во мне ребенку, с которым я была связана сложными взаимопереплетениями любви и ненависти. В моей голове тысячи детей пели о кока-коле — громко и четко, как в телевизоре.

— Понимаете, я больше, чем это, — сказала она. — Как и все люди. Нет, не то. Человечество тут ни при чем! Я говорю о себе, мне себя жалко. Даже Нед тут ни при чем. Я больше, чем это. И как нам теперь быть с бедным Недом? Что делать, чтобы не превратиться в посмешище?

— Вы не посмешище, — сказала я.

— Я не нуждаюсь в вашем снисхождении. Хотите знать один секрет?

Я ничего не ответила. Я продолжала держать ее за тонкое запястье.

— Я собиралась уйти от Неда, — сказала она. — Я уже решила. Я думала, как лучше ему об этом сказать, а тут он упал и умер по дороге к почтовому ящику.

— О господи, — пробормотала я и опять замолчала, не зная, что еще добавить.

— Самое смешное, что я собиралась от него уйти все последние тридцать лет. Я только не понимала, как и что я буду делать. Я разучилась жить одна. И потом, наш дом, тот кливлендский

дом, всегда казался мне таким вечным.

— Но ведь вы же могли выгнать его, — сказала я.

— Но что бы я делала в Кливленде одна? Это жуткое место. А потом я думала: «Если я уйду, у меня уже никогда не будет этой кухни, этих тарелок, так удобно стоящих в угловом шкафчике, не будет этого света по утрам». Я кое-как могла представить себе вещи более общего порядка: одинокие ночи, хождение на работу. Но с чем мне действительно трудно было расстаться, так это вот с такими мелочами. А потом пора было готовить обед, и незаметно проходил еще один день.

— На самом деле то, что вы не ушли, вызывает у меня только уважение, — сказала я. — Мой отец нас бросил, и, честно говоря, я до сих пор от этого не вполне оправилась.

— А я всегда считала, что это просто трусость, — сказала она. — Я терроризировала Джонатана, потому что мне хотелось, чтобы хоть он был со мной, и когда я увидела, что он влюбляется в Бобби, я попыталась их развести. А то, что Нед большую часть времени проводил в своем кинотеатре, меня вполне устраивало, поскольку, как вы, наверное, сами догадываетесь, мы не слишком подходили друг другу в сексуальном

смысле. Романы на стороне были не по его части. Он просто спрятался в своих фильмах. А теперь я уже старая, Нед умер, а бедный Джонатан совсем запутался.

Я заметила самолет, беззвучно плывущий над нашими головами.

— Мне нечего сказать, — призналась я в конце концов.

— А что здесь скажешь? Вы очень сильно давите. У меня пальцы немеют.

— Простите.

Я отпустила ее, и вдруг, к моему удивлению, она сама взяла меня за руку.

— Мы не подруги, — сказала она. — И даже не особенно нравимся друг другу. Наверное, это хорошо. Со знакомыми такой разговор был бы невозможен. Спасибо, что вы не убежали.

— Только, ради бога, не надо сейчас ничего больше говорить, — сказала я с внезапной горячностью в голосе. — Если вы сейчас начнете меня благодарить, мы завтра вообще не сможем смотреть друг на друга. Любой на моем месте поступил бы так же.

— Но вы здесь, — сказала она. — Вы пролетели две тысячи миль, чтобы быть сейчас рядом со мной. Вот за это я вам и благодарна.

— Это все ерунда, — сказала я.

— Нет, это не ерунда.

— Ну, — сказала я, и мы обе сконфуженно умолкли, держась за руки, как оробевшие подростки на свидании.

Прошло около минуты, а потом Элис сказала:

— У меня к вам одна просьба. Возможно, она покажется вам странной.

— Да?

— Вы не могли бы меня обнять? Только очень крепко. Изо всех сил.

— Обнять?

— Да, — ответила она. — Пожалуйста.

Я неловко обхватила ее за плечи. Я не могла ей отказать — для этого я слишком плохо ее знала. Я почувствовала сухой запах ее волос.

— Пожалуйста, как можно крепче, — попросила она. — Не надо со мной церемониться. Не бойтесь. Я хочу, чтобы меня последний раз в жизни обняли, не нежничая.

Я сделала глубокий вдох и прижала ее к себе. Я ощутила ее небольшие груди в бюстгальтере, ее ребра, позвоночник. Хребет у нее был, теперь я в этом не сомневалась.

— Хорошо, — сказала она. — Еще сильнее.

Я свела руки в борцовский замок и сжимала

ее до тех пор, пока не услышала, что она начала хватать ртом воздух, чтобы вздохнуть. Она тоже обняла меня.

— Господи, — прошептала она. — Еще крепче. Только не отпускайте.

Мы стояли обнявшись, когда я услышала, что к дому подъехала машина.

— Ребята вернулись, — сказала я, ослабляя хватку.

— Ой, нет, — прошептала она. — Я еще не готова.

Я услышала, как открылась входная дверь. Спрятаться было негде. Двор был окружен стеной, за которой торчали дома, как две капли воды похожие на дом Элис.

— Идемте, — сказала я и за руку потащила ее в самый дальний и хуже всего освещенный угол двора. — Просто постойте здесь, — сказала я, подведя ее к самой стене.

Я услышала, как Джонатан зовет мать. В окне вспыхнул свет.

— Я ведь не плачу? — спросила Элис. — Не плачу?

— Нет. Стойте здесь, — сказала я и встала перед ней, чтобы заслонить ее от света.

Вскоре открылась задняя дверь, и на пороге

возник темный силуэт Бобби.

— Клэр! — позвал он. — Элис!

— У нас все нормально, Бобби, — отозвалась я. — Возвращайся в дом. Мы сейчас придем.

— В чем дело? — спросил он. — Что-то случилось?

— О, только не позволяйте ему подходить ближе, — прошептала Элис.

— Ничего не случилось, милый, — сказала я. — Все хорошо. Пожалуйста, иди в дом.

— В чем дело?

Он сошел на траву и остановился в нескольких шагах от нас, уперев в бедра сжатые кулаки, как сердитый отец. Я испытала к нему самую сильную неприязнь за все время нашего знакомства.

— Что происходит? — спросил он.

К этому времени Элис начала плакать — от горя и унижения, — долгие, спазматические всхлипы, вырывающиеся из нее с резким, сухим присвистом.

— Это Элис? — спросил Бобби.

— А кто же еще? — сказала я. — Иди в дом.

Он приблизился к нам.

— Элис? — сказал он таким тоном, словно был не вполне уверен, что это она.

Я положила руки ей на плечи. Я не обнимала

ее. Я просто прикоснулась к ней, чтобы она не чувствовала себя окончательно брошенной.

— О, Элис, — сказал он. — Я так вам сочувствую. Все это так ужасно. О господи, это так ужасно…

— Ты не сделал… — вот все, что смогла выдавить из себя Элис.

Бобби шумно вздохнул и тоже заплакал. Я едва сдержалась, чтобы не съездить ему по физиономии. Как он смеет раскисать в такой момент? Я даже замахнулась. Мне давно хотелось сделать что-нибудь в этом роде. Но моя рука замерла на полдороге и, следуя по линии наименьшего сопротивления, удобно легла ему на спину. Чтобы поступить иначе, требовались героическая твердость и самоуверенность, которыми я не обладала. Никакого внятного плана действий у меня не было. Бобби сотрясался от рыданий; его дрожь пронзила меня, как электрошок. Я снова увидела отца — четко и ясно, как на фотографии. Вот он, красивый, нахальный, в зимнем пальто. Одной рукой я касалась Элис, другой — Бобби. Потом, так же ясно, как отца, я увидела мать: раздраженную, подтянутую, стареющую в своем красном пиджаке с квадратными плечами. Я увидела Неда, как будто знала его всю жизнь, — вот он, выпихнутый из дома недовольной женой, си-

дит в своем кинотеатре среди тающей публики, мечтая о Фей Данауэй и Элизабет Тейлор.

Мои руки лежали на Бобби и Элис. И тут я, не желая больше ни под кого подлаживаться, откинула голову назад и засмеялась. Смешного было мало, но я смеялась. Я понимала, что это нехорошо — хохотать в такой момент, но все зашло как-то уж слишком далеко. Я решила, что не буду смущаться, и не смущалась. Я продолжала хохотать. Отсутствие реальных поводов для смеха, кажется, только еще сильнее меня раззадоривало.

Потом я почувствовала, что кто-то полувопросительно трогает меня за плечо. Я оглянулась и увидела Джонатана, боязливо и вместе с тем страстно просящегося в наш круг. Я потеснилась, чтобы он мог поместиться между мной и Бобби, и протянула руку так, чтобы касаться их обоих. Я продолжала хохотать, чувствуя, как во мне начинает подниматься какая-то тяжесть, что-то большое и вязкое, как ком теста, что-то такое, что я проглотила настолько давно, что сама уже об этом забыла. Я смеялась над своим отцом — пьяным мальчишкой, измученным собственной приверженностью к безалаберности и хаосу. Я смеялась над своей суровой, склонной к патетике

матерью. Я смеялась над мечтательным Недом, превратившимся в кучку пепла. Я смеялась над бесхарактерным Джонатаном, над Бобби и над собой, обрюхаченной на пятом десятке, но так и не разобравшейся до конца в своих чувствах. Я смеялась над Элис, оказавшейся в этом чудовищном доме посреди пустыни только потому, что она не могла помыслить себя без углового шкафчика. Я смеялась над всем пустым и ничтожным.

Джонатан

Мы проехали через семь штатов. Клэр тошнило в каждом. В первый раз — на южной оконечности Большого каньона, когда она, бледная и напряженная, стояла около невостребованного телескопа, глядя вниз сквозь темные очки. И вот в тот момент, когда Бобби, вцепившись в загородку, выкрикивал что-то по поводу головокружительной бездны, Клэр тронула меня за локоть и еле слышно сказала:

— Милый, мне кажется, я этого не вынесу.

— Чего этого?

— Вот всего этого. — Она махнула рукой в сторону пропасти. — Всей этой красоты и величия. Это для меня слишком.

Я стоял рядом, и, хотя утро было тихим, мне захотелось заслонить ее от ветра, которым, казалось, была чревата огромность каньона. Солнце только-только взошло. Слепящие золотые лучи, отражаясь от скал, тонули в дрожащем полупрозрачном озере алеющей тьмы, казавшейся бездонной. Бобби в экстазе прыгал у загородки, обхватив себя руками и потрясенно постанывая.

— Ничего, — сказал я Клэр. — Расслабься. Еще немножко посмотрим и поедем завтракать.

При слове «завтракать» Клэр согнулась пополам и, чтобы не упасть, схватилась за телескоп, который, скрипнув, повернулся вверх, уставившись в ярко-розовый разрыв облаков. Она открыла рот, но ее не вырвало. Одинокая нитка слюны, сверкая, повисла в воздухе.

Я взял ее за плечи.

— Родная, что с тобой? Тебе плохо?

— Слишком красиво, черт побери, — сказала она. — Отведи меня в машину.

— Подожди, я позову Бобби.

— Не нужно, — сказала она. — Не мешай ему. Видишь, он вроде как в трансе.

Похоже, она была права. Бобби, прекратив к тому времени свои экстатические прыжки, замер, держась обеими руками за перила, как капитан

корабля во время шторма. В отличие от нас с Клэр он не стеснялся проявлять свои чувства — никаких тормозов у него тут не было.

Я помог Клэр забраться в наш взятый напрокат «шевроле». Со смешанным чувством иронии и любопытства мы согласились на предложение Бобби поехать из Аризоны в Нью-Йорк на машине. Это было первое утро нашего путешествия. Мы стартовали от дома моей матери в три часа ночи, чтобы уже к рассвету добраться до Большого каньона. За последующие пять суток мы пересекли Скалистые горы и Великие равнины, отдали дань уважения огайским мертвецам и купили специальные сосуды для смешивания коктейлей в Пенсильвании. Больше всех радовался этой поездке Бобби; он в основном и сидел за рулем. По его настоятельным требованиям мы останавливались у каждого магазинчика, рекламировавшего «домашний джем» или «товары ручного промысла», которые в трех случаях из четырех оказывались изготовленными где-нибудь в Азии. Пользуясь моей кредитной карточкой, он накупил кассет больше чем на сотню долларов: «Роллинг стоунз», Дэвид Боуи, Брюс Спрингстин. «Born to Run» он ставил до тех пор, пока озверевшая Клэр не выбросила эту кассету из окна при

подъезде к Сандаски.

Я усадил ее на переднее сиденье. В машине стоял чистый прорезиненный запах, и Клэр сделала глубокий вдох, как будто этот дистиллированный воздух мог вернуть ее к жизни.

— Спасибо, солнышко, — сказала она. — А теперь иди. Любуйся Большим каньоном.

— Нет, я побуду с тобой.

— И ты думаешь, я позволю тебе просидеть в этой дурацкой жестянке, вместо того чтобы наслаждаться видами? Иди. Я тебя умоляю.

И я ушел и встал рядом с Бобби. В такую рань, да еще в межсезонье на смотровой площадке, кроме нас, никого не было. На узкой полоске красноватой земли по ту сторону ограды поблескивал скомканный бумажный стаканчик. Холодный утренний свет омывал наши лица.

— Поразительно, — сказал я.

Бобби повернул голову и посмотрел на меня. Говорить он не мог и, наверное, предпочел бы, чтобы и я помолчал. Но его вежливость никогда ему не изменяла.

— Угу.

— Все равно оказываешься к этому не готов, — сказал я. — Это так растиражировано на всех этих подносах, кухонных полотенцах и прочем,

что кажется, и оригинал должен быть чем-то вроде кича.

— Угу.

— Клэр вообще в нокауте. Мне пришлось отвести ее в машину.

— Мм.

Он обнял меня за плечи — потому что любил и потому что безумно хотел, чтобы я заткнулся. Я обхватил его за талию. Я чувствовал его запах и его объемистую знакомую плоть. Мы смотрели, как встает солнце. Бобби был теплым и большим. В его голове кружились мысли, одновременно знакомые и совершенно неведомые. На его запястье по-прежнему темнело каштановое родимое пятно. Клэр сидела в машине, оглушенная этой невероятной красотой. Я подумал, что никогда не любил никого в жизни, кроме своих родителей и вот этих двух людей. Возможно, мы просто не способны полностью оправиться от наших первых влюбленностей. Возможно, в свойственной юности расточительности мы легко и чуть ли не произвольно раздариваем наши привязанности, безосновательно полагая, что у нас всегда будет что еще предложить.

На следующее утро Клэр снова было дурно. На этот раз на Пайкс-Пик.

— Наверное, у меня аллергия на национальные достопримечательности, — сказала она.

Мы довели ее до туалета на бензозаправочной станции и ждали почти полчаса. Наконец она появилась — бледная, с неестественно прямой спиной, в темных очках и с заново накрашенными темно-красными губами. Она была похожа на престарелую кинозвезду. За ней высились снежные громады гор.

— Милая, — сказал я, — может, поедем прямо в Денвер и посадим тебя на самолет?

— Нет, — ответила она. — Я думаю, со мной ничего страшного. Ведь вчера же я пришла в себя, правда? Наверное, это просто какой-нибудь легкий вирус.

Она и в самом деле повеселела часам к десяти. Ее щеки вновь порозовели, и она перестала казаться такой скованно-напряженной.

Мы проезжали затянутые первой прозрачной зеленью поля и луга, за которыми виднелись горы, поросшие соснами. Это был ласковый, широко распахнутый пейзаж, начисто лишенный оттенка тревожности. Я подозревал, что севернее местность должна быть суровей, горы — зазубренней и что, если оказаться там слишком далеко от дороги, можно так и пропасть, навсегда зате-

рявшись в бескрайних просторах между землей и небом. А тут, в центре Колорадо, нас окружала только вот такая воздушная и совсем не страшная красота. Здесь были холмы и пастбища. Здесь были серебристые ручьи, бегущие вдоль шоссе среди темно-шоколадных камней. Это был добрый, плодородный край. Он умилял, но не менял вас, не угрожал разбить ваше сердце.

Мы провели на колесах весь день и еще до темноты были в Небраске. По дороге Клэр читала «Вог», «Интервью» и «Роллинг стоун».

— Знаете, что самое замечательное в автомобильных путешествиях? — сказала она. — Вот эта узаконенная возможность часами читать всякие глупые журналы. Любоваться видами можно всегда, виды всюду есть. Но, не испытывая стыда, прочитать весь «Интервью» — это действительно редкость.

Мы переночевали в мотеле в пятидесяти милях к западу от Линкольна и, едва рассвело, снова тронулись в путь. В то утро Клэр почти не мутило. Мы вошли в убаюкивающий ритм дороги, чтения, еды и слушанья музыки. За окнами мелькали сельскохозяйственные угодья Небраски, Айовы и Иллинойса. Чтобы почувствовать, что такое Америка, нужно проехать через Великие

равнины. Отличительными особенностями этой страны являются вовсе не потоки машин и витрины, ломящиеся от изобилия товаров, а вот такие пронизанные ветром безлюдные пространства, лишь немного недотягивающие до полной потусторонности — горизонт никогда не бывает совсем пустым. Солнце вспыхивает то на далекой водонапорной или силосной башне, то на рекламном щите, то на жестяной крыше какой-нибудь времянки. Через каждые двадцать-тридцать миль проезжаешь очередной городок, продолжающий существовать лишь потому, что его когда-то построили и тем самым обрекли на существование. В некоторых из этих городков мы останавливались перекусить в надежде на домашние картофельные лепешки или пирожки, испеченные за час до нашего приезда женами ресторанных владельцев, но еда неизменно оказывалась безвкусной — либо едва оттаявшей, либо подогретой в микроволновой печи. Мимо пролетали засеянные, но все еще пустые поля — безграничные просторы черной пахотной земли, обращенной к сырому небу. Клэр читала нам из сборника рассказов Фланнери О'Коннор. Растущие кучи оберток и пустых бутылок придавали нашему автомобилю все более и более

непрезентабельный вид.

Добравшись поздним вечером до Индианы, мы уже почти полностью выпали из нашей прошлой жизни и потеряли ощущение будущего — казалось, мы всегда ехали и всегда будем ехать по этой бесконечной равнине среди полей и лугов. В этом кошмар и привлекательность долгого путешествия. Вы с поразительной быстротой теряете связь со своим прошлым. Думаю, что после двух недель в космосе астронавт уже и сам не вполне уверен в своем земном происхождении, а через полгода ему или ей и вовсе не обязательно возвращаться на землю.

На следующий день мы проехали через Кливленд. Клэр опять было нехорошо — хуже, чем в Небраске, но чуть лучше, чем на Пайкс-Пик. Однако к одиннадцати часам утра, когда мы миновали знак с надписью «Кливленд», она более или менее пришла в себя.

— Кливленд, — сказала она. — Никогда не думала, что окажусь в таком экзотическом месте!

При въезде в город нас с Бобби охватило томительное нервное возбуждение. Мы указывали друг другу на здания и шутили по поводу их высоты. Когда-то они казались такими огромными! Миновав железобетонный хаос центра,

мы сделали привычный поворот. Наш маршрут был коротким. Сначала мы проехали мимо новой автостоянки — шестиэтажного комплекса из кирпича и бетона, выросшего на том месте, где когда-то находился кинотеатр моего отца. Автостоянка представляла собой многоярусное строение из наклонных плоскостей с синей неоновой стрелой, указывающей в сторону центрального входа. Стрела — вряд ли умышленно — получилась красивой. Это бесхитростное, сугубо функциональное сооружение, казалось, простоит сотни лет. Кинотеатр отца, построенный в годы «депрессии», был сложен из желтых кирпичей (кладкой в «елочку») с дешевым орнаментом и алюминиевой волной, бегущей по верхней части стены. Даже совсем еще новый, он должен был казаться временным скромным памятником трудным временам и человеческому энтузиазму, вступившему в неравную схватку с забвением. Гигантское здание для парковки, лишенное всякой романтичности, было твердым и гладким, как таракан.

— Ну вот и все, папа, — сказал я. — Покойся с миром!

Я сумел произнести эти слова резковато-ироническим тоном, потому что не хотел выглядеть

слишком расчувствовавшимся в столь очевидный момент. Сам я ничего не имел против сентиментальности, но мне не хотелось выступать в роли энергетического вампира. Тем более что снос кинотеатра меня не особенно огорчал. Я испытывал смутное чувство стыда, одиночества и физиологической радости просто оттого, что выжил и попал в будущее. Даже самый отчаянный противник перемен не мог бы оспаривать того факта, что эта часть города в целом улучшилась. Всюду поблескивали золотыми буквами вывески новых ресторанов, а на месте усопшего семейного магазинчика, когда-то торговавшего унылой старомодной одеждой и безвкусной бижутерией, теперь располагался супермаркет известной фирмы.

Мы проехали мимо моего бывшего дома, выглядевшего, надо сказать, просто замечательно. Новые хозяева покрасили его в хвойно-зеленый цвет и поменяли крышу. Над бывшей спальней родителей часть потолка была стеклянной. Я хорошо представлял себе, как выглядят теперь наши комнаты: стены, наверное, выкрашены в белый цвет, дубовый пол без ковра. Картины, немного кожаной мебели.

— Черт возьми, — сказал Бобби. — Ты посмотри,

что они с ним сделали!

— По-моему, здорово! — отозвался я. — Не останавливайся. Он уже не наш. Даже не думай звонить в дверь и проситься заглянуть внутрь.

— Я и не собирался, — сказал он, хотя, уверен, без меня он именно так бы и поступил. Бобби не умел оставлять вещи в покое.

Нашей последней остановкой было кладбище. Сначала мы проехали мимо низкой каменной стены с надписью «Вудлон» витиеватыми буквами из кованого железа. Последняя буква была отбита и присутствовала лишь в виде бледного отпечатка на камне. Проехав по узкой извилистой улочке мимо одинаковых домов, стоявших группками по три, мы остановились на пятачке, где когда-то находился сгоревший дом Бобби. Хотя пожар был двадцать лет назад и площадку, на которой стоял дом, давно разровняли бульдозером, тут так ничего и не построили. Работы по реконструкции до этой части города не дошли. Местные жители аннексировали этот участок без составления формального акта о купле-продаже. Обнесенный забором маленький садик был готов к весенним посадкам, в некошеной траве ржавели качели. Похоже, бывшая собственность Морроу сделалась чем-то вроде публичного пар-

ка на окраине Кливленда, перейдя к тем, кто и поныне жил в окрестных дешевых жилищах с гипсовыми гномами и кормушками для птиц на газонах. Я представил себе, как они собираются здесь по вечерам — дети качаются на скрипучих качелях, женщины сажают семена подсолнуха и обсуждают последние новости. Это было немножко противозаконно — вот так неофициально присвоить освободившийся участок, — но, чтобы завладеть им теперь, пришлось бы вступить в борьбу с этими не слишком преуспевающими людьми, уже кое-как приспособившимися за ним ухаживать. Тот, кто сровнял бы с землей их маленькое хозяйство и построил здесь свой дом, поневоле оказался бы в роли захватчика и колонизатора. И земля бы просто затаилась, выжидая, пока и от нового дома ничего не останется. Эти окраинные четверть акра как бы вновь вернулись в свое более дикое состояние, и их нельзя уже было одомашнить без войны, неизбежно запятнавшей бы руки победителя.

— Вот здесь он стоял, — сказал Бобби.

Клэр растерянно озиралась по сторонам. По-видимому, она все-таки ожидала чего-то другого, чуть менее ординарного, хотя мы сделали все от нас зависящее, чтобы ее подготовить.

Мы вылезли из машины на островок голой земли под потрясенным взглядом рыжеволосого карапуза, ковырявшегося в пыли столовой ложкой, а теперь ошарашенно следящего за нами с широко разинутым ртом.

— Вот здесь была входная дверь, — сказал Бобби, — тут — гостиная. Там — кухня.

Какое-то время мы стояли в этом фантомном доме на залитой солнцем голой земле. Клэр наклонилась и подняла пластмассового бежевого солдатика с базукой.

— Тут был подвал, — сказал Бобби, — а может, вон там.

Мы перелезли через овраг, отделявший участок от кладбища. По дну оврага бежал коричневый ручеек талой воды. Бобби быстро взглянул на ангела, венчавшего одно из надгробий, самый высокий памятник в этом углу кладбища. Он стоял на цыпочках, чуть подавшись вперед, с высоко поднятыми тонкими руками. В его позе было скорее что-то экстатичное, нежели умиротворенное, хотя едва ли скульптор хотел добиться этого выражения торжествующей сексуальности.

— Тут раньше был забор, — сказал Бобби, словно оправдываясь. — Наш задний двор все-таки не был таким открытым.

Я вспомнил забор Морроу и как ангел парил над ним, белея сквозь ветки.

— Мм, — сказала Клэр.

С тех пор как мы въехали в Кливленд, она заметно притихла. О чем она думала, трудно было сказать.

Бобби провел нас прямо к могилам своих родных. Ряды плит, как волны, накатывали метров на сто пятьдесят, а дальше опять тянулось нетронутое поле зеленой травы, всегда готовое принять новых постояльцев, тех, кто на сегодняшний день был еще жив.

— Вот, — сказал Бобби.

У его отца, матери и брата были одинаковые гранитные надгробья из поблескивающего темно-серого, как будто мокрого камня. На них были выбиты только имена и даты. Мы молчали. Бобби смотрел на могилы с искренним, почти безличным почтением экскурсанта, посетившего святыню. Период его траура окончился, и он покинул пространство, в котором неотменяемо продолжалась кончина его семьи. Они, все трое, уплыли куда-то, оставив его здесь. Спустя какое-то время он сказал:

— Иногда я думаю, может, нужно было еще что-то написать на этих плитах. А то видно, что

это родственники, а больше ничего.

— Что написать? Что ты имеешь в виду? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он. — Что-нибудь. Бог его знает.

Я заметил, что Клэр смотрит на Бобби с плохо скрываемым удивлением. Думаю, она до сих пор до конца не осознавала, что у него тоже есть прошлое, своя история потерь и великих стремлений. Он просто представлялся ей чудаком с кучей нереализованных возможностей — она фактически считала его своим творением. Подобно тому как гипнотизер видит в человеке, с которым работает, лишь поле для засевания своими установками, Клэр видела в Бобби объект, чей успех или провал связан исключительно с ней. Она была той самой — единственной — женщиной, с которой он спал. Она его стригла, подбирала ему одежду. Возможно, что-то похожее бывало в прошлом, когда невеста попадала в дом мужа столь юной и несформированной, что его склонности и привычки автоматически передавались ей, становясь неотделимыми от ее собственных. Клэр, игравшая в этой паре роль мужа, впервые увидела, что у Бобби есть какая-то своя жизнь вне сферы ее влияния. Обрадовало ее это или

испугало, я не мог сказать.

Вскоре мы покинули кладбище. Было чувство, что следует сказать или сделать что-то еще, но умершие — трудная тема. Пожалуй, самое примечательное в них — неизменность их статуса. Они будут мертвы в том же самом смысле и через тысячу лет. Я все еще привыкал к этому в связи с моим собственным отцом. Пока он был жив, я всегда подсознательно исходил из подвижности наших отношений. Теперь возможность что-либо изменить была утрачена. Он навсегда унес ее с собой в печь крематория.

Мы опять сели в машину. Я дотронулся до двух серебряных колечек в ухе и, скосив глаза, поглядел вниз на свою одежду. На мне были ковбойские сапоги, черные джинсы и десять узких браслетов на запястье. Я мог путешествовать, менять работу, читать Тургенева. Мне по-прежнему были доступны все виды любви.

— Следующая остановка — город Нью-Йорк, — объявил Бобби, усевшись на водительское место. Выражение лица у него было не то чтобы угрюмое, а какое-то отсутствующее — как всегда, когда он сталкивался с чем-то печальным. Его голос терял ритмичность, лицевые мускулы распускались. Я никогда ни у кого не видел ничего

похожего. Бобби словно и в самом деле уходил куда-то. В такие минуты казалось: ткнешь его иголкой, и она пройдет лишнюю пару миллиметров, прежде чем он закричит. При этом он и держался, и говорил как обычно. Но что-то пропадало, что-то живое гасло. Бобби становился сонным и заторможенным. Увидев его в таком состоянии, тот, кто его хуже знал, наверное, решил бы, что он просто туповат.

Я поинтересовался, не хочет ли он заглянуть в булочную — поздороваться со своей прежней начальницей; но он отказался. Он сказал, что уже слишком поздно, словно мы должны были поспеть в Нью-Йорк к назначенному часу. Я потрепал его по плечу, когда мы выезжали на автостраду. Думаю, мы оба были раздавлены Кливлендом — его заурядностью, его скромными переменами к лучшему. Возможно, кто-то испытывает более определенные эмоции при посещении родных мест — скажем, тот, кто вырвался из промышленных трущоб или, наоборот, низвергся вниз с заоблачных высот богатства и счастья. Возможно, он с большим правом может сказать: тогда я был там, сегодня я где-то еще.

Весь следующий час мы молчали. Клэр выглядела настолько отрешенной, что я даже

поинтересовался, как она себя чувствует, на что она раздраженно ответила: «Нормально». Мы ехали по Пенсильвании, раскручивающейся перед нами, как бесконечный бумажный рулон. Промелькивали белые сельскохозяйственные постройки и округлые холмы. Мы продвигались вперед словно в небольшой капсуле беспричинной тоски. Когда мы проезжали мимо щита с рекламой «Попкорн Джей-Ди», Бобби неожиданно сказал:

— Я вот все думаю: вам бы не хотелось когда-нибудь переселиться за город? Купить дом и всем вместе там типа жить?

— В смысле втроем? — спросил я.

— Ага.

— Коммуны больше не в моде, — сказала Клэр.

— А мы бы и не были коммуной. Ведь мы вроде как семья. Вам не кажется?

— Мне кажется, — сказал я.

— А мне нет, — сказала Клэр. — Ничего общего.

— Нравится тебе это или нет, — сказал ей Бобби, — но теперь уже слишком поздно давать задний ход.

— Останови машину, — тихо сказала Клэр.

— Что? Почему?

— Тебе нехорошо?

— Притормози. Останови машину.

Бобби съехал на обочину, думая, что ее снова тошнит. Мы были в буквальном смысле нигде, между незасеянными полями в сорняках и пожнивных остатках. Впереди у поворота поблескивал знак «Тексако».

— Милая, — сказал я, — что с тобой?

Она распахнула дверь еще до того, как машина полностью остановилась. Но вместо того чтобы высунуться блевать, вдруг выпрыгнула на дорогу и решительным шагом двинулась вперед по краю шоссе вдоль придорожного кустарника. Мы с Бобби растерянно глядели ей вслед.

— Что с ней? — спросил я его.

— Понятия не имею.

— Надо ее догнать.

Мы вылезли из машины и побежали за ней. Мимо нас, подняв смерч мусора и гравиевой пыли, прогрохотал восемнадцатиколесный грузовик.

— Эй, — сказал Бобби, тронув ее за локоть. — Что происходит?

— Отстаньте от меня, — сказала она. — Я вас очень прошу: возвращайтесь в машину и оставьте меня в покое.

Может быть, она и вправду неожиданно для самой себя решила уйти от нас? Может быть, она

решила добираться в Нью-Йорк на попутках или начать странствовать по стране, останавливаясь в маленьких провинциальных отелях, устраиваясь то тут, то там официанткой? Я сам иногда мечтал о чем-то подобном.

— Клэр, — позвал я. — Клэр!

Я надеялся, что она придет в себя просто от звука моего голоса. Ведь я был ее другом, причем самым близким. Она обернулась. Ее лицо было темным от бешенства.

— Оставьте меня в покое, — повторила она. — Убирайтесь. Оба.

— Что случилось? — спросил Бобби. — Ты что, правда заболела?

— Да, — сказала она.

Чтобы избавиться от нашего преследования, она свернула с дороги и пошла по плоской известковой земле. Я заметил несколько рваных покрышек и расплющенный труп енота, мумифицированный прошедшими сезонами. Мы бросились за ней, заходя с флангов.

— Клэр, — сказал я, — в чем дело? Что происходит, в конце-то концов?

— Я беременна, — прошипела она. — Довольны?

— Беременна?

— У нас будет ребенок? — спросил Бобби.

— Заткнись, — сказала она. — Будь добр, заткнись, пожалуйста. Я не буду рожать, ясно?

— Будешь.

— Нет. О, дьявол! Ему уже три месяца. Со мной никогда еще не бывало такого по утрам. В прошлый раз я приняла меры до того, как все это началось.

— Но ты же хочешь ребенка, — сказал Бобби.

— Нет. Я… не знаю. Это просто лень и глупость.

— Но ведь это же замечательно. Мы все втроем будем его растить.

— Ты просто спятил. Ты сам-то понимаешь, что несешь?

— Ребенок! — сказал мне Бобби. — Вот это да! У нас будет ребенок.

— У *нас* никого не будет! — заявила Клэр. — *Я,* может быть, рожу. А может, и нет.

— Милая, ты серьезно? — спросил я.

— Абсолютно. Абсолютно серьезно.

Мы стояли посреди пустого поля. Впереди не было ничего, кроме полосы деревьев бетонного цвета, за которыми начиналось еще одно поле. Тем не менее Клэр снова двинулась вперед, словно там, за горизонтом, ее ожидали ответы на все вопросы. Солнце едва пробивалось сквозь

размазню облаков.

— Клэр, — позвал Бобби, — подожди.

Она остановилась, оглянулась и, кажется, впервые увидела, что находится бог знает где, и идти, в сущности, некуда.

— Я так не могу, — сказала она. — Я должна любить кого-то одного либо растить ребенка сама.

— Ты просто испугалась, — сказал Бобби.

— Если бы! На самом деле я разозлилась. Я вообще уже ничего не понимаю. Я чувствую себя последней дурой! Что мы будем делать? Запишемся на курсы молодых родителей? Все втроем?

— Хорошая мысль, — сказал я. — Почему бы нет?

— Ты зря думаешь, что я настолько экстравагантна, — сказала она. — Это у меня просто волосы такие.

Она взглянула на Бобби, потом — на меня. С вызовом и одновременно с мольбой в глазах. Ей было сорок лет. Она была беременна и влюблена в нас обоих. Думаю, что больше всего ее угнетала именно несуразность ситуации, в которой она оказалась. Как и большинство из нас, она с детства верила, что любовь придает жизни строй и лад.

— Не бойся, — сказал я.

Мы с Бобби стояли перед ней совершенно потерянные. У нас не было ни дома, ни мыслей, как быть и что делать с этой мучительной любовью, выламывающейся из всех общепринятых рамок. За нашими спинами с ревом проносились машины. Грузовик просигналил своим чудовищным океанским гудком. Клэр раздраженно мотнула головой и, не придумав ничего лучшего, снова зашагала вперед, взяв курс на бледные обнаженные деревья.

Часть III
Бобби

Я считал, что воспитывать ребенка в городе — слишком хлопотно. В городе слишком много соблазнов, слишком много всякой чуши и мути. Джонатан был со мной согласен. Клэр колебалась, побаиваясь, что чересчур спокойная жизнь тоже может иметь дурные последствия.

— А вдруг он вырастет в этакую Ганди?[43] — сказала она. — Я не хочу, чтобы мой ребенок был *слишком* хорошим. Я этого просто не вынесу.

Я напомнил ей о тех мерах, которые Нью-Йорк не задумываясь готов применить к каждому, недостаточно взрослому и поднаторевшему в борьбе за место под солнцем. Я расписал достоинства маленьких провинциальных школ и благотворное воздействие зеленого цвета на нашу психику.

— А потом, ты зря волнуешься, — добавил Джонатан, — загородное детство давно уже не

---

[43] Примечания: 43

Героиня одноименного романа швейцарской писательницы И. Шпири (1827–1901), воспевающей простую жизнь в гармонии с Богом и природой.

гарантирует примерного поведения в зрелости. Большинство действительно выдающихся убийц приходят к нам с заброшенных ферм и пустынных трейлерных стоянок.

— Ну ладно, — сдалась наконец Клэр. — Пусть Нью-Йорк будет для него тем местом, куда можно в случае чего убежать. Если мы будем воспитывать его в Нью-Йорке, он просто переберется за город, когда вырастет.

И вот мы начали обзванивать риэлторские конторы и ездить смотреть дома. Мы могли себе позволить два рода недвижимости: либо в жуткой глуши, либо в плачевном состоянии, ведь никаких денег, кроме наследства Клэр, у нас не было. Покупая дешевое жилье, оказываешься невольным свидетелем ежедневного фиаско рода человеческого. Вы чувствуете гниловатый овощной дух, проникающий сквозь отсыревшие стены, видите пол и потолок, на которых медленно, но верно проступают знаки будущего распада. Деньги рано или поздно кончаются, а непогода и обветшание вечны и в конце концов побеждают просто за счет своей неотвратимости.

— Сейчас главное — не останавливаться! — твердила Клэр. — Главное — не останавливаться и не думать, а то я могу опомниться.

И вот через три недели мы нашли двухэтажный темно-коричневый дом в пяти милях от Вудстока, места, не лишенного безумноватого материнского обаяния, чьи недостатки более или менее уравновешивались его достоинствами. Дом стоял на прочном фундаменте. Цена была низкой — ценой последней надежды! От находящегося неподалеку поля люцерны исходило легкое сияние, наполнявшее комнаты дрожащим золотистым светом, доказывающим, что все наши представления о времени — просто иллюзия. Из кранов текла колодезная вода, чистая и холодная, как сама добродетель.

Но, конечно, была и обратная сторона медали: вышедшая из строя электропроводка, трубы, покрытые кружевными разводами ржавчины. В рассохшихся сосновых досках пола сновали муравьи-древоточцы.

— По крайней мере, у этого дома есть душа, — сказал Джонатан. — Понимаете, да? Мне кажется, он еще жив.

Клэр кивнула. Она провела большим пальцем по дверному косяку и неодобрительно разглядывала теперь свой палец.

— Это то, что надо! — сказал я. — Неужели ты ничего не чувствуешь?

— Ммм, — сказала Клэр. — Почему? Чувствую: тошноту, головокружение, панику.

Она продолжала рассматривать палец.

Проспорив неделю, мы все-таки купили этот дом. Мы купили колодец и послеобеденный свет. Мы купили пятнадцать дубов, восемь сосен, заросли ежевики и две могилы, такие старые, что надписей было уже не разобрать.

— Прощайте, Париж и Стамбул! — заявила Клэр, сидя на зеленом пластиковом стуле и подписывая бумаги.

— Прощай, «Армани»! Прощайте, туфли из крокодиловой кожи! — воскликнул Джонатан.

Они оба грустно хихикнули. И вот бумаги были подписаны — сделка состоялась. На деньги, завещанные «бриллиантовым дедушкой», Клэр купила нам еще одну возможность начать с чистого листа. В качестве бесплатного приложения агент по продаже недвижимости разлил по пластмассовым стаканчикам белое вино.

Мы решили, что рухлядь, то есть примерно половину всей нашей мебели, мы с собой не повезем. Мы выставили эти вещи на улицу для тех, кто, исполненный радужных надежд, еще только прибывал туда, откуда мы уже уезжали. Мы видели из своего окна, как прохожие растаскивают

наш убогий скарб. Одна женщина унесла наше бра. Двое бритоголовых парней и толстая татуированная девица забрали продавленный диван, покрытый искусственной леопардовой шкурой.

— Прощайте, бесценные сокровища! — сказала Клэр.

От ее дыхания на стекле затрепетало туманное пятнышко, похожее на сердечник кассеты.

— Прощай, дырявое старье, — сказал Джонатан и добавил: — Милая, иногда ностальгия просто неуместна.

— Я тащила этот диван с Шестьдесят седьмой улицы, — сказала Клэр. — Много лет назад. Вместе со Стивеном Купером и Малышкой Биллом. Через каждые пару кварталов мы останавливались и садились на него отдыхать, потом снова тащили. Мы потратили на это всю ночь. Время от времени к нам подсаживались бездомные, и мы все вместе пили пиво. У нас появилось много новых друзей в ту ночь.

— А теперь у тебя есть собственный дом, и скоро ты станешь матерью, — сказал Джонатан. — Или ты собиралась всю жизнь копаться на нью-йоркских помойках?

— Малышка Билл умер, — сказала Клэр. — Я тебе говорила?

— Нет.

— Мне Коринн сказала. Примерно год назад. В Южной Калифорнии. Мы все давно потеряли его из виду.

— Жалко. А как Стивен?

— О, у Стивена все замечательно. Он и вправду открыл ювелирный магазин на Кейп-коде. Продает туристам маленьких золотых китов и ласточек. Наверное, неплохо зарабатывает.

— Ясно, — сказал Джонатан. — Хорошо. В смысле, он, по крайней мере, жив.

— Ммм.

Мы наблюдали, как наш диван плывет по Восточной четвертой улице. На тротуаре под нашими окнами о чем-то ожесточенно спорили мужчина и женщина в кожаных куртках, вертя в руках кухонные часы Клэр — желтый пластиковый бумеранг, покрытый ярко-розовыми светящимися точками.

— Как же я могла поддаться на твои уговоры? — сказала Клэр. — Выбросить такие часы! Я сейчас спущусь и объясню им, что это ошибка.

— Не смей, — сказал Джонатан. — Они тебя убьют.

— Джонатан, это же коллекционная вещь. Они не дешевые, между прочим.

— Родная, они давно не ходят. Забудь о них.

Клэр молча кивнула, глядя, как парочка мчится в сторону Первой авеню, пасуя друг другу часы, как футбольный мяч. Она погладила свой беременный живот. И подышала на стекло.

С тех пор прошло десять с лишним месяцев. Теперь мы живем на краю поля. За полем — горы. Сквозь планки нашего забора пробиваются голубые цветы с колючими стеблями, в воздухе жужжат трудяги-пчелы, над деревьями висит косматое молочно-голубое небо. Горы — старые. Скругленные ветрами и дождями. В них нет ни капли бунтарского величия, свойственного более молодым и фотогеничным кряжам. Они отбрасывают гладкую ровную тень и совсем не ассоциируются со скрежетом тектонических сдвигов. Они равномерно покрыты соснами и отрезают от неба невысокие скромные полукружья.

— Не люблю виды! — говорит Клэр. — Это так банально!

Она стоит за мной в некошеной траве. Это наш первый апрель на новом месте, и это уже новая Клэр: она стала резче и саркастичнее. А еще говорят, что материнство делает женщину мягче.

— Брось! — говорю я ей. — Ты не права.

Над домом парят две вороны. Одна издает пронзительный режущий крик, как будто железом провели по железу.

— Кретинки, — говорит Клэр, — пожиратели падали. Ждут не дождутся, когда первый из нас умрет от скуки.

By the time we got to Woodstock,
we were half a million strong,
and everywhere there was song
and celebration,[44] —

нежно пою я ей в ухо.

— Перестань.

Она отмахивается от моего пения, как от зловредной вороны. Я слышу, как звякают ее серебряные браслеты.

— Вот уж кем не думала стать на старости лет, — говорит она, — так это хиппи.

— Знаешь, это не самое худшее, что бывает, — говорю я.

— Мы опоздали, — объявляет она. — Ласточки опять превращаются в истребители. Разве ты не видишь, что происходит? Скоро весь тот холм

---

[44] Примечания: 44

Когда мы прибыли в Вудсток, нас было полмиллиона и мы все время пели и веселились *(англ.)*.

застроят коттеджами, я тебе точно говорю.

— Не думаю. Откуда возьмется столько покупателей?

Она смотрит на горы, как будто на них мелкими четкими буквами написано все, что случится в будущем. Она щурится. На какой-то миг она становится вылитой фермершей — вся сухожилия и подозрительность. Таким женщинам плевать на наряды и макияж. Она могла бы быть матерью моей матери, с неодобрением озирающей безграничные пространства, лежащие за пределами ее висконсинских владений.

— Но мы ведь рассчитываем, что у «Домашнего кафе» не будет проблем с клиентами. Господи, неужели мы действительно его так назвали?

— Людям это понравится, — говорю я.

— Все это так странно! Так немодно и — странно.

— Ну, как бы да.

— Без всяких «как бы».

Она такая резкая и злая, такая ни на кого больше не похожая, что я вздрагиваю от беззаконного спазма счастья. Она такая настоящая, такая Клэр. Я исполняю короткий судорожный танец, не имеющий ничего общего ни с грацией, ни с загадочными и непреложными законами рит-

ма, — дергаюсь, как деревянная марионетка. Клэр делает большие глаза — маска удивленной жены. Каждый день приносит что-то новое.

— Ну что ж, — говорит она, — отрадно, что хотя бы одному из нас хорошо.

— А почему мне должно быть плохо? — отвечаю я. — Ведь теперь мы действительно чем-то стали, то есть я хочу сказать, что мы теперь не сможем просто взять и разбежаться в разные стороны, даже если кому-то из нас троих придет такая фантазия.

— Хотелось бы верить, — говорит она.

— Знаешь, о чем я думаю? Хорошо бы превратить сарай в отдельный домик, чтобы Элис тоже смогла перебраться сюда, когда ей надоест ее бизнес.

— Разумеется. А потом надо будет построить еще один дом для моей учительницы четвертого класса.

— Клэр! — говорю я.

— Мм?

— Ведь на самом деле ты счастлива, правда? В смысле, я хочу сказать, ведь это наша жизнь, да?

— О да. Это наша жизнь. Но ты же меня знаешь, я всегда чем-нибудь недовольна. Так уж я устроена.

— Понятно.

Мы еще какое-то время разглядываем горы, а потом поворачиваемся и идем к дому. Он такой старый, что даже его призраки и те давно растаяли в стенах. Чувствуется, что он служит вместилищем не чьего-то личного горя, а спрессованного бытия десяти разных поколений с их обедами и ссорами, рожденьями и последними вздохами. Сейчас мы присутствуем при постыдном браке старых и новых разочарований. Трухлявые половицы соседствуют с оранжевым кухонным линолеумом и псевдоиспанскими шкафчиками под дерево. Мы собираемся отремонтировать дом постепенно на будущие доходы от ресторана. Мы — силы порядка. Мы прибыли сюда из города, вооруженные талантом, знанием и верой в будущее. Джонатан и Клэр осматривают дом и рассуждают, как и что переделать. Они спорят, где и как установить каминную доску, специально привезенную сюда на грузовике из Гудзона. Не то чтобы я был противником прогресса, но меня вполне устраивает и то, что есть: изъеденные жуками половицы; синтетическая панельная обивка, являющая собой материальное воплощение грусти и лени. Дом, стоящий посреди заросшего участка в четыре акра, иде-

ально гармонирует со старыми горами. Он такой же жалкий и приниженный. Его тоже сточило время.

— Я вот думаю, — говорит Клэр, — что, если выкрасить оконные стекла в синий цвет? Знаешь, в такой кобальтово-синий? Или это будет слишком вызывающе?

— Посоветуйся с Джонатаном, — отвечаю я. — Он лучше меня в этом разбирается.

Она кивает.

— Бобби, — говорит она.

— Что?

— Не знаю. Вот я хожу по этому участку, и мне кажется, что я на крыле самолета. На высоте девять тысяч метров. По-моему, у вас с Джонатаном нет такого ощущения, а жаль.

Из дома доносится детский плач.

— Наверное, в этом-то все и дело, — говорит Клэр. — До сих пор за мои ошибки приходилось расплачиваться только мне самой, от меня никто еще в такой степени не зависел.

— Но это же естественно, — говорю я. — Поверь мне, все замечательно. Ей-богу!

Она неуверенно кивает. Ее умение принимать решения по-прежнему сильно уступает ее способности беспокоиться. Эта постоянная тревожность

делает ее раздражительной. Она словно нарочно старается устроить все так, чтобы оправдались ее самые худшие предчувствия.

— Пойдем посмотрим, как там Джонатан с ней управляется, — говорит она.

— Да. Конечно.

Мы идем в дом. Дверь открывается прямо в гостиную, большой обшарпанный параллелепипед, по-прежнему обклеенный обоями с сердитыми красными орлами и синими барабанами. В это время суток она всегда наполнена косыми квадратами света, прорезающего ее с трех сторон. Джонатан с Ребеккой на руках кружит по комнате. Ее голова лежит у него на плече. Она захлебывается от дикого рева, похожего на приступы подавленной икоты.

— Необъяснимая вспышка гнева, — говорит он. — Подгузник сухой, кормить еще рано.

— Дай-ка я попробую, — говорит Клэр.

Джонатан не любит уступать Ребекку даже ее собственным снам. Но когда Клэр протягивает руки, он, хоть и нехотя, все-таки отдает ее. Клэр прижимает ее к себе.

— Эй, сладкая моя, — шепчет она. — Что случилось? Просто небольшой приступ экзистенциального отчаянья?

Ребекка — девятикилограммовое существо с жесткими, похожими на топорщащиеся перышки волосами и темными бешеными глазами. Ей всего одиннадцать месяцев, но у нее уже есть характер. Она склонна к созерцательности и с равной неохотой, лишь в совершенно безвыходных случаях, отдается как грусти, так и бурному веселью, но зато когда это происходит, ее так просто не унять.

Клэр ходит с ней по гостиной, шепотом уговаривая ее успокоиться. Она говорит с ней так же, как со мной и Джонатаном, — полными предложениями, но только без призвука раздражения в голосе.

— Ну-ну, мисс Ребекка, — говорит она, — это же просто неразумно. А впрочем, с какой стати ты должна вести себя разумно? Боже, если когда-нибудь я начну требовать от тебя разумности, застрели меня, договорились?

Джонатан смотрит на Ребекку с нескрываемым восторгом. Рождение ребенка принесло сразу несколько сюрпризов: самый большой — это его страдальческое обожание. Мы с Клэр не так остро переживаем ее хрупкость и беззащитность. А Джонатан буквально не знает покоя с тех пор, как она появилась на свет, — лишнее доказатель-

ство вредного воздействия любви на нервную систему.

Теперь у него есть что терять. Появилась вечная претендентка на роль жертвы во всех трагических историях, на которые только способно его богатое воображение.

Ребекка не хочет успокаиваться, и мы выносим ее на улицу. Она вся растворяется в рыдании, как моторка — в реве двигателя и фонтане брызг. Мы обходим с ней наши владения, давая плачу растаять в полдневном воздухе. Джонатан срывает маргаритку и крутит ею перед ее сморщенным красным личиком.

— Эй, малышка, — говорит он. — Ну же. Ты только посмотри на эту штуковину.

Из всех качеств Ребекки Джонатана больше всего восхищает ее способность удивляться. Он чуть не плачет от умиления, когда она вытаращенными глазами глядит на клубок пряжи или чайную ложку, поймавшую солнечный луч.

Но Ребекка продолжает рыдать прямо в маргаритку.

— Цветами ее не купишь, — удовлетворенно говорит Клэр.

В ее голосе — неподдельная гордость. Если Джонатан любит Ребекку за то, что она лучшая в

мире зрительница, то Клэр любит ее за упрямство и скрытность.

Мы идем за дом, в угол участка, засаженный деревьями. Здесь сплошная тень и травы практически нет. Один только лесной сор: сосновые шишки, сушняк, олений помет. Мы проходим между безмолвными деревьями. Крик Ребекки тянется за нами как сверкающий шлейф.

— Мальчики, вы вызвали водопроводчика? — спрашивает Клэр.

— Ага, — отвечает Джонатан. — Но он сможет прийти только через две с половиной недели. Ну-ка дай-ка ее сюда. Я ее успокою.

— Черт. Такими темпами мы до конца века не разделаемся с этим ремонтом. Вы понимаете или нет?

— А куда спешить? — отвечает Джонатан. — Иди сюда, Ребекка.

Он хочет ее взять, но Клэр не отдает.

— Куда спешить? — говорит она. — Значит, нам теперь до конца жизни греть воду на плитке?

— Мы первопоселенцы, — говорит Джонатан. — И не вправе сразу рассчитывать на городской комфорт.

— Мне кажется, — говорит Клэр, — что вы оба умственно отсталые или что-то в этом роде. Я

не шучу.

Она еще крепче прижимает к себе ребенка и ускоряет шаг. В воздухе висят тяжелые световые столбы, разделенные на отдельные секторы сосновыми ветками. Джонатан срывается за ней. Словно он всерьез испугался, что она решила растить Ребекку одна под открытым небом.

Наш ресторан открывается меньше чем через неделю. Мы с Джонатаном трудимся с утра до вечера, завершая отделочные работы. Это просто небольшой ресторанчик на девять столиков, ничего сногсшибательного. Когда-то тут был салун, который мы отремонтировали, как пара выписанных по почте невест, свежеприбывших на только что отвоеванное место. Мы выкрасили его в белый цвет и повесили полосатые занавески. Джонатан украсил стены старыми фотографиями: школьники в галстуках-бабочках и школьницы в фартучках; какие-то дяди и тети в клетчатых бермудах, загорающие на берегу озера; чья-то бабушка, расчищающая снег лопатой. Еще он повесил чучело гигантского лосося, побившего все рекорды в 1957 году, и полку со спортивными трофеями, на которых ярко-золотистые обнаженные и ангельски асексуальные мужчины и женщины демонстрируют верх совершенства

в кеглях, гольфе, бадминтоне и умении жить по законам гражданского общества. Это будет совершенно рядовое заведение: завтрак и ленч. В тех же комиссионках, где мы купили спортивные награды, фотографии и лакированного лосося, мы приобрели разнокалиберные столы и стулья.

— Мы ждем вас, — говорит Джонатан. — Еще немного, и «Домашнее кафе» распахнет свои гостеприимные двери!

Он замазывает белой краской трещину на лепнине. На нем рабочий комбинезон, волосы собраны в хвостик на затылке.

Я вожусь на кухне: расставляю по полкам двухлитровые банки с консервами и бутылки с кетчупом.

— Вместо клубничного джема, — говорю я, — прислали бойзеновый[45] и персиковый.

— Я позвоню и устрою скандал. А то, может, они считают, что мы совсем лопухи и нам можно впаривать что попало.

Выгрузив все банки, я встаю за стойку и смотрю, как Джонатан орудует с краской.

— Клэр считает: то, как мы живем, должно казаться нам странным, — говорю я.

---

[45] Примечания: 45
Бойзенова ягода — гибрид малины с ежевикой.

— Верно, — отзывается он. — А кто же говорит, что это не странно?

— Ну, по-моему, ей бы хотелось, чтобы мы больше комплексовали по этому поводу.

— Ей приходится оплачивать счета, вот она и переживает. Она всю жизнь ждала этих денег, и вдруг — бац, их уже нет.

— Что значит нет?! Они *вложены,* — говорю я.

— Вот именно. Она превратилась в настоящую сволочную зануду в последнее время, тебе не кажется?

— Ну не знаю.

— А я знаю. Клэр скурвилась, уже давно, еще во время беременности.

— Ну это ты слишком.

Я загоняю новую кассету в музыкальный центр. Джимми Хендрикс исполняет «Are You Experienced?».[46]

— Я надеюсь, что со временем она опомнится, — говорит Джонатан. — Маленький ребенок — это тяжело. Во всяком случае, мне тяжело.

Я беру малярную кисть и тоже начинаю красить. Джимми выдает свое бархатное рокотание — живой голос из мира мертвых. Мы с Джо-

---

[46] Примечания: 46
«Вы опытны?» *(англ.)*

натаном замазываем последние трещины, покачиваясь под музыку. В этом есть своего рода совершенство — вместе красить стену под пение Джимми. В этом есть связь времен, состоявшееся попадание в будущее. Эта мысль приходит ко мне внезапно, заставая врасплох — то, о чем я мечтал, сбылось. У меня есть брат, с которым можно работать бок о бок. Дополненное и исправленное будущее, как лампочка, горит над нашими головами.

В наших отношениях с Джонатаном есть один нюанс, который невозможно объяснить словами. Наш союз уходит корнями в такую глубину, куда третьему человеку, даже если бы мы этого очень захотели, просто невозможно проникнуть. Мы обожаем Клэр, но все-таки она не из нашей команды. Все-таки нет. То, что объединяет нас, сильнее секса. Больше любви. Мы — одно целое. Я — это он, а он — это я, рожденный в другой оболочке. Мы любим Клэр, но она — не мы. Лишь он и я можем быть одновременно и собой и другим. Я закрашиваю старую трещину. Ретушированные лица школьников — всем им сегодня уже за сорок, если не за пятьдесят — смотрят на нас со стен с выражением ясноглазого, белозубого оптимизма.

Спустя какое-то время мы закрываем ресторан и по главной улице идем к машине. Мне нравится быть в гуще событий, я люблю город. Ведь я начал свое путешествие в Вудсток еще в девятилетнем возрасте и вот через двадцать с лишним лет все-таки добрался. Мой брат был прав: здешние люди никуда не делись. Сам концерт, как я выяснил, происходил в шестидесяти милях отсюда, на широком поле, практически не изменившемся. Пустынное травяное пространство с темно-зелеными деревьями по периметру. Как-то мы с Джонатаном попытались искупаться в местном темно-шоколадном пруду. Клэр сидела с Ребеккой в траве на берегу. Но очень скоро комары загнали нас всех обратно в машину. Кончилось тем, что мы поехали в то самое кафе, где, по уверению Клэр, они с ее будущим мужем обедали, сбежав с концерта. Она сказала, что гамбургеры подадут с тремя ломтиками маринованного огурца и с кетчупом в пластиковом конвертике, и так оно и было.

Вудсток — это то, чем должны были стать города, если бы новое будущее не вытеснило старое с главной дороги на обочину. На городской площади по-прежнему бренчат на гитарах бородатые романтики, до сих пор считающие себя лесными

отшельниками и начинающими магами. Старушки с распущенными завитыми волосами кивают друг другу на скамейках. На вкус Клэр, Вудсток чересчур сентиментален, Джонатану вообще более или менее все равно, но я ценю доброту этих тихих улиц и упорное стремление местных жителей и сегодня жить так же неунывающе-бесцельно, как раньше.

Мы с Джонатаном едем домой. Дорога то поднимается вверх, то снова ныряет вниз; тени веток скользят по ветровому стеклу нашей подержанной «тойоты». Джонатан полулежит на пассажирском месте, упираясь кроссовками в приборную доску.

— Знаешь, что на самом деле странно? — говорит он. — Странно, что это в принципе происходит. Обычно все только говорят о том, что уедут из города, откроют свое кафе и прочее, но в действительности никто этого не делает.

— А мы — сделали, — говорю я.

Когда мы забираемся на вершину последнего холма, я жму на тормоз.

— Что-то случилось? — спрашивает Джонатан.

— Ничего, — отвечаю я. — Просто хочу посмотреть вниз.

С холма открывается вид на наш ветхий дом,

темнеющий в зарослях можжевельника. Закатное солнце, готовое вот-вот скользнуть за горы, пылает в окнах второго этажа и отражается в серебряных с исподу листьях плюща, беззаконно разросшегося за последние несколько десятилетий. Дому уже больше ста лет, но он все-таки отстоял свою независимость и не слился с окружающим пейзажем. Крыша не дала прорасти сквозь себя никаким деревьям, а фундамент не стал удобным резервуаром для подземного озера. Хотя обычно я пою гимн Вудстока лишь для того, чтобы поддразнить Клэр, я начинаю напевать его сейчас — полушутя-полусерьезно, отчего, мне кажется, он только выигрывает:

> *We are Stardust, we are golden,*
>
> *and we've got to get ourselves back to the garden…*[47]

Какое-то время Джонатан слушает, а потом тоже вступает.

За обедом мы говорим о ресторане и о Ребекке. Последнее время наша жизнь вращается вокруг вещей сугубо прозаических: нас беспокоит ка-

---

[47] Примечания: 47

Мы золотистая звездная пыль, и нам нужно постараться вернуться в сад *(англ.).*

шель Ребекки и доставка недавно отремонтированного переносного холодильника. Я начинаю понимать, чем на самом деле отличается юность от зрелости. В юности есть время строить планы и придумывать что-то новое. В более солидном возрасте приходится тратить всю энергию на то, что уже приведено в движение.

— Не нравится мне этот доктор Гласе, — говорит Клэр.

Она сидит возле высокого стула Ребекки и с ложки кормит ее ванильным пудингом. Каждый раз перед тем, как открыть рот, Ребекка недоверчиво косится на ложку, проверяя содержимое. Она унаследовала мой аппетит и подозрительность Клэр. Она хочет есть, но все равно держится настороже.

— А что такое?

— Во-первых, он хиппи. Во-вторых, ему вряд ли больше тридцати пяти. Я бы предпочла показать Ребекку какому-нибудь старому пердуну. Ну, понимаете, кому-нибудь в приличных ботинках, кто провел еще твою мать и всех ее братьев и сестер через прививки от оспы и полиомиелита. Гласе уверяет, что в этих приступах кашля нет ничего страшного, а я смотрю на него и думаю:

это говорит мне человек в «биркенштоках».[48]

— Согласен, — говорит Джонатан. — Гласе занимается тайджи.[49] Я предпочел бы иметь дело с человеком, играющим в гольф.

— А по-моему, Гласе нормальный мужик, — говорю я. — Мне он нравится. С ним можно разговаривать.

— На самом деле, — говорит Джонатан, — наверное, нам просто хочется, чтобы детский врач был чем-то вроде отца. Понимаете, да? То есть он должен быть как бы вне модных влияний.

— Аминь, — говорит Клэр. — Завтра же начинаю искать нового педиатра.

— Да что вы набросились на Гласса? — говорю я.

Клэр держит ложку в нескольких сантиметрах от открытого рта Ребекки.

— Я хочу, чтобы Ребекку посмотрел другой врач, — говорит она. — Я не доверяю Глассу, он как-то подозрительно оптимистичен. Понимаешь?

— Ну ладно, — отвечаю я.

— Вот и хорошо.

---

[48] Примечания: 48
Модные сандалии на пробковой подошве.

[49] Примечания: 49
Вид восточного единоборства.

Она отработанным ловким движением запихивает в Ребекку очередную ложку пудинга. Клэр превращается в Маму из нашего хендерсоновского прошлого. Мы никогда больше не изображаем Хендерсонов, может быть, потому, что расстояние между нашей реальной и их вымышленной жизнью стало величиной настолько малой, что ею, как говорится, можно пренебречь.

Позже, уже уложив Ребекку спать, мы смотрим телевизор: больше, если у вас ребенок, за городом по вечерам делать нечего. Мы лежим на большой кровати, обложенные попкорном, банками с пивом и кока-колой. Спальни наверху — маленькие и темные. Их потолки повторяют изгибы крыши. Средства прошлых владельцев, тех, кто обклеил гостиную обоями с орлами и развесил шкафчики в испанском стиле, по-видимому, окончательно иссякли где-то на уровне лестницы. Здесь, наверху, еще более убого. На выцветших обоях хищного вида цветы, на окнах жалюзи на потертых шнурах цвета крепкого чая. Клэр переключает каналы. У нас здесь кабель — мощнейший магнит, улавливающий все сигналы, незримо пролетающие над нашими головами. Так что в добавление к обычным программам мы можем смотреть эротические

шоу Нью-Йорка, мексиканские мыльные оперы и сюжеты с ликующими японками, демонстрирующими очередные технические изобретения, столь сложные, что обычному человеку оценить их преимущества просто невозможно. Иногда мы случайно попадаем на дрожащий снежный канал, в котором есть нечто почти пугающее — какие-то призрачные мужские и женские фигуры бредут, просто бредут по бесконечному пустому полю. Может быть, это передача из другого мира, что-то, чего нам на самом деле не положено видеть.

— Сто двадцать каналов, а смотреть все равно нечего, — говорит Клэр.

— Нечего смотреть — давайте трахаться, — предлагает Джонатан. Клэр поднимает брови и пристально смотрит на него темным взглядом.

— Только без меня, — говорит она.

Джонатан наваливается на нее и изображает неистовое, кроликоподобное совокупление.

— Ооо… Ооо… Ооо, — стонет он.

— Отстань, — говорит Клэр. — Убери руки. Серьезно. Прыгай на Бобби.

— Ооо, — стонет Джонатан.

— Бобби, скажи ему, чтобы он отстал, — говорит она. Я беспомощно пожимаю плечами.

— Я закричу, — говорит она. — Я вызову полицию.

— И что же ты им скажешь? — интересуется Джонатан.

— Что меня захватили и насильно удерживают двое мужчин. С целью размножения. Я скажу, что они заставляют меня жить в вечном 1969-м.

— Ты уже родила, — говорит Джонатан. — Если бы наша цель сводилась только к этому, мы бы тебя давно отпустили.

— Ребекке по-прежнему нужно молоко, — отзывается Клэр. — А дому — хозяйка. Разве не так?

Джонатан какое-то время размышляет над ее ответом.

— Не… не так, — говорит он наконец. — Можешь быть свободна.

Он откатывается от нее и берет пульт дистанционного управления.

— Давайте посмотрим, может, с Юпитера передают что-нибудь стоящее, — говорит он.

— Если я уйду, — говорит Клэр, — я заберу ребенка.

— Нет, не заберешь, — отвечает он. И только потом спохватывается, что ему следовало бы произнести эти слова другим тоном. — Она не только твоя. Она принадлежит нам всем, — говорит он

более мягко.

Клэр откидывается назад и поворачивает голову ко мне.

— Бобби!

— А?

— Мне бы хотелось раскрыть секрет твоего олимпийского спокойствия. Вот мы, являя собой весьма странную и не слишком ортодоксальную семейку, сидим в этом доме, который того гляди развалится; мы с Джонатаном спорим, кому принадлежит мой ребенок…

— *Наш* ребенок, — говорит Джонатан. — Серьезно, Клэр, это уже не смешно.

— Так вот, мы спорим, кому принадлежит наш ребенок, а тебе хоть бы хны, ты невозмутим, как Дагвуд Бамстед.[50] Иногда мне кажется: если что и прилетело к нам с Юпитера, так это как раз ты.

— Вполне возможно, — говорю я. — Во всяком случае, я ничего особо странного тут не нахожу.

Она переводит взгляд на потолок; ее глаза расширяются, превращаясь в два черных диска.

— Я, конечно, сразу должна была догадаться, — говорит она, — как только увидела тебя с этим гнездом на голове и в джинсах «Кельвин Кляйн».

---

[50] Примечания: 50

Герой одного из популярных комиксов 30-х годов, глуповатый, ленивый, но чрезвычайно самоуверенный.

Ведь ты же потом буквально за сутки превратился в человека из Ист-Виллидж. Смешно. Оказывается, это мы с Джонатаном консерваторы. Это нам, когда мы заглядываем в зеркало, требуется более-менее точно знать, что мы там увидим. А тебе все нипочем. Ты можешь делать все что угодно.

— Нет, — отвечаю я ей. — Не могу.

— Да? Ну назови что-нибудь, чего бы ты не сделал.

— Ну, например, я не стал бы жить один. Ты знаешь, что я никогда не жил один.

— Ага, — говорит она. — Значит, тебе нужна компания, так? Ты просто мимикрируешь под окружающих. Как же я раньше не догадалась?! Живя с родителями Джонатана, ты был огайским пай-мальчиком, живя в Ист-Виллидж, ты был хладнокровным парнем, а теперь ты этакий славный папа-хиппи. Ты просто предлагаешь людям то, чего они от тебя ждут. Так, да?

— Не знаю, — отвечаю я.

Есть вещи, которые мне трудно ей объяснить, я просто не знаю как. Я связан и с живыми и с мертвыми. Я живу не только для себя, не только за себя одного.

— Клэр, — говорит Джонатан с другого края кровати. — Что это ты вдруг превратилась в Нэнси

Дрю от психоанализа? Или ты всерьез думаешь объяснить всего Бобби в нескольких фразах?

— В этой жизни, — говорит она, — мы так и движемся: от фразы к фразе.

Я подползаю поближе к Клэр и глажу ее по волосам. Я пытаюсь поцеловать ее в беспокойные губы.

— О, мальчики, мальчики, — говорит она, отстраняясь. — Какая мы все-таки странная команда! Какая странная!

— На самом деле не страннее любой другой семьи, — говорю я. — Мы хотя бы любим друг друга. Разве не ты первая это сказала?

— Может быть. Тысячу лет назад.

Я смотрю в ее испуганное стареющее лицо. Мне кажется, я понимаю, что ужасает ее сильнее всего: утерянная возможность выдумывать свое будущее. Теперь мы лишь исполнители того плана, который случайным образом созрел на автостраде по пути в Пенсильванию. Теперь хорошее — это ожидаемое, а непредвиденное, как правило, означает неприятности.

Я опять прижимаюсь губами к ее губам, и на этот раз она мне отвечает. Джонатан продолжает перескакивать с канала на канал, лениво косясь на экран одним глазом.

Клэр

Я никогда не думала, что любовь может быть настолько ненасытной, что как будто бы даже и не вполне твоей. Тебя нет, есть только она, а ты просто ее оболочка. Я знала, что, если бы я с Ребеккой переходила улицу, а из-за угла, отчаянно скрежеща тормозами, вылетел автомобиль, я бы закрыла ее своим телом. Я бы сделала это рефлекторно, как руками закрывают голову или сердце. Мы защищаем свои жизненно важные части другими, которых нам не так жалко. В этом смысле мое материнство не принесло ничего нового. Неожиданностью было то, что я не чувствовала в себе ни подлинного бескорыстия, ни спокойной благожелательности. Это была любовь-пытка, залитая безжалостным светом прожектора, — страшная вещь. Да, спасая Ребекку, я бросилась бы под машину, и в то же время я проклинала ее, как заключенный — надсмотрщика.

Ребекка пыталась выговорить слово «мама». Стоило мне отойти, она начинала беспокоиться. Когда-нибудь она заплатит уйму денег психоаналитикам, чтобы они помогли ей разгадать секрет моей личности. Материала будет предостаточно:

мать, запутанно влюбленная в двух мужчин сразу и при этом живущая с ними в одном доме. Неопределившаяся беспорядочная женщина, выпавшая из всех принятых норм. Так и не повзрослевшая, хоть и разменявшая уже пятый десяток. Раньше я была просто частным лицом, безалаберной дамочкой, занятой своими делами, а теперь мне предстояло стать загадкой номер один в жизни другого человека.

Быть матерью оказалось обременительным и тревожным занятием, гораздо более трудным и непредсказуемым, чем быть любовницей, даже неортодоксальной любовницей.

Может быть, именно это открытие сделала моя собственная мать. Сначала ей казалось, что главное приключение ее жизни — мой дикий, взбалмошный отец. А потом она родила.

Мы выработали собственную вариацию классической схемы. Каждое утро Бобби с Джонатаном уходили на работу, а я оставалась дома с Ребеккой. Я не хотела ничего делать для заработка, хотя понимала, что рано или поздно мне опять придется заняться ювелиркой или еще чем-нибудь в этом роде. Идея ресторана принадлежала мальчикам — это был их способ прокормиться и постепенно вернуть мне долги. Они были трудо-

любивыми и непривередливыми работниками. Во всяком случае Бобби, а Джонатан с большим или меньшим успехом следовал его примеру. Они уходили в пять утра, когда только-только начинало светать, и возвращались назад часам к пяти вечера, когда в углах комнат уже опять начинали сгущаться сумерки. Честно говоря, я не слишком интересовалась их рабочими делами. Бобби был поваром, Джонатан — официантом, а добродушный туповатый парень из города убирал со столов и мыл грязную посуду. И хотя я слушала их рассказы о скандалах, учиняемых разгневанными посетителями, и о том, как в самый разгар рабочего дня взрывались или загорались какие-нибудь кухонные автоматы, или об абсолютно невероятных кражах (кто-то утащил прямо со стены чучело лосося) — все это оставалось для меня в слегка условной области анекдота. Я переживала за мальчиков. Но все-таки главным для меня было их двенадцатичасовое отсутствие. Все действительно значительное происходило именно в это время, в те часы, когда их не было дома.

Многие годы, на самом деле большую часть своей сознательной жизни, я осторожно скользила над подземными водами скуки и отчаянья, от

которых меня отделял лишь тонкий слой воображения. Остановись я слишком надолго, поддайся желанию передохнуть, я бы провалилась. Поэтому я делала сережки, ходила в клубы и в кино, перекрашивала волосы.

А теперь с беспомощной Ребеккой каждое мгновение приобрело особую заряженную весомость, не всегда приятную, но всегда пробирающую до самого основания. Иногда становилось скучно — дети не всегда интересны, — но все равно уже в следующую минуту ей требовалось что-то, что могла обеспечить только я и никто больше. Казалось, что с каждым новым освоенным жестом она приближалась к самой себе, все определеннее превращаясь в ту личность, которой ей предстояло стать. Секунды теперь были крепко-накрепко сшиты друг с другом, и ничто уныло-безнадежное не могло их разорвать. Я купала и кормила Ребекку, меняла ей подгузники. Я играла с ней. Я показывала ей что могла из окружающего мира.

Да, что скрывать, без мальчиков я чувствовала себя комфортнее. Когда они появлялись, пропадало ощущение непрекращающегося аврала. Как бы измотаны они ни были, они все равно предлагали мне передохнуть и брали Ребекку на себя. Оба были хорошими, ответственными отцами.

Я понимала, что мне полагается испытывать признательность. Но дело в том, что мне не хотелось отдыхать. Мне хотелось жить в постоянном напряжении и осаде. Хотелось с утра до вечера быть дико занятой, а потом проваливаться в черный сон без сновидений, бесформенный, как непрожитое будущее.

Бобби любил нашу дочь, но спокойно: ее хрупкость, ее бесконечные крикливые требования не выводили его из равновесия. Будь в мире больше места, он вполне бы мог сделаться поселенцем, одержимым мечтой о новом, преображенном обществе на каком-нибудь еще не освоенном клочке земли, вдали от прежних ошибок. В нем был этот религиозный пафос. Он был добрым и напряженно-сосредоточенным. Плоть как таковая не слишком его занимала. Иногда, когда он держал Ребекку на руках, я чувствовала, какими глазами он на нее смотрит — она была для него гражданкой его будущего мира. Он уважал ее за вклад в увеличение местного населения, но не агонизировал по поводу тех или иных подробностей ее будущей судьбы. Для него она скорее была частью движения в целом.

Мы с Бобби спали на новой двуспальной кровати. Следующей по коридору была комната

Ребекки. За ней ванная, потом комната Джонатана. Бобби работал без передышки. Сначала он взбивал яйца, делал пирожки и сражался с поставщиками. Потом возвращался домой, к воплям Ребекки и нестираным пеленкам. Ночью он спал без задних ног — сама бесчувственность. Я была благодарна ему за его увядший интерес к сексу не только потому, что тоже ужасно выматывалась, но и потому, что от кормления Ребекки у меня были теперь коричневые соски. На ягодицах — три желтоватые складки. Мне исполнился сорок один год. И я уже не чувствовала себя привлекательной. Если бы Бобби был более страстным, если бы в какой-то момент он с пылающим от смущения лицом признался, что я не вызываю у него ничего, кроме отвращения, мне, по крайней мере, было бы за что уцепиться. Допустим, я могла бы ответить строптивой надменностью. Но Бобби оставался самим собой — отзывчивым и трудолюбивым. Мы мирно спали в одной кровати.

Джонатан в продолжение суток генерировал больше статической энергии. Если Бобби двигался по жизни с неторопливым упорством пылесоса, методично всасывая все сложности, встающие у него на пути, то Джонатан стрекотал,

как взбивалка для яиц. Он был полон маниакальной бодрости, несмотря на вечно затуманенный от недосыпа взор. И сам он, и Бобби говорили мне, что как официант он компенсировал недостаток профессионализма обаянием. Он недоливал воду в стаканы. Вместо заказанной яичницы-болтуньи мог подать глазунью. Он рассказывал, что иногда — особенно во время утренней суеты — буквально засыпал на ходу. Только что он наполнял кувшин сливками, а в следующий момент вдруг оказывалось, что он, принимая заказ, стоит около чьего-то столика, не имея ни малейшего представления, что происходило в промежутке между этими двумя событиями. Довольно скоро они наняли официантку, и Джонатан начал совмещать должности хозяина и мальчика на подхвате. «Я обеспечиваю нашим посетителям душевный уют, — говорил он. — Подливаю им кофе и расспрашиваю о родных местах. А за тем, чтобы они получали, что заказывают, пусть следит кто-нибудь еще».

По-настоящему отдыхал он только с ребенком. Возвращаясь с работы, он всегда что-нибудь ей приносил: пластмассовую куколку, розу из чужого сада, крошечные солнечные очки в белой оправе. Он брал ее на долгие прогулки до обеда и

читал ей перед сном.

Около четырех утра он ее будил, перепеленывал и приносил к нам с Бобби. У него был до смешного отцовский вид, когда, в длинных трусах, со спящей Ребеккой на руках, он возникал на пороге нашей спальни. «Я понимаю, что это граничит с издевательством — вот так ее будить, — говорил он, — но не можем же мы уйти на работу, не поглядев на нее». Прижимая к себе Ребекку, он забирался в кровать рядом со мной. Иногда она сонно хныкала, жмурясь от электрического света, иногда хихикала, лепеча что-то на своем детском языке. «Мисс Ребекка, — шептал Джонатан. — Ты ведь самая чудесная, да? Мм. О да. Посмотрите на эти ручки. Ты будешь теннисисткой, да? А может быть, скрипачкой? Или девочкой-мухой?» Он мог так болтать без умолку. Часто, когда она начинала плакать, ее не мог успокоить никто, кроме Джонатана. Она рыдала у меня, брыкалась и орала у Бобби. А попав к Джонатану, мгновенно успокаивалась, глядя на него с удивительной жадностью и твердостью. Она тянулась к нему потому, что он был неуловим, и еще потому, что по отношению к ней он был сама галантность и предупредительность. Мне кажется, даже в таком раннем возрасте она уже знала, что такое

влюбленность.

Мы с Ребеккой любили друг друга более нервной любовью. Пока мальчики были на работе, нам постоянно было что-то друг от друга нужно. Ей была нужна моя забота, против которой она, впрочем, со все возрастающим пылом уже начинала протестовать. Мне — ее безопасность, но гарантированно. Мне необходимо было знать, что с ней все в порядке, каждую минуту. От этого страдали мы обе. Иногда, измеряя температуру воды в ванночке или вынимая градусник у нее изо рта, я почти физически ощущала вопрос, потрескивающий в воздухе рядом с нами: а вдруг я не смогу ее уберечь? Мы нередко действовали друг другу на нервы. Я иногда бывала вспыльчивой и чересчур требовательной. У нее выработалась зависимость от моих страхов. Она рыдала и когда я слишком близко приближала к ней лицо, и когда на какое-то мгновение позволяла себе от нее отвлечься.

Я кое-что поняла про свою мать. После того как на свет появилась я, она приняла волевое решение. Ни в доме, ни в ее экономной душе не было места для двух трудных детей. Ей пришлось выбирать. Наверное, тогда и началась эта война. Отец был вынужден сражаться за свои

права. Но лучшее оружие отца — сексуальная привлекательность и беспечность — оказалось недейственным против железной дисциплины и незыблемых моральных принципов матери. Сначала я больше любила отца. Он называл меня «Пег» и «Скарлетт О'Хара», уверял, что покупать можно и нужно все что вздумается. Но в конце концов, насмотревшись на его падения с крыльца и ломание мебели, я отвернулась от него. Рано или поздно ребенок всегда предпочтет порядок страсти и обаянию.

Уже зрелой женщиной я влюбилась в юмор и ум Джонатана и, подозреваю, в его безвредность. Он не был ни фригидным, ни агрессивным, ни мужчиной, ни женщиной. Общение с ним не таило угрозы провала через секс. Теперь я видела, что и Ребекка тоже когда-нибудь в него влюбится. В нем была притягательность отца и теплота матери без свойственной женщинам параноидальной тревожности — Ребекка не умерла бы от ужаса, если бы Джонатан на миг забыл о ее существовании. После целого дня, проведенного на работе, он возвращался домой с подарками, искренне соскучившийся. Бобби был немножко отстраненным, я — слишком постоянной. Джонатан излучал обаяние, только усиливаемое его

ежедневным многочасовым отсутствием. Ребекка будет его. Мы с Бобби будем ей небезразличны, но ее сердце будет принадлежать Джонатану.

Бывали моменты, когда казалось, что на самом деле я получила наконец то, о чем мечтала. Любовь и дом. Я была частью чего-то теплого и прочного. Членом семьи. Когда-то я думала, что мне хочется именно этого. Моя собственная семья трещала по швам от ревности и злобы. Не уцелело ни одной вещи, подаренной родителям на свадьбу. Мы своими руками разрушили прошлое. Не осталось ничего, кроме дома, отремонтированного матерью после ухода отца. После развода отец бросил пить и занялся богоискательством, а потом начал пить снова.

Но иной раз мне не хватало той атмосферы неразрешимых противоречий, в которой протекала жизнь моей семьи. Мы были известными людьми в своем районе: *бедняжка Амелия Стакарт и этот человек,* ее муж. Я была *их бедной малышкой.* Мои первые самостоятельные шаги были спровоцированы чувством оставленности и уязвленного самолюбия. Я носила эпатажно короткие юбки, делала прически типа «взрыв-на-макаронной-фабрике». Я трахнула моего первого худосочного бас-гитариста на заднем сиденье пи-

капа, когда мне было четырнадцать лет. Местные силы порядка облегчили мою задачу: они носили высокие бюстгальтеры и подчеркнуто девичьи прически или умащали челюсти «Aqua Velva». Они говорили: «Присоединяйся к нам и нашему миру», а я в ответ завела себе бойфренда — торговца наркотиками. Я видела, как теряю очки в глазах психологов и пасторов — *боюсь, миссис Роллинс, что мы здесь уже ничем не можем помочь*. Я ходила в школу с бутылкой текилы. Я, как взбесившийся мотоцикл, носилась по морозному ночному Род-Айленду, заправившись наркотиками. Дети, окруженные вниманием и заботой, даже не представляют себе, сколько свободы у тех, кто признан плохим.

Теперь, когда я давно уже вышла из юного возраста, меня спасли. После работы мальчики всегда возвращались прямо домой, ухаживали за Ребеккой, готовили обед. Их любовь не была безупречной. Вероятно, они любили друг друга больше, чем меня. Возможно, они даже использовали меня, сами того не осознавая. Но я могла с этим смириться. Наличие скрытых и не вполне прозрачных мотивов, стоящих за добрыми людскими поступками, меня не травмировало. Скорее наоборот — некоторую проблему для меня

представляло как раз совершенно искреннее дружелюбие. Наш нынешний мир был миром добра и домашнего уюта. Я иногда ощущала себя Белоснежкой. Гномы были очень заботливыми. Но сколько бы она продержалась вот так, не будь у нее надежды встретить кого-то человеческого размера? Сколько бы еще она подметала и штопала, не чувствуя, что в этой безопасной гавани не хватает чего-то тонкого, но крайне существенного?

Элис

Приглашая Джонатана в Аризону, я не упомянула о той вещи, которую собиралась ему передать. Мне не хотелось говорить об этом по телефону. Я просто воспользовалась своим правом матери и потребовала визита. Тем более что я не злоупотребляла его вниманием и он всегда страдал от комплекса вины — сильно преувеличенной. Подозреваю, что психологически ему было бы даже легче, если бы я больше к нему приставала. В общем, он не мог отказать, когда я позвонила и заявила, что хочу его видеть. «В это время года здесь так красиво, — сказала я. — Приезжай на несколько дней». И он приехал.

Я встретила его в аэропорту. Загородная жизнь не сильно его изменила. С тех пор как более десяти лет назад он поступил в колледж, я привыкла жить, не видя его по многу месяцев, и научилась новой объективности взгляда. Маленьким он казался мне чем-то вроде моего собственного изобретения, и я любила его саднящей, запутанной, сжигающей любовью. Словно часть меня самой, причем самую дорогую, самую хрупкую и уязвимую, отсекли и бросили жить в мир, недоступный моему утешению. Существование Джонатана задевало и мучило меня так сильно, что я была практически не способна взглянуть на него со стороны. Теперь я любила его не так истерично. Теперь я могла обращать внимание на детали. В толпе пассажиров, прилетевших этим рейсом, он казался бледным и красивым, и вместе с тем в его внешности было что-то незавершенное. Ему явно грозила опасность постареть, так и не обретя качества некой самотождественности. Такая недопроявленность и обманчивая свежесть жеребенка делают старика похожим на потрясенного древнего младенца. Я помахала ему из-за спин встречающих, и он стал пробираться ко мне бодро и вместе с тем настороженно, словно опасаясь, что в этой толпе полным-полно

замаскированных врагов.

— Привет, мам.

— Здравствуй, родной.

Мы обнялись, спросили друг у друга, как здоровье и настроение, и двинулись к машине.

— Как бизнес? — поинтересовался он.

— Цветет, — ответила я. — Столько звонков, что я едва справляюсь, но на нынешнем этапе не решаюсь никому отказывать. Ищу еще одного повара. Беда в том, что очень трудно найти действительно подходящего.

— Я тобой горжусь, — сказал он. — Кто бы мог подумать, что ты превратишься в такого магната от гастрономии.

— Эй, нечего, нечего! Это что еще за покровительственный тон!

— Что с тобой? С каких пор ты стала такой тонкокожей?

— Не обижайся! — сказала я. — Нервы. Ты же знаешь, у меня никогда не было собственного дела, тем более успешного. Мне до сих пор кажется, что все вот-вот развалится.

— Не волнуйся. Или это тоже дерзость с моей стороны? Тогда волнуйся. Просто страшно, что делается с самыми чудесными людьми!

— Это верно, — сказала я. — Абсолютно верно.

Как твоя работа?

— Сумасшедший дом. Мы трудимся не покладая рук, и все равно все всегда на грани хаоса и полного безумия. Но пока кое-как удается выходить в ноль. А бывают дни, когда мы даже немножко зарабатываем.

— Замечательно, — сказала я. — Это такая непростая область. Если в первый год расходы не превышают доходов, значит, вы преуспеваете.

— Возможно. Иногда я просыпаюсь ночью и с ужасом думаю: «Я забыл подать кофе на пятый стол».

— Добро пожаловать на передовую, — сказала я.

У машины мы беззлобно заспорили, кто сядет за руль. Я лучше знала дорогу, но взрослый сын не желал, чтобы его везла мать, даже на ее территории. Ради его душевного комфорта я бросила ему ключи.

Мы ехали по ровному, блестящему шоссе, обсуждая объеденные вещи. Солнце, еще довольно милостивое в это время года, заливало цветущие заросли юкки и изящные пепельно-серые переплетения мескитовых деревьев. Я без зависти думала о слякоти и тумане, царящих сейчас на востоке. Красоту пустыни чувствуешь не сразу,

для этого она слишком сурова. Ее ближайший географический родственник — ледник, и так же, как ледник, она может обмануть непосвященных, заставив их поверить, что ее неторопливая эволюция — это застой. Мы, жившие здесь, любили пустыню за простоту и незамутненность, за ее ежедневное напоминание о вечности. В сравнении со здешним лесной пейзаж представлялся одновременно и слишком перегруженным, и преходящим, довольно нежным, но чересчур невнятным, иначе говоря — совсем незрелым. Не случайно, что первые цивилизации выросли именно в пустыне. Не случайно, что древние нередко туда возвращаются.

— Выглядишь ты замечательно, — сказал Джонатан. — Мне нравится твоя новая стрижка.

— Ну, мне ведь теперь приходится бывать в обществе, — ответила я. — Не могу же я разгуливать по городу как дикарка. На самом деле я нашла парикмахера. Мужского парикмахера. В большинстве женских салонов здесь по-прежнему делают, знаешь, такие шикарные прически с лаком, а мне этого не надо. Я просто стригусь раз в три-четыре недели и больше об этом не думаю.

— Мне нравится, — сказал он. — Моя мать — кулинарный магнат с короткой стрижкой. Это я не

свысока, а с восхищением.

Он припарковался и внес свою сумку в дом.

— Тут все по-старому, — сказал он.

— Не считая того, что еще несколько позиций сданы под натиском энтропии, — сказала я. — Я собиралась прибраться к твоему приезду, но в последний момент позвонил один мой клиент и заказал обед, так что весь вчерашний день, вместо того чтобы пылесосить и наводить марафет, я готовила креветки с красным перцем.

— Все нормально. Наш кливлендский дом был, честно говоря, немного слишком аккуратным. То есть я хочу сказать, мне приятно сознавать, что ты здесь не убираешься с утра до вечера.

— Вот за это можешь быть совершенно спокоен.

Так как он будет спать на раскладывающемся диване в гостиной, разбирать сумку ему было негде. Он просто поставил ее в угол. Когда он это сделал, меня охватило беспокойство — ведь я заставила его проделать весь этот долгий путь по такому странному поводу. А может быть, не стоит? Может, просто покормить его, купить ему, несмотря на его протесты, что-нибудь из одежды и отослать домой?

— Есть хочешь? — спросила я.

— Честно говоря, да. Я не ел в самолете. В определенный момент своей воздушной карьеры я понял, что можно просто отказаться от подноса, когда его предлагают. Но все равно немножко жалко. Вроде как выбрасываешь деньги на ветер.

— Почему бы нам тогда не пообедать? — предложила я. — Я тут нашла одно замечательное местечко милях в десяти отсюда, где готовят отличные тортильи. Если б могла, я бы переманила к себе их повариху. Вот кто действительно разбирается в традиционной мексиканской кухне! Но, боюсь, я не смогу ей прилично платить.

— Великолепно, — сказал он. — Конечно давай.

В этот момент он был так похож на отца, что у меня даже перехватило дыхание. Все матери, наверное, переживают такие минуты, когда в повзрослевших сыновьях, казалось бы бесповоротно сформировавших свою собственную индивидуальность, вдруг проявляется природа их отцов, причем в таком неразбавленном виде, что это уже не просто сходство, а как бы новое рождение того человека вместе со всеми его отличительными черточками вплоть до трехнотного кашля, мучившего его последние сорок

с лишним лет. Я увидела в Джонатане бодрую, бескостную покладистость Неда, его стремление к тому, чтобы все шло как по маслу. Будь я посмелее, я бы тряхнула его за плечи и сказала: «Ты должен научиться добиваться своего. Будь жестче и настойчивее. Иначе у тебя никогда не будет собственной жизни».

Но я только забрала у него ключи от машины и сказала:

— Теперь я поведу. Очень путаная дорога. Я была там бог знает сколько раз, а все равно не помню, как ехать.

Следующие два дня мы провели за разговорами, хождением в кафе и в кино. Я продемонстрировала ему арендованную кухню и временный офис, представила своему персоналу из трех человек. Я расспрашивала его о том, как он живет, хотя и не всегда знала, как сформулировать вопросы. «Как ребенок?» показалось мне наиболее уместным вступлением.

— Очень хорошо, — отозвался он, оторвавшись от коктейля. — Удивительная девочка. Впечатление такое, что она и вправду меняется каждый день. Я начинаю понимать тех, кто заводит полдюжины детей, — тяжело сознавать, что вот она уже научилась ползать и, значит, никогда боль-

ше не будет такой беспомощной. Конечно, в этом есть и определенное облегчение. Но я понимаю, что может хотеться завести еще одного ребенка — просто ради того, чтобы еще раз увидеть, как кто-то проходит период такой невероятной зависимости.

— Ты много с ней возишься? — спросила я.

— Конечно. Естественно. Ведь я ее отец. Один из ее отцов.

Я покачала головой и сказала:

— Наверное, я чего-то не понимаю.

— А что здесь понимать? Ты же видела нас, всех троих. Мы втроем завели ребенка. Что здесь непонятного?

— Ничего. Вероятно, я несколько отстала от жизни.

— Не похоже. С такой-то стрижкой!

— Джонатан, я боюсь, что тебя просто используют. У Бобби есть Клэр, у Клэр — Бобби, а кто есть у тебя?

Это была деликатная тема. Мы никогда впрямую не обсуждали его наклонности. Я была в курсе его связи с Бобби, другие его романы были мне неизвестны. Возможно, их у него вовсе не было. Во всяком случае — не буду скрывать, — я очень на это надеялась. Если бы дело обстояло

иначе и он лишил бы меня такой возможности самоуспокоения, я, наверное, постаралась бы нарисовать другой его образ и примириться с тем, что мой сын вовлечен в сексуальные отношения с мужчинами. Но он никогда не затрагивал этих вопросов. Он приезжал к нам в маске целомудренного холостяка, каковым мы и хотели его видеть. Если до сих пор он был каким-то недооформившимся, наверное, мы тоже приложили к этому руку.

— Нас трое, — сказал он. — Мама, ты права: ты не понимаешь. Может, поговорим о чем-нибудь другом?

— Как хочешь. Только ответь мне на один-единственный вопрос: ты доволен своей жизнью?

— Да. Очень. Теперь я часть целого. Семьи и бизнеса. Мы все вместе строим дом. Ты слишком зациклена на необычности нашей семьи.

— Ладно. Постараюсь избавиться от этого недостатка.

И мы перешли на другие темы. Если бы он признался в гомосексуализме, я бы нашлась что ответить. Но я не могла требовать от него такой откровенности. Просто не могла. Он сам должен был заговорить об этом.

Я перешла к делу лишь накануне его отъез-

да. В тот вечер мы ужинали дома — я сделала незатейливый салат из авокадо и поджарила в гриле стейки из лосося. Когда я унесла тарелки и принесла чашки для кофе, я сказала:

— Джонатан, милый, на этот раз я пригласила тебя не просто так. Я хотела бы передать тебе одну вещь.

Его глаза вспыхнули: возможно, он подумал, что я собираюсь вручить ему какую-нибудь семейную реликвию. Я невольно вспомнила, как, когда ему было четыре года, он буквально шалел от жадности в магазине игрушек.

— Что именно? — спросил он, искусно скрывая любопытство.

Я вздохнула. С гораздо большей охотой я вынесла бы ему лоскутное одеяло или золотые часы, но ничего подобного ни у Неда, ни у меня никогда не было. И он, и я вышли из семей, обращенных не столько к прошлому, сколько к будущему. Я поднялась в спальню, достала из тумбочки шкатулку и спустилась с ней вниз.

Он знал, что это такое.

— О, мама, — сказал он.

Я осторожно поставила шкатулку на стол. Это был гладкий деревянный ящичек с медной пластинкой, на которой было выбито полное имя

Неда и даты.

— Теперь тебе предстоит этим распоряжаться, — сказала я. — Отец хотел, чтобы ты решил, куда это деть.

Он кивнул. Он поглядел на шкатулку, но не дотронулся до нее.

— Да, — сказал он. — Я помню.

— Ты думал об этом?

— Конечно. Конечно думал. Мама, во многом именно поэтому я и делаю то, что делаю. Я пытаюсь построить дом.

— Понятно.

Я села рядом с ним. Мы оба с опаской смотрели на шкатулку, как будто она могла начать двигаться.

— Ты заглядывала внутрь?

— Да. Сначала я думала, что не смогу этого сделать. А потом поняла, что не могу этого не сделать.

— И?

— Это такое сажистое. Желтовато-серое. Между прочим, тут больше, чем можно подумать. Мне казалось, будет горсточка, которую можно взять одной рукой и развеять по ветру. А тут довольно много. Попадаются маленькие твердые кусочки, похожие на старую слоновую кость. Милый,

поверь, это имеет такое же отношение к твоему отцу, как его поношенные башмаки. Хочешь посмотреть?

— Нет. Не нужно.

— Как хочешь.

— Почему ты решила передать мне это сейчас? — спросил он. — Почему именно сейчас?

Я заколебалась. На самом деле я стала встречаться с одним человеком. Он был моложе меня. Его звали Пол Мартинес. Он познакомил меня со спектром удовольствий, о которых я и не подозревала, пока была замужем за Недом. Моя жизнь словно начала раскручиваться в обратную сторону. С Недом у меня были порядок, пристанище и покой, то есть то, что хочется иметь в старости. Теперь, на пороге настоящей старости, я, похоже, влюбилась в смуглокожего спорщика, игравшего на гитаре и целовавшего меня в такие места, которые Нед даже не решался назвать своими именами. И теперь мне казалось неправильным хранить у себя его прах. Но я не стала вдаваться в подробности.

— Знаешь, я превращаюсь в Мортишию Адамс[51] с прахом мужа на камине. Мне давно

---

[51] Примечания: 51

Мортишия Адамс — героиня американской комедии черного юмора «Семейка Адамс».

надо было тебе его отдать, — вот все, что я ему сказала.

Если наша связь сохранится, я еще расскажу Джонатану о Поле. Его внимание вызывало во мне бурю эмоций, но я не вполне доверяла ни себе, ни ему — есть столько причин, по которым молодой человек может мимолетно вообразить, что любит женщину старше себя. Зачем без нужды расстраивать Джонатана? Может быть, этот роман того не стоит. Лучше подождать.

— Я понимаю, — сказал он. — Но знаешь, как-то до конца не верится, что это действительно его прах. Все это так… Кажется, что в двадцатом веке такое невозможно — держать дома шкатулку с прахом отца.

— Если хочешь, мы бы могли развеять его в пустыне, — сказала я. — Хоть сейчас.

— Как? Ты предлагаешь просто развеять его за домом?

— Да. Послушай меня. Конечно, это не совсем то, о чем мы с твоим отцом мечтали. Нет. Но все-таки именно здесь мы прожили последние годы, и нам было не так уж плохо. На самом деле я была счастлива.

— Но ведь он просил меня, чтобы я не хоронил его здесь. Он прямо об этом сказал. Он хотел, что-

бы я похоронил его там, где осяду, там, где у меня будет свой дом.

— Джонатан, солнышко, тебе не кажется, что в этой твоей страстной мечте о доме есть что-то пошловатое?

Он с подчеркнутым удивлением расширил глаза.

— Что я слышу? Моя мать предлагает мне стать хипом?

— Я предлагаю тебе чуть спокойней относиться ко всему этому, — сказала я. — Твой отец умер. Его беспокоила твоя бездомность, потому что он не мог себе представить, как это можно быть счастливым и при этом ни к чему не привязанным. Но мне было бы очень обидно, если бы недостаток воображения твоего отца лишил широты твою собственную жизнь. Тем более после его смерти.

Он кивнул! И после секундного колебания дотронулся до шкатулки. Проведя кончиками пальцев по выгравированным на пластинке буквам, он, не поднимая глаз, сказал:

— Мама, если со мной что-нибудь случится…

— Ничего с тобой не случится, — быстро перебила я его.

— Но если все-таки что-нибудь случится…

Я задержала дыхание и взглянула на него.

Вот на самом деле почему я его ни о чем не расспрашивала: боялась, что вместо образа Джонатана-холостяка мне придется привыкать к образу урезанного в правах сексуального изгоя. Я понимала, что мне могут позвонить Бобби, Клэр или кто-то, кого я вообще никогда в жизни не видела, и продиктовать адрес больницы.

— Ну, — сказала я, — если что-нибудь случится…

— Если что-нибудь случится и тебе придется как-то разбираться с нами обоими — и с папой и со мной, — я не хочу, чтобы ты развеивала наш прах по пустыне. У меня от одной этой мысли мороз по коже. Хорошо?

Я ничего не ответила. Встала и разлила кофе.

— Значит, ты хочешь проделать это в Вудстоке? — спросила я, ставя на стол дымящиеся чашки.

— Может быть. Еще не знаю.

— Твое дело, — сказала я. — Как ты решишь, так и будет.

— Я понимаю. Я найду место. Может быть, съездим в кино?

— А может, лучше сыграем в «Скрэбл»?

— Замечательно, — отозвался он.

— Прекрасно. Ты начинаешь.

На следующий день мы отправились в аэропорт. Шкатулка с прахом Неда лежала в Джонатановой черной сумке на ремешке, между носками и нижним бельем. Я сказала, что я поведу, и Джонатан не протестовал. Было непривычно пасмурно, небо затянуто тяжелыми, но уже опроставшимися от дождя тучами, выползающими из-за Скалистых гор. В воздухе, как всегда, дрожал серебристый свет без тени, источником которого могла быть как земля, так и атмосфера.

Джонатан рассказывал мне о своем растущем интересе к плотничеству, когда я свернула с автострады на боковую дорогу.

— Эй, — сказал он. — Тут что, можно срезать?

— Нет. Нельзя.

— Куда мы едем?

— Сейчас увидишь.

— Я опоздаю на самолет, — сказал он.

— Не опоздаешь. Ну а в крайнем случае полетишь на следующем.

Узкая лента недавно заасфальтированной дороги вела в горы, к коттеджам богатых вдовцов и вдов. Там жил один из моих клиентов. Его дом был настолько искусно вписан в ландшафт, что почти сливался со скалами. А на полпути к этим фешенебельным жилищам находилась неглу-

бокая лощина, скрывавшая один из сюрпризов пустыни: подземные воды залегали тут неглубоко, не заболачивая почву, но делая ее достаточно влажной для сочной травы и даже небольшой осиновой рощи, трепещущей в постоянной экзальтации.

Я остановилась в лощине. В такой облачный день это место казалось особенно красивым. Прозрачно светились бледные стволы и зеленые листья осин, а тонкий, как спица, солнечный луч высекал сноп искр из грубого красного бока соседней горы.

— Джонатан, — сказала я, — давай развеем прах здесь. Давай закончим с этим.

— Здесь? — переспросил он. — Почему здесь?

— А почему нет? Смотри, как здесь красиво.

— Да, но…

Он поглядел на заднее сиденье, где стояла его сумка.

— Доставай шкатулку, — сказала я. — Давай. К чему откладывать?

Он медленно обернулся назад, расстегнул сумку и с величайшей осторожностью извлек из нее шкатулку.

— Ты уверена? — спросил он.

— Абсолютно. Пошли.

Мы вылезли из машины и сделали несколько шагов в густой сухой траве. Джонатан нес шкатулку. Лениво жужжали мухи, на вершине большого розового камня застыла серая ящерка, настороженная и стремительная, как маленькая молния.

— Действительно красиво, — сказал Джонатан.

— Я иногда проезжаю через это место, — сказала я. — Там дальше живут мои клиенты. И теперь, когда бы ты ни приехал, мы бы могли тут бывать, если захочешь.

— Открыть шкатулку? — спросил он.

— Да. Это просто. Ты понимаешь, как она открывается?

— Думаю, что да.

Он дотронулся до защелки, но вдруг отдернул руку, так и не подняв крышки.

— Нет, — сказал он. — Я не могу. Это неправильное место.

— Солнышко, это просто пепел. Давай развеем его и будем жить дальше.

— Нет, я обещал. Это не то место. Он не этого хотел.

— Забудь о том, чего он хотел, — сказала я.

— Ты можешь забыть. Я не могу.

Он так крепко вцепился в шкатулку, что у него

побелели пальцы. Словно он всерьез опасался, что я попытаюсь ее вырвать.

— Это несправедливо, — сказала я.

— Я не знаю, справедливо это или нет, но это правда. Мама, почему ты вышла замуж за папу?

— Я тебе уже говорила.

— Ты говорила, что на тебе были белые туфли, хотя День труда давно прошел, и что у отца были красивые густые волосы, и так как ты не смогла найти ни одного аргумента против, ты согласилась. Но разве это достаточная причина для того, чтобы выйти замуж и столько лет жить вместе? Или наша семья образовалась просто потому, что ты считала, что так положено: выйти замуж, завести ребенка?

— Ты все-таки думай, что говоришь, молодой человек. Я любила твоего отца. Ты не жил в этом доме. Не просыпался по ночам, когда он начинал задыхаться и паниковать.

— Верно. Но скажи, ты любила его? Вот что я хочу понять. Я знаю, что ты жертвовала собой, что ты помогала ему и все прочее. Но была ли ты в него влюблена?

— Матерям таких вопросов не задают.

Он продолжал сжимать в руках шкатулку.

— Мне кажется, я был влюблен в него, — тихо

сказал он. — Я его обожал.

— Он был обыкновенный человек.

— Знаю. Ты думаешь, я этого не знаю?

Некоторое время мы не двигаясь стояли на краю осиновой рощи. Ничего не происходило. Совсем ничего. Джонатан сжимал в руках шкатулку. Его лицо приняло упрямое выражение. Глаза превратились в две узкие щелочки. Спустя несколько минут я сказала:

— Джонатан, ты должен найти кого-нибудь для себя.

— Я уже нашел, — сказал он.

Я испытала что-то вроде легкого головокружения, звенящий страх высоты и незащищенности. Мы всегда были такими осмотрительными и деликатными. И вот теперь, после стольких лет этой игры, когда надо было так много чего сказать друг другу, нам стало трудно общаться.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, — сказала я.

Он раздраженно глядел куда-то мимо меня, и я снова увидела четырехлетнего малыша, которого знала лучше, чем саму себя. Только теперь это был человек с траурными, немного опустошенными кабинетными чертами, стареющий в манере английского профессора.

— Ты все не так себе представляешь, — сказал он наконец. — Наша жизнь совсем не такая, как ты думаешь.

— Я достаточно хорошо знаю женщин, — сказала я. — И поверь мне, ни одна женщина не позволит тебе иметь равные с ней права на ее ребенка.

Теперь он смог посмотреть на меня. Твердым и горящим взглядом.

— Ребекка не *ее* ребенок. Ребекка *наш* ребенок, — сказал он.

— Фигурально выражаясь.

— Нет. Буквально. Ни Бобби, ни Клэр, ни я не знаем, кто отец. Вот так.

Это была ложь. Я чувствовала — сама не знаю почему, — что он и эта женщина не любовники. Он выдумал это, как часто делал в детстве. Но я не стала его разоблачать.

— И Клэр тоже этого хотела?

— Да.

— Она могла сказать, что она этого хочет, — заметила я. — Она могла думать, что этого хочет.

— Ты совсем не знаешь Клэр. Ты думаешь, что говоришь о ней, а на самом деле говоришь о другом человеке.

— Нет, мой дорогой. Это ты ее не знаешь. А я-то

как раз знаю, что значит верить в то, что люди, с которыми ты живешь, на самом деле не такие и что твоя жизнь тоже скоро будет совсем другой. Так вот, существуют универсальные законы. Женщина не будет делиться ребенком.

— Мама, — сказал он подчеркнуто спокойным голосом. — Мама, ты говоришь о себе. Это ты бы не стала делиться своим ребенком.

— Ты можешь послушать меня? Уходи и найди кого-то для себя. Рожай собственного ребенка, если ты этого хочешь.

— У меня есть ребенок, — сказал он. — Ребекка моя в той же мере, в какой чья-то еще.

— Три — нечетное число. Один обычно лишний.

— Мама, ты порешь чушь, — сказал он. — Ты ни черта в этом не понимаешь.

— Пожалуйста, выбирай выражения. Ты все-таки с матерью разговариваешь.

— А ты, пожалуйста, не спекулируй своим положением. Ты сама завела этот разговор.

И на это мне было нечего возразить. Это я спряталась в брак, в простую, безопасную круговерть бытовых мелочей. И теперь, стоя на краю осиновой рощи посреди пустыни, я завела этот разговор.

— Я только одно хочу сказать, — пояснила я, — похоже, есть что-то вроде критической массы. Даже когда людей только двое, это совсем не просто.

— А я, — сказал он, — сильно подозреваю, что все эти разговоры о критической массе не более чем попытка оправдания собственного статуса. Бобби, Клэр и я счастливы вместе и не собираемся расставаться.

— Но есть уроки истории.

— Ничто не стоит на месте. Мама, неужели ты не видишь, что мы живем уже совсем в другом мире? Может быть, завтра вообще конец света, так почему же мы должны вечно во всем себе отказывать?

— Люди рассуждают о конце света с тех пор, как мир стоит. Однако он все не наступает, да и сам мир не слишком-то изменился.

— Как ты можешь так говорить? — воскликнул он. — Посмотри на себя.

Я знала, что стою под открытым небом на меловой, красно-серой земле. Я знала, что на мне джинсы и замшевая куртка.

— Ты думаешь, что, когда дойдет до выяснения отношений, — сказала я, — Бобби выберет тебя? Ты на это рассчитываешь, да? Ты думаешь, что

Клэр уйдет в тень, а вы с Бобби будете вдвоем растить этого ребенка, так, что ли?

Он взглянул на меня, и вдруг я все поняла. Все: его страсть к мужчинам, его чувство вины, его горечь и гнев. Я почувствовала это, потому что его гнев был женским гневом. В нем жило женское чувство предательства. Ему казалось, что его несправедливо вытеснили на периферию, что его любят не те и не за то. Был миг, когда я его испугалась. Испугалась собственного сына в этом безлюдном месте. Мы защитились молчанием. Это было единственное, что нам оставалось, чтобы не наброситься друг на друга с диким визгом, чтобы не начать кусаться и царапаться. Выяснять отношения более спокойным образом мы не могли — нам обоим было слишком не по себе.

— Ты не знаешь, о чем говоришь, — тихо повторил он, и в общем-то я готова была с этим согласиться. Мы потеряли друг друга. Мы были незнакомцами в некоем глубоком, непроницаемом смысле, бежавшем как подземная река под покровом нашей сердечной привязанности.

— Давай попробуем успеть на самолет, — сказала я.

— Давай.

— Что касается праха, это твое дело. Просто дай

мне знать, что ты решил, когда решишь.

Он кивнул.

— Может быть, я когда-нибудь передам его Ребекке, — сказал он. — Вот, малыш, это тебе в наследство от семьи.

— А ты думаешь, ей будет понятно, что с ним делать?

— Если мое воспитание будет для нее хоть что-то значить, то да. Я хочу, чтобы, когда она вырастет, у нее не было проблем с тем, куда деть прах деда.

— Что ж, чудесно. Мне кажется, это было бы очень хорошо для нее.

— Ммм.

— Ладно, поехали, — сказала я. — Иначе ты точно пропустишь свой рейс.

Мы опять сели в машину и всю оставшуюся дорогу до аэропорта молчали. Джонатан положил шкатулку с прахом обратно в сумку и застегнул «молнию». Сидя за рулем, я пыталась сформулировать какое-нибудь родительское напутствие, но так и не смогла найти нужных слов. Хотя у меня было что ему сказать. Но на понимание этого ушло почти шестьдесят лет. Я хотела сказать ему, что мертвым мы должны еще меньше, чем живым, и что наша единственная, хотя и весьма

сомнительная, возможность счастья — в безусловном приветствии перемен. Но я не смогла этого выговорить.

Так как мы опаздывали, я затормозила перед самым терминалом.

— Пока, мам, — сказал он.

— До встречи. Береги себя.

— Я только этим и занимаюсь.

— Не уверена. Беги. А то опоздаешь.

Он выпрыгнул из машины и перекинул сумку через плечо. Прежде чем броситься к самолету, он подошел к машине с водительской стороны.

— До встречи, — сказал он.

Может быть, он болен? Или просто стареет? Он выглядел ужасно изможденным. С неестественно большими глазами на осунувшемся лице.

— Джонатан, позвони мне, когда долетишь, хорошо? Просто чтобы я знала, что все нормально.

— Хорошо. Конечно.

Он наклонился к открытому окну, и я поцеловала его, некрепко, но прямо в губы. На прощанье. А еще через несколько секунд он, не помахав и не оглядываясь, скрылся из виду.

Джонатан

Мы с Бобби приехали на станцию за несколько минут до прихода поезда. Мы встречали Эрика. На таких пригородных станциях, обычно состоящих из бетонной платформы да небольшого — в данном случае темно-вишневого — зданьица размером с сарай, особенно остро ощущаешь всю степень своей заброшенности. Самое главное в прибывающем поезде то, что через пару минут он отправится дальше. Глядя на серебристую змею, огибающую ближайший холм, я уже представлял себе облако пыли, которое состав закружит при отправлении. Кусочки угля и бесхозный бумажный стаканчик взметнутся вверх и снова осядут, и все опять будет как было — тихо и сонно. На другой стороне полотна в зарослях крапивы и рогоза ржавел скособоченный красный автомат для продажи газет.

Я позвал Эрика, потому что мне было одиноко. Нет, неправда. К чему лукавить?! Переезжая в Вудсток, я рассчитывал, что здесь будет больше незанятых голубых. Я рисовал себе картины знакомства в барах и на дворовых распродажах. Но неожиданно выяснилось, что все местные голу-

бые уже разбились на пары. И в конце концов я позвонил Доктору Филгуду и пригласил его на выходные.

Я нервничал и поэтому положил руку на плечо Бобби. Я не видел Эрика больше года. Кроме нас с Бобби на платформе находилась всего одна встречающая — тучная пожилая дама, со все возрастающим раздражением рывшаяся в своей белой соломенной сумке. Поезд выехал на финишную прямую. Персонаж из моей прежней, чуть более предсказуемой жизни должен был вот-вот посетить меня в моем новом, буколическом мире.

Поезд загрохотал и остановился. С тяжким стоном раскрылись двери. Сошла семья, потом лысый человек в коричневом костюме, за ним молодая полная женщина, которую встречала пожилая толстуха с соломенной сумкой. Я уж подумал, что по каким-то причинам Эрик вообще не приехал, как вдруг он появился на верхней ступеньке железной лесенки с голубым парусиновым чемоданом в руке.

Я все понял, как только взглянул на него. Когда такой поджарый человек, как Эрик, худеет даже на два килограмма, это и то заметно. А он похудел по меньшей мере на пять. Его кожа приобрела

землисто-серый оттенок.

Он улыбнулся и начал медленно спускаться по ступенькам, словно балансируя невидимым кувшином на голове. Когда он ступил на перрон, Бобби подхватил его под локоть.

— Привет, — сказал Эрик, — вот и я.

— Вот и ты, — сказал я.

Поколебавшись секунду, мы обнялись. У меня было чувство, что я обнимаю связку жердей. Это был ужас. У меня закружилась голова, кровь застучала в висках. Мне захотелось броситься бежать, кинуться с платформы в рогоз. Мир раскололся на куски, перед глазами запрыгали разноцветные искры. В тот момент я был готов столкнуть его вниз, под поезд, чтобы его измололо в ничто. Чтобы он аннигилировался.

Но вместо всего этого я сжал его костлявые плечи и сказал:

— Рад тебя видеть.

Поезд тронулся, разгоняясь в сумасшедшем облаке сверкающей пыли.

— Спасибо, — сказал он. — Большое спасибо за приглашение. Сто лет не был за городом. Привет, Бобби.

Они с Бобби обменялись рукопожатием. Заметил ли что-нибудь Бобби или нет, сказать было

трудно. Во всяком случае, на лице у него ничего не отразилось. Он взял у Эрика чемодан и понес его к машине с равнодушно-невозмутимым видом старого слуги. Эрик передвигался более или менее нормально, не считая того, что в его походке появилась особая старческая осмотрительность, будто его кости были мягкими и ломкими, как воск.

— Как добрался? — спросил я.

— Замечательно. Очень хорошо. Красивая дорога. Здесь правда красиво, да?

— Да, если в принципе любишь все такое.

Он моргнул. Прямые шутки Эрик понимал, с легкой иронией дело обстояло хуже.

— Нам нравится, — сказал я. — В этом месте есть законченность. Здесь все именно так, как и должно быть за городом: тишина, покой, скука…

— Аа, — сказал он. — Что ж, хорошо. Это хорошо.

Мы сели в машину и поехали домой. Бобби за рулем, Эрик рядом с ним на переднем сиденье, я сзади, на том месте, куда обычно сажают ребенка. Мы ехали знакомой дорогой, вокруг тянулись луга, на которые уже легла печать надвигающейся зимы, и мне безумно захотелось зарыться, исчезнуть в этих желтовато-зеленых стеблях.

Четырнадцать месяцев назад, когда мы с Эриком последний раз занимались любовью, мы приняли меры предосторожности. Но меньше чем за год до этого вообще никак не предохранялись. Я провел кончиками пальцев по груди, глядя на траву, колышущуюся под широким небом.

— Бобби, — спросил Эрик, — ты перевез сюда свои пластинки?

— Конечно, — сказал Бобби. — Ты меня знаешь. У нас тут и проигрыватель, и все что нужно.

— Я тебе кое-что привез из города, — сказал Эрик. — Представляешь, оказывается, в финансовом районе есть большой музыкальный магазин.

— Я знаю этот магазин, — сказал Бобби. — Да. Я там бывал.

Мы ехали домой, кое-как поддерживая спазматический разговор. Я с удивлением отметил, что не спрашиваю Эрика о здоровье из деликатности. Не ужас, а именно чувство неловкости не позволяло мне завести разговор на эту тему, как если бы он вернулся с войны, потеряв руки или ноги. Со своего места я видел его грустную плешь, просвечивающую сквозь редкие волосы. И волосы, и кожа потеряли свой блеск, которым — как обнаружилось лишь теперь — они когда-то все-таки

обладали. Эрик никогда не казался особенным здоровяком, но сейчас его волосы выглядели какими-то непредставимо безжизненными и ломкими, а кожа высохла и сморщилась. Я же перед лицом его очевидного увядания держался как ни в чем не бывало: указывал на мои любимые пейзажи, рассказывал о чудачествах местного населения и о нашем недавнем посещении сельской ярмарки, где гордо демонстрировались какие-то невероятные призовые огурцы и поросята по четыре центнера. Я все продолжал поглаживать грудь. Мы проехали через Гудзон. Баржи бороздили сверкающую коричневую воду. На дальнем берегу стояли желто-красные деревья, уже прихваченные первыми заморозками. За деревьями торчали облупившиеся усадьбы мертвых миллионеров, уставившиеся в холодное, льдисто-голубое небо.

Когда мы свернули на гравиевую дорожку к дому, Эрик едва не захлебнулся от восторга:

— Но это же потрясающе! Даже не верится, что это ваше.

Я никогда раньше не слышал у него такой интонации, такого голоса, дрожащего от восхищения. В этом было что-то неискреннее, фальшивый перебор. Словно он был женой амбициозного

клерка, оказавшейся в загородном доме его начальника.

— Подожди, сейчас ты увидишь, каков он внутри, — сказал я. — Там практически еще ничего не готово.

— Нет, это просто фантастика! Фантастика! — воскликнул он. — И уже не важно, какой он внутри.

— Подожди-подожди, — сказал я.

Клэр с девочкой встретила нас на крыльце. Ребекка, только что выкупанная, уставилась на нас с таким потрясенным видом, словно никогда не видела ничего подобного: трое мужчин вылезают из машины и поднимаются по ступенькам.

— Привет, ребята, — сказала Клэр.

— Привет, — сказал Эрик, — рад тебя видеть. Вы посмотрите, какая малышка!

По лицу Клэр я понял, что она почувствовала неладное. Я почти физически ощущал работу, происходящую сейчас у нее в голове, — ее попытку сопоставить нынешнего Эрика с тем Эриком, которого она видела несколько лет назад. Неужели он и тогда был таким тощим и бледным? А его кожа настолько безжизненной?

— Да, вот познакомься, — сказала Клэр после секундной паузы. — Тебе повезло, сегодня у нас

хороший день. Она с самого утра в ангельском настроении. Так что восхищайся ею скорее, долго такое продолжаться не может.

Было видно, что Эрик не знает, как вести себя с детьми. Сохраняя дистанцию в несколько шагов, он произнес:

— Привет, малышка. Привет.

Ребекка, пуская слюни, обалдело глядела то ли на него, то ли мимо. Она уже несколько месяцев как научилась говорить. Дома она могла болтать часами, перемежая общедоступные слова словами своего собственного изобретения. Но при посторонних умолкала и с упорной зачарованностью чуть испуганно смотрела прямо перед собой, ожидая, что произойдет дальше. В этих ее комплексах было что-то жертвенное, что-то почти сексуальное. Я кое-что понял в отцовстве: ребенка во многом любишь именно потому, что видишь его голым. У детей нет тайной жизни. По сравнению с младенцами все остальные кажутся такими закрытыми, закамуфлированными, вечно скрывающими какие-то маленькие грустные тайны. Спустя полтора года я понял, что в принципе могу себе представить, как со временем Ребекка начнет меня раздражать, сердить, расстраивать, но никогда уже она не сможет стать

мне чужой. Ни при каких обстоятельствах — даже если будет весить сто пятьдесят килограммов. Или поклоняться тотему, или совершит преступление с целью наживы. Мы сроднились, и эту внутреннюю связь уже невозможно нарушить.

— А обнять? — сказал я ей.

Клэр с неохотой передала Ребекку мне. Когда я ее взял, она взглянула на меня с упрямым изумлением.

— Привет, мисс Ребекка, — сказал я.

И вдруг она расхохоталась, так неистово, словно я выпрыгнул из коробки, как игрушечный чертик.

Я крепко прижал ее к себе. Я уткнулся носом в ее пухлое плечико и вздохнул.

— Действительно интересно, — сказал Эрик, — в смысле, как вы тут живете. Действительно, очень-очень интересно.

— Мягко говоря, — сказала Клэр. — Заходи, я покажу тебе твою комнату. Как же мне всегда хотелось сказать кому-нибудь эту фразу!

Клэр и Эрик вошли в дом, Бобби последовал за ними с чемоданом. Я с Ребеккой остался на улице. В полдневном, золотистом, наполненном особой октябрьской тяжестью воздухе четко вырисовывалось каждое дерево на горном склоне.

Между двумя опорами и перилами лестницы был туго натянут шестиугольник паутины, в центре которого сидел толстый крапчатый паук. Сколько мы ни боролись с паутиной, местные пауки — одни яркие, другие бледные, как пыль, — ткали ее снова. Ребекка что-то забормотала, а потом начала дико бить в ладоши — верный признак приближающегося плача. Я поглаживал ее по голове в ожидании неминуемых слез. У меня мелькнула мысль убежать с ней, просто взять ее с собой в горы.

— Еще очень много дел, — прошептал я. — Надо починить полы. А кухня вообще не начата.

Мы повезли Эрика на экскурсию в ресторан, который к тому времени функционировал настолько хорошо, что мы с Бобби даже могли оставить его на несколько часов на нашу повариху Марлис и ее любовницу Герт, новую официантку. Начиная все это, мы пытались воспроизвести то, чего нам так и не удалось обнаружить на пути из Аризоны в Нью-Йорк: немного нелепое маленькое кафе, где подавали бы добротные блюда, только что приготовленные своими руками. Как выяснилось, этого хотели не только мы. Наш ресторанчик всегда был набит до отказа, а по выходным очередь из желающих вытягива-

лась на полквартала. Было и приятно, и немного неловко видеть столько людей, жаждущих такой незамысловатой пищи, как хлеб и картофельные лепешки, суп и тушеное мясо, пироги двух-трех видов. Иногда я чувствовал себя обманщиком. Ведя перекрученную, невротическую жизнь, мы притворялись наивными простаками, превратившими в профессию украшение салатными листьями яблок, купленных у хозяина сада, находящегося меньше чем в десяти милях от нашего дома. Нашим главным поставщиком джема и консервированных овощей была одна местная старушка. Впрочем, половина посетителей «Домашнего кафе» щеголяла в загородной одежде, заказанной по каталогам, и в грубых свитерах, связанных в Гонконге и Гватемале. Так что я думаю, все всё понимали.

— Это просто великолепно, — воскликнул Эрик.

Ресторан уже закрылся, но несколько человек еще дообедывали. В сердечной теплоте, с которой нас приветствовали Марлис и Герт, как всегда, сквозила едва уловимая ненависть. Я обнаружил, что немного стесняюсь Эриковой бледности и худобы — я словно бы выставил напоказ малоприятную тайну собственной извращенности,

которую до сих пор мне удавалось неплохо скрывать под маской невинности.

Марлис увела Бобби в кухню, чтобы сообщить ему, что из продуктов нужно перезаказать, и продемонстрировать течь в посудомоечной машине, которую ей каким-то образом удалось временно заделать. Как выяснилось, даже небольшой и довольно популярный ресторан функционирует в обстановке перманентного кризиса. Оборудование ломалось, загоралось и выходило из строя в самый неподходящий момент. Продукты доставляли побитые или неспелые, в муке заводились черви. Предпочтения посетителей следовали жесткой, но совершенно непредсказуемой схеме. Продукты, которых мучительно не хватало на одной неделе, на следующей вдруг оказывались никому не нужны и портились, лежа на полках. Прибыль была довольно постоянной, но маленькой, и все время казалось, что чего-то не хватит и нужно еще печь пироги, резать новую порцию картошки, срочно звонить поставщику овощей и скандалить из-за коробки вялого салата. Иногда я заглядывал в зал и с удивлением отмечал, что все столы заняты и люди едят, как ни в чем не бывало обсуждая свои дела. Они верили, что это нормальный ресторан, и даже не задумывались

о нашей постоянной борьбе с гниением, паразитами, бесконечным мелким жульничеством поставщиков, о всем том, что предшествовало попаданию этой простой пищи на их белые керамические тарелки. В тех редких случаях, когда поступали жалобы, что недожарен бекон или переварены яйца, я едва сдерживался, чтобы не закричать: «Неужели вы не понимаете, как вам повезло, что вы вообще что-то получили? Неужели вы этого не понимаете? Где, черт побери, ваша благодарность?» Я оценил привлекательность сверхбыстрого замораживания продуктов, которые можно просто разогреть в микроволновой печи. Вкус почти тот же, и при этом никаких забот. Все уже нарезано кубиками или замешено, свернуто в трубочку или нарублено. Нет риска, что сгниет. И хранится сколько угодно. Еще два года назад мы смотрели на владельцев всех этих ярко освещенных безлюдных придорожных кафе как на личных врагов, продающих некачественную еду из жадности и лени. Теперь я скорее видел в них жертв. Они просто не выдержали искуса соблазнительной практичности.

Герт предложила нам с Эриком перекусить. Кофе горячий, и вроде бы оставалось еще два куска брусничного пирога. Может быть, она догадалась,

что Эрик болен? Может быть, именно в этом заключалась подлинная причина ее заботливости? Эрик был явно очарован Герт, которая и вправду была очаровательна: румяная, с сильным лицом и длинными пепельными волосами. Она бросила хорошую работу в издательстве, предпочтя здешнюю жизнь с Марлис. Она одевалась под фермершу — ситцевые платья, длинные вязаные кофты с пуговицами, — но при этом была очень хорошо образованна: знала русский, когда-то редактировала книгу большого поэта. Когда мы ответили «Спасибо, нет» на ее предложение о кофе с пирогом и она снова вернулась в зал, я еле сдержался, чтобы не прошипеть: «Мы сильно подозреваем, что она подворовывает».

— Здесь все так мило, так по-домашнему, — сказал Эрик своим новым, восторженным голосом.

— Без этого нельзя, — отозвался я. — Интегральный аспект нашего метода привлечения посетителей.

— А кто эти дети? — поинтересовался он, указывая на фотографии на стенах.

— Понятия не имею. Мы купили их по цене доллар — пять снимков в комиссионной лавке на Гудзоне. Наверное, к сегодняшнему дню большинство из них спились, превратились в

попрошаек или отбывают срок в исправительных учреждениях. Другие живут на трейлерных стоянках с шестью детьми.

Эрик одобрительно кивнул, словно такую будущность можно было признать вполне благополучной. Из кухни появился Бобби, сопровождаемый Марлис, крупной, веснушчатой, с волосами абрикосового цвета.

— Похоже, — сказал Бобби, — посудомоечная машина долго не протянет. Выглядит она, честно говоря, неважно.

— Только этого нам и не хватает, — отозвался я. — Доставка новой займет несколько недель как минимум.

Марлис, глядя на меня, изобразила в воздухе что-то вроде боксерского апперкота.

— Здорово, *мясничок,* — сказала она. Я поднял руки над головой:

— Только не бей.

Это был выработанный нами с Марлис способ совместного прохождения сквозь запутанный лабиринт сексуальности и отношений начальник — подчиненный. Мы платили Марлис совсем неплохие деньги, и при этом она постоянно отвешивала нам подзатыльники, щипала за щеку, со всего размаху шлепала по заду. Я был

ее начальником, и в то же время мне приходилось симулировать нешуточный ужас перед физической расправой, что, впрочем, учитывая вышесказанное, было не так уж сложно. Марлис была ширококостной, спокойной, с богатым и разнообразным жизненным опытом. Она както починила посудомоечную машину в самый разгар утренней суеты. Она была прекрасной пловчихой и горнолыжницей, знала названия деревьев и трав.

— Ну, пока совсем не сломается, придется обходиться тем, что есть, — сказал Бобби. — А в крайнем случае будем мыть вручную… до первого санинспектора.

— Роскошная жизнь хозяина ресторана, — сказал я Эрику, который согласно кивнул.

Обедали мы дома, разговаривая преимущественно о ребенке.

Мы с Клэр воспользовались присутствием Эрика как лишним поводом обсудить интересующие нас подробности детского воспитания. Передавая по кругу блюда с кукурузой, помидорным салатом и гамбургерами, мы, перебивая друг друга, рассказывали разные истории, высвечивающие ту или иную особенность характера Ребекки, сетовали на обилие моральных и физических

проблем, связанных с родительством, и, наконец, представили свою тщательно разработанную стратегию, как с наименьшими потерями ввести ее в мир любви и зарплат. Идеально воспитанный Эрик, обладавший, казалось, генетически запрограммированной вежливостью, изображал невероятный интерес к обсуждаемым вопросам. Степень искренности определить было невозможно.

Уложив Ребекку, мы посмотрели фильм, взятый Клэр в видеопрокате. («Мы не должны, — рассуждала она еще до приезда Эрика, — полагаться исключительно на разговоры. Надо смотреть фильмы, играть в какие-нибудь игры, что-нибудь делать. Если бы могла, я бы пригласила артиста с дрессированной собакой».) После фильма все начали потягиваться, зевать и жаловаться на жуткую измотанность, что, в общем-то, соответствовало действительности. Да, решили мы, пора ложиться спать. Эрик, сжавшись, сидел на стуле, засунув ладони между коленями, как будто в комнате стоял жуткий холод. Он был таким сморщенным, таким подчеркнуто непритязательным, таким заранее на все согласным! Он был из породы гостей, чьи желания неизменно совпадают с желаниями хозяев. И тут неожиданно для самого

себя я спросил:

— Эрик, ты давно такой?

Он поглядел на меня удивленно-осуждающе, часто моргая. А ведь он может считать, что это я его заразил, подумал я. Что не исключено.

— Мне казалось, что это незаметно, — сказал он.

Его голос звучал едва слышно, чуть громче гудения батареи. Но при этом он сердито моргнул и еще крепче сдавил ладони коленями.

— Мне последнее время уже лучше, — сказал он. — В смысле, я думал, я выгляжу как обычно.

— Сколько ты уже болеешь? — спросила Клэр.

Перед тем как я задал свой вопрос, она встала, чтобы заварить чай, и так и застыла возле кровати. Бобби сидел молча. Эрик задумался, словно припоминая.

— Уже больше года, — сказал он. — Сначала я не мог в это поверить. Как-то странно — так ясно представлять себе симптомы, а потом и вправду начать их испытывать. Какое-то время я думал, это просто нервы. Ну а потом… Пять месяцев назад мне поставили диагноз.

— Почему же ты не позвонил? — спросил я.

— А что бы от этого изменилось? — сказал он новым голосом, совершенно потерявшим вежли-

вую приподнятость и звучавшим теперь резко и зло. Такой интонации я еще никогда у него не слышал. — Лекарств нет, — сказал он. — Все равно ты бы не мог мне помочь, только бы дергался.

— Я был у тебя, когда ты уже знал, что болен. И ты даже не упомянул об этом, — сказал я и тут же вспомнил, что в нашем случае вообще трудно говорить о каких бы то ни было отношениях. Общение практически целиком сводилось к сексу и разделенному одиночеству.

Он посмотрел на меня. Было что-то невероятно страшное в его глазах.

— Честно говоря, — сказал он, — мне было стыдно. Когда я раньше думал об этом, когда я, ну, как бы представлял себе, что со мной может такое случиться, я понимал, что буду испытывать страх, злобу, вину. Это понятно. Но мне почему-то еще и стыдно.

— Солнышко, все нормально, — сказала Клэр. Эрик кивнул.

— Разумеется, — сказал он. — Конечно нормально. А как же иначе?

— Никак, — сказала Клэр. — Извини.

— В сущности, мне всегда хотелось иметь что-нибудь вроде такого дома, — сказал он. — Я в общем-то ради этого и старался — думал, зара-

ботаю денег и тоже уеду в какое-нибудь такое место.

— Здесь очень долгие вечера, — сказала Клэр.

— Это рай, — сказал он. — И не надо морочить мне голову. Рай, и вы это прекрасно знаете.

В комнате, где мы сидели, горел свет, тикали часы. Единственное, о чем, вернее, о ком я мог думать в этот момент, была Ребекка. Подобно тому, как раньше я мечтал спрятаться в высокой траве, теперь мне хотелось только одного — войти в ее комнату, разбудить ее и приласкать. Я думал о ее удивительных маленьких ножках и о ее привычке сосать большой палец, а другой рукой тянуть себя за волосы. Интересно, думал я, сохранится ли какой-то след от этой привычки лет через двадцать пять. Будет ли она играть своими волосами, когда устанет или разнервничается? Будет ли кому-то нравиться, как она машинально наматывает, разматывает и снова наматывает на палец темно-каштановую прядь? Или это будет кого-то раздражать? И, может быть, глядя на ее неутомимые, неспокойные пальцы, кто-то скажет про себя: «Все, с меня хватит».

— Пойду взгляну на Ребекку, — сказал я.

— Она спит, — сказала Клэр. — Все тихо. Ни звука.

— Ну, все равно проверить не помешает.

— Джонатан, — сказала Клэр, — с ней все в порядке. Правда. Все в порядке.

Эрик спал один в моей кровати. Хотя я заявил, что лягу внизу на матрасе, кончилось тем, что я забрался в кровать к Бобби и Клэр. Я лежал между ними, скрестив руки на груди.

— Знаете, отчего мне действительно хреново? — сказал я. — Что я беспокоюсь не за него, а за себя. Он болен, и мне его жаль, но эта жалость так… вообще… где-то на периферии сознания. Если мое беспокойство за себя — это марш Сузы,[52] то реальная болезнь Эрика — пикколо на заднем плане.

— Довольно естественно, — сказала Клэр. — Но послушай, я думаю, с тобой все в порядке. Ведь уже больше года прошло с тех пор, как вы с Эриком последний раз…

— Инкубационный период — пять лет, — отозвался я. — А по последним данным, может, и все десять.

Клэр кивнула. Что-то было не так. Я ожидал от нее другой реакции, более легкомысленной и определенной. Клэр была какая-то не такая.

---

[52] Примечания: 52

Джон Филип Суза (1854–1932) — композитор и дирижер, автор 136 маршей. Его называли королем маршей.

Бобби молчал. Практически с самого ужина.

— Бобби! — сказал я.

— Угу?

— Что происходит? Что ты молчишь?

— Ничего не происходит, — сказал он. — Я просто думаю.

Клэр сжала мне локоть. Я понял, что она имеет в виду: не трогай его сейчас, дай ему время разобраться в собственных чувствах. У Бобби была замедленная, полусонная реакция на сюрпризы судьбы. Когда-то мы с Клэр, даже договорились между собой, что в случае пожара кто-то из нас поможет ему выбрать, в какое окно прыгать.

— Нелепость какая-то! — сказал я. — Как мне теперь жить, не проверяя себя каждые пять минут на симптомы?

— Солнышко, скорее всего с тобой все в полном порядке, — сказала Клэр, но убежденности в ее голосе не было.

В качестве компенсации она погладила меня по груди. После рождения ребенка Клэр чуть охотнее шла на физический контакт, хотя ее прикосновения по-прежнему оставались мимолетными, словно она опасалась, что чужая плоть может обжечь ей пальцы.

— Бобби, а ты что думаешь? — спросил я.

— Я думаю, с тобой все нормально.

— Хорошо. Я рад, что ты так думаешь.

— Интересно, — сказала Клэр, — как Эрик собирается со всем этим справляться. Мне кажется, у него почти нет друзей.

— Почему? У него есть друзья, — сказал я. — Он что, по-вашему, живет в вакууме? По-твоему, он просто какой-то жалкий актеришка без собственной жизни?

— Откуда мне знать? — сказала Клэр.

Я почувствовал по ее голосу, что она осуждает меня за мою неспособность любить Эрика. С тех пор как родился ребенок, она во многом отказалась от былого цинизма и начала склоняться к тому, что мир в большой степени заслуживает сдержанной нежности.

— Пожалуйста, не надо на меня нападать, — сказал я. — Хотя бы сейчас. Прибереги свое раздражение до другого раза.

— Я на тебя не нападаю, — сказала она.

Характерная ситуация. Она никогда не признавала того, в чем ее обвиняли. Я подумал тогда, что она может испортить ребенка. Какой вырастет Ребекка с матерью, кричащей: «Я не кричу!»?

— Понятно. Ты на меня не нападаешь. Ты вообще всегда все делаешь правильно. Значит, у меня

слуховая галлюцинация.

— По-моему, нам не стоит сейчас начинать ругаться, — сказала она. — Если только тебе этого очень хочется…

— Может быть, хочется. Я чувствую, ты осуждаешь меня за то, что я не люблю Эрика, так, да?

— Конечно нет. Разве можно за это кого-то осуждать? Тут либо любишь, либо нет.

— Неужели? А мне казалось, что мы, трое, привыкли к меньшей определенности. Разве нет? Скажи честно, тебе кажется, что я сам угробил свою жизнь? По-твоему, есть что-то неправильное в том, чтобы любить тебя и Бобби и при этом поддерживать отношения с Эриком, отношения, в которых нет ничего, кроме секса?

— Я этого не говорила, это твои слова, — ответила она.

— Но мне бы хотелось знать, что ты думаешь. Наверное, тебе кажется, что я какой-то недоделанный, да? Что каждый из нас с Бобби — это полчеловека? Поэтому мы тебе и нужны вдвоем. Получается один целый человек. Правильно?

— Прекрати. Ты просто расстроен. К чему сейчас все эти выяснения?

— Я этого не хотел, — сказал я. — Так вышло. Клэр, не нужно нападать на меня. Клэр, прошу

тебя. Мне действительно страшно.

— Я не… — начала она, но осеклась и сказала: — Может быть, ты прав. На самом деле мне тоже страшно.

— Но ведь не должен же я любить Эрика просто потому, что он болен? — сказал я. — Не должен же я вдруг взять всю ответственность на себя?

— Нет, — сказала она. — Наверное, нет.

— Черт, зачем я его пригласил?

— Джонатан, милый, — сказала она, — приезд Эрика сам по себе ничего не меняет. Тебя послушать, получается, что ты пригласил вместе с ним какой-то микроб.

— А разве нет? Раньше я мог вообще об этом не думать. А теперь это невозможно.

— В том, что ты сейчас говоришь, нет никакого смысла, — отозвалась она. — Точнее, есть, но какой-то перевернутый. Я тебя понимаю. Но только ты не должен ни в чем его обвинять. Он не виноват.

— Я понимаю, — грустно сказал я. — Это я понимаю.

Мне мешала собственная рассудительность. Я был слишком уравновешенным, слишком воспитанным. Будь я другим человеком, я бы помчался по дому, сбрасывая с полок посуду и

срывая картины со стен. Это, разумеется, ничего бы не изменило, но могло бы принести облегчение — во всяком случае, никакого другого способа снять напряжение я в тот момент придумать не мог. Мысль о сексе была невыносимой, так же как и утешения друзей, знавших, что с их кровью все в порядке. Единственным моим желанием было начать с диким криком носиться по дому, сдергивая занавески, ломая мебель, разбивая вдребезги стекла.

— Постарайся уснуть, — сказала Клэр. — Что толку думать обо всем этом сейчас?

— Да-да. Я постараюсь.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Она обняла меня, положив руку мне на живот и притянув поближе к себе, внутрь своей теплой и душистой ауры. С другого боку тихо дышал Бобби. Я понимал, что мне бы следовало почувствовать себя утешенным, и так оно почти и было, но все-таки реальное чувство покоя дрожало где-то вне досягаемости. Я находился в далеком-далеком месте с людьми, чья жизнь не изменится, если я умру. Я лежал между Клэр и Бобби, прислушиваясь к Ребекке. Если бы она проснулась и захныкала, я бы бросился в ее комнату и приго-

лубил ее. Я бы согрел бутылочку и подержал ее, пока она пьет. Я лежал прислушиваясь, но все было тихо.

Бобби

Было уже за полночь. По небу на своем долгом пути к Атлантическому океану из глубины континента скользили облака. В окне нашей спальни висела полная луна. Пересекая залитые бледным светом половицы, я остановился поглядеть на спящих Джонатана и Клэр. Она тихо посапывала, выдувая невидимые воздушные пузыри. Он лежал, отвернув от нее голову, словно боялся ее разбудить, словно ему снилось, что он ужасно шумит во сне.

Я вышел в коридор, сделал несколько шагов и тихо постучал в дверь, но не стал дожидаться ответа. В этой комнате, находящейся на другой, безлунной стороне дома, было гораздо темнее. Я постоял несколько секунд на пороге, а потом прошептал:

— Эрик!

— Да?

— Ты спишь?

— Нет. Нет, правда не сплю.

— Просто я хотел типа убедиться, что тебе удобно.

— Да, — сказал он. — Это хорошая кровать.

Его голова казалась колеблющимся темным пятном над краем яркого стеганого одеяла. Я видел только отдельные фрагменты: глаза, высокий лоб. Запаха болезни в комнате не чувствовалось.

— Когда-то это была кровать Клэр, — сказал я. — Ну, в смысле наша с Клэр. Теперь на ней спит Джонатан, а мы купили другую.

— Хорошая кровать. Не мягкая. А то, знаешь, за городом любят такие, слишком мягкие…

— Бывает, сюда забегает мышь, — сказал я. — Мы всё собирались поставить мышеловку, но руки так и не дошли. Знаешь, на самом деле я не уверен, что мы рождены для загородной жизни. Для этого мы какие-то недостаточно основательные.

— Может быть, здешние мыши чище, — сказал он. — Они тут просто как обычные дикие животные.

Он умолк, и в наступившей тишине мы услышали, как в стене скребется мышь. Мы расхохотались.

— У тебя есть знакомые в Нью-Йорке, которые бы могли типа, ну, помочь тебе если что? — спро-

сил я.

— Кое-кто есть, — ответил он. — А если станет совсем худо, в крайнем случае можно будет обратиться в одно из этих специальных агентств.

— А твои родные?

— Они меня списали.

— Они что, не будут за тобой ухаживать?

— Они даже разговаривать со мной не хотят. Моя сестра боится находиться со мной в одной комнате, чтобы ее дети не заразились.

— А работа у тебя есть? — спросил я.

— Нет. Меня уволили пару недель назад после того, как я в очередной раз загремел в больницу с пневмонией.

— А как твои друзья?

— Несколько человек умерли в прошлом году. Просто ушли один за другим. Трое за последние полгода. Парню, которого я всегда считал своим лучшим другом, еще хуже, чем мне. Он в больнице. Изредка бывают улучшения, а так он уже никого не узнает.

— Тебе страшно? — спросил я.

— А как ты думаешь?

— Да… мне бы тоже было страшно.

Он вздохнул.

— А иногда я не боюсь, — сказал он. — Это, зна-

ешь, вроде как приходит и уходит. Но теперь все по-другому. Даже когда страха нет, все равно. Я чувствую себя, нет, это невозможно объяснить. Ну просто по-другому. Раньше случалось, что я как бы забывал о своем теле. Сливался с улицей, по которой иду. А теперь этого никогда не бывает.

— Мм…

— И, знаешь, рисуя себе все эти картины, я представлял, что я уже старый и ни о чем не жалею. Понимаешь? Я представлял себе знаменитого старца, возлежащего на постели, окруженной поклонниками, и как он говорит: «Я ни о чем не жалею». Бред, да? Чудовищный бред.

— А о чем ты жалеешь? — спросил я.

— Я? Да в общем-то ни о чем. То есть, ну, мне казалось, что я все-таки больше успею сделать в этой жизни. Мне казалось, у меня больше времени. Я надеялся прославиться и потом уйти на покой, поселиться в таком вот доме.

— Ну да. Но знаешь, эта жизнь не для всех, — сказал я. — Здесь только один кинотеатр. Да и хорошую музыку послушать негде.

Он рассмеялся, и я различил негромкий скребущий звук, как будто чистят картофелину. Это был смех больного.

— Я и в Нью-Йорке-то не особенно ходил на кон-

церты, — сказал он. — Я просто, ну, как сказать, просто играл своей жизнью. Да, наверное; так. Надеялся, что все образуется. Думал, что просто нужно трудиться и верить.

Я подошел к его кровати. Мышь продолжала возиться в стене.

— Мм, послушай, а что, если я немного полежу с тобой? — спросил я.

— Что?

— По-моему, неправильно, что ты один, — сказал я. — Ты не против, если я залезу к тебе под одеяло и просто полежу рядом?

— На мне ничего нет, — сказал он.

— Не важно.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты хочешь побыть со мной потому, что я болен?

— Нет, — ответил я.

— А если бы я не был болен, ты бы тоже этого хотел?

— Не знаю.

— Послушай! Уйди, пожалуйста. Я тебя прошу.

— Прости. Я не хотел тебя обидеть.

— Я понимаю. Но все равно уйди. Пожалуйста.

— Хорошо.

Я вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.

Я чувствовал неприятную тяжесть в ногах,

удручающее ощущение стыда и досады. Я не собирался посягать на его частную жизнь. Я просто хотел обнять его, притянуть его голову к своей груди. Я просто хотел подержаться за него в то время, как его тело медленно, но верно отступало в прошлое.

Джонатан

Эрик опять приехал к нам через неделю. Я не очень понимаю ни зачем его пригласили, ни почему он согласился — его первый визит никому, в том числе и ему самому, большого удовольствия не доставил. Все воскресенье он сидел насупленный и мрачный. Тем не менее, когда мы провожали его на станцию, Бобби спросил:

— Приедешь к нам на следующие выходные?

Эрик поколебался, а потом сказал «да». Причем таким категоричным тоном, словно требовал того, что принадлежит ему по праву. По пути домой я спросил Бобби:

— Тебе правда хочется, чтобы он снова приехал?

— Джон, — сказал он, — парню нужно побыть на свежем воздухе. Ты что, не видел, как он выглядит?

У меня мелькнула мысль, что Бобби так и не понял, что с Эриком. Может быть, он думает, что у Эрика обыкновенная депрессия или что он переутомился и просто нуждается в хорошем отдыхе?

— Боюсь, что свежим воздухом тут не обойтись, Бобби, — сказал я.

— Да, но это все, что мы можем ему предложить. Ведь он теперь, ну, вроде как член семьи. Нравится нам это или нет.

— Член семьи, — сказал я. — Знаешь, ты меня уже достал всей этой фигней.

Он пожал плечами и сочувственно улыбнулся, словно мое неудовольствие уже ничего не могло изменить. Так вышло, что Эрик оказался на нашем попечении, и теперь, по мнению Бобби, мы были просто обязаны предложить ему все, чем располагали.

Эрик приехал в следующую пятницу на пятичасовом. За прошедшие несколько дней он восстановил состояние учтивой, слегка скрипучей приподнятости, правда, явно довольно шаткое. Основной груз ответственности за Эриков комфорт взял на себя Бобби, и к концу этого второго посещения между ними уже установились почти идиллически-трогательные отношения. Бобби был неизменно нежен, а Эрик принимал

его знаки внимания с печально-раздраженной жадностью, как некую призрачную репарацию от мира живых.

Вечером в воскресенье Клэр, Ребекка и я были в кухне. Клэр нарезала на дольки авокадо. Ребекка, оседлав кухонную стойку, перебирала пластиковые формочки для печенья в виде разных зверьков, а я стоял рядом, страхуя ее на всякий случай. В некошеной траве за окном сидели Бобби и Эрик, оживленно о чем-то беседуя. Бобби разводил руками, демонстрируя чью-то невероятную огромность, а Эрик кивал с явным недоверием.

— Похоже, у Бобби новая любовь, — сказал я.

— Не будь такой злюкой, дорогой, — отозвалась Клэр. — Тебе это не идет.

Она скинула на тарелку кусочки авокадо и начала чистить лук.

— Просто не хотелось бы, чтобы Эрик ни с того ни с сего превратился в главный объект нашей благотворительности, — сказал я. — Он, в общем-то, чужой человек.

— По-моему, мы можем приютить одного чужого человека. Место ведь есть, правда? И не то чтобы мы отрывали что-то от себя?

— Значит, теперь ты мать Тереза, — сказал

я. — Неожиданная метаморфоза.

Она поглядела на меня твердо-спокойным взглядом, в котором было больше осуждения, чем в любом прямом осуждении. С Клэр что-то произошло. Я уже не чувствовал ее, как раньше. Она отказалась от цинизма и облачилась в непрозрачные одежды материнства. Мы по-прежнему были друзьями и партнерами по дому, но от былой интимности не осталось и следа.

— Все правильно, — сказал я. — Просто я гнилой человек.

Она похлопала меня по плечу.

— Не надо меня похлопывать, — сказал я. — Раньше ты никогда этого не делала.

Ребекка, бессмысленно таращившаяся на формочку в виде лося, заревела. Ссоры буквально жалили ее; она всегда плакала, если кто-то поблизости повышал голос.

— Малыш, — сказал я, — все нормально, не обращай на нас внимания.

Я попробовал было взять ее на руки, но она ко мне не пошла. Она настояла на том, чтобы ее взяла Клэр, которая сразу унесла ее в гостиную, а я остался на кухне дорезать лук.

В конце концов Эрик переехал к нам насовсем. Единственной альтернативой была его пустая

неуютная квартира в районе Восточных двадцатых. Сколько-то он бы, конечно, там протянул с помощью добровольцев, но рано или поздно все равно оказался бы на больничной койке в какой-нибудь дешевой клинике для безнадежных и незастрахованных. По настоянию Бобби он приезжал к нам на каждые выходные, а когда переезды стали для него слишком утомительны, просто переселился к нам. Я отдал ему свою комнату, уверив, что все равно предпочитаю спать внизу. Мое отношение к Эрику было непростым. С одной стороны, его болезнь меня отталкивала, с другой — я понуждал себя обращаться с ним так, как мне бы хотелось, чтобы обращались со мной, если бы я тоже заболел. Я пытался проявлять нежность, надеясь, что именно это чувство будут испытывать и ко мне в случае непоправимых деформаций моего собственного тела. Иногда я и вправду испытывал то, что пытался изобразить, и на самом деле переживал вспышку реальной сердечной заботы. Иногда это была только имитация. Посопротивлявшись какое-то время, Эрик занял мою кровать и тем самым почти осязаемо отказался от реального участия в земных делах. Такое может случиться с каждым в некий непредсказуемый момент нашего неуклонного

продвижения от здоровья к болезни. Мы складываем с себя все былые полномочия и целиком отдаемся на попечение других. Происходит смена статуса. Мы становимся гражданами новой страны и, сохраняя все лучшее и все худшее, что в нас было, уже не контролируем физически свою судьбу. Эрику требовалась моя комната для сложного процесса умирания. Он не был членом семьи, и для полноценного страдания ему было необходимо собственное пространство, вне пределов нашей домашней суеты. И поэтому с вымученно-светской улыбкой он согласился на мою кровать. На следующий день после его последнего и окончательного переезда мне исполнилось тридцать два года.

Мы гуляли с ним по лесу, готовили ему нетоксичную пищу. Он был старикообразным призраком, настроенным то благодушно, то раздраженно. Как будто наш дед приехал жить с нами.

Миновала зима, настала весна. У Ребекки прорезались новые зубы и интерес к пьянящей возможности отвечать отказом на любые просьбы. Увядание Эрика шло непредсказуемо. Ему становилось то лучше, то хуже, иногда в течение одного часа. У него были проблемы с пищеварением, озноб, затуманенность зрения, а время от

времени и сознания, провалы в памяти. Несколько раз он по неделе лежал в клинике в Олбани. В свои лучшие дни он мог отправиться в лес по грибы. В свои худшие дни неподвижно лежал в кровати в некоем промежуточном состоянии между сном и бодрствованием.

Я держался чуть в стороне. Сам бы я не предложил Эрику остаться у нас, но и мечтать о том, чтобы он уехал, тоже не решался, страхуясь на случай собственного гипотетического положения беспомощного инвалида. Я научился находить зыбкое утешение в хорошем отношении к Эрику. В этом была какая-то смутная надежда умилостивить судьбу.

Однажды вечером, вернувшись домой из ресторана, я обнаружил, что он сидит на веранде, закутавшись в одеяло. Солнце уже зашло за гору. Сгущались сиреневые тени, хотя небо было еще ясным, — мы всегда страдали от ранних сумерек. Сидя на облупившемся плетеном стуле в моем старом синем одеяле, натянутом до самого подбородка, Эрик был похож на чахоточного тинейджера. Чем истощеннее он становился, тем больше напоминал подростка — выпирающие ребра, уши, руки и ступни, слишком большие для его субтильного тела.

— Привет! — сказал я. — Как дела?

— Нормально, — ответил он. — Сносно.

Мы так и не смогли сократить расстояние, установившееся между нами еще в те времена, когда мы спали вместе. Мы держались вежливо и отчужденно, как будто только что познакомились.

— Бобби сегодня работает до упора, — сказал я. — У Марлис какие-то женские проблемы, так что Бобби приходится самому печь пирожки на завтра. А где Клэр с Ребеккой?

— В доме, — сказал он.

— Пойду взгляну на Ребекку. Может, возьму ее сюда ненадолго, хорошо?

— Хорошо. Джонатан!

— Угу?

— Понимаешь, об этом трудно говорить. Но мне просто интересно: ты хотя бы иногда думаешь о нас? В смысле о нас с тобой?

— Да, — сказал я. — Конечно.

— То есть я даже не совсем это имею в виду. В смысле, тебе никогда не казалось странным, что мы все время как бы сами себя останавливали? Мне кажется, мы бы могли все-таки чуть больше постараться, чтобы сделать друг друга счастливее.

Даже в нынешнем экстремальном положении

говорить о таких вещах впрямую ему было тяжело. Его пальцы нервно теребили край одеяла, а ступни сухо постукивали о ножку стула.

— Ну, просто у нас с тобой были такие отношения, — сказал я. — И мне казалось, они нас обоих вполне устраивали, разве нет?

— Наверное, да. Наверное. Но последние дни я все думаю: а чего мы, собственно, ждали?

— Видимо, мы ждали, когда начнется наша настоящая жизнь. Возможно, это была ошибка.

Он сделал судорожный вдох. Ровно посредине паутины, натянутой между подпорками лестницы, висел красивый желтый паук.

— Наверное, это действительно была ошибка, — сказал он. — Наверное, да. Наверное, я любил тебя, но боялся себе в этом признаться. Мне… не знаю… было слишком страшно признаться. А теперь я жалею об этом…

Я стоял на своей тени, алеющей на протравленном непогодой деревянном настиле, и смотрел на него. В тот миг в его облике было что-то древнее и возвышенное, его нельзя было бы назвать ни стариком, ни юношей, ни мужчиной, ни женщиной. Его тело скрывали толстые складки одеяла, и только глаза ярко горели на бескровном лице. Он напоминал сфинкса, загадывающего свою

загадку.

Мне казалось, я знал ответ. На самом деле мы с Эриком никогда не любили друг друга, наша связь была во многом случайной. Мы не упустили никаких романтических возможностей. Нет, мы оба просто спрятались в ни на что не претендующее партнерство. Мы поддерживали друг друга на плаву и ждали. Мы были похожи на слуг, двух скромных лысеющих мужчин, отдавших жизнь не вполне определенным идеалам послушания и порядка. Вслух я сказал:

— Я думаю, я тоже любил тебя.

Мне не хотелось, чтобы он умер неутешенным. Ведь тогда и со мной могло произойти то же самое.

— Врешь, — сказал он.

— Нет.

Я вспомнил о том, как мой отец в пустыне не получил от меня ничего, кроме пустых слов. Он умер по дороге домой от почтового ящика, зажав в руке кипу каталогов и рекламных листков. У меня в кармане лежало неотправленное письмо для него.

— Ты врешь, — повторил Эрик. Я заколебался, а потом сказал:

— Нет, серьезно. Мне кажется, я тоже любил

тебя.

Он кивнул, сдерживая холодное бешенство. Он не был утешен. Мимо нас пропорхнул ранний мотылек, такой бледный, что казался прозрачным, — похожий больше на легкое колебание воздуха, чем на физическое тело.

— Ведь все могло сложиться иначе, — сказал он. — Что произошло?

— Не знаю, — сказал я.

Минуту мы не шевелились и не говорили, недоверчиво глядя друг на друга.

— Мы струсили, — сказал я наконец. — Это не было трагической ошибкой. Это было просто глупостью, нечаянным срывом. Как это называется? Грех бездействия.

— Вот это меня больше всего и смущает, — сказал он.

— Меня тоже.

И так как больше сказать было нечего, я пошел в дом за Ребеккой.

Клэр

Эрик привнес в дом нечто новое. Или, может быть, разбудил то, что таилось здесь всегда. Тяжело дыша, он шаркал теперь по нашим пыльным

коридорам. Даже самые неопровержимые признаки болезни и надвигающейся смерти кажутся недостоверными, пока не начинаешь различать особый известковый запах лекарств. Пока кожа не приобретает оттенок необожженной глины.

Материнство лишило меня возможности совершать определенные поступки, которые прежде, в своей другой жизни, я бы совершила не задумываясь. Скажем, я не могла заставить себя обнять Эрика. Фактически я почти помимо воли сохранила в себе лишь способность к опеке и защите. Возможно, кому-то это может показаться сентиментальным, но сама я не ощущала во рту ничего, даже отдаленно похожего на привкус сентиментальности. Я испытывала холодную клиническую решимость. Впервые в жизни я вообще не думала о себе. Та точка в мозгах, которую я всегда идентифицировала со своим «я», просто перестала существовать, целиком и полностью выжженная чувством долга. Пока мальчики работали, я кормила Эрика, следила за тем, чтобы он вовремя принимал лекарство, в случае необходимости помогала ему добраться до туалета. Я всегда разговаривала с ним ласковым голосом. И, кажется, ничто не могло бы заставить меня вести себя иначе. Но, в сущности, он был мне

безразличен. В каком-то смысле наши отношения были чисто формальными. По-настоящему я заботилась только о Ребекке, живой и растущей. Эрик уже наполовину ушел из этого мира. Я честно старалась обеспечить ему комфорт и безопасность, но его существование как таковое мало меня волновало. Теперь я лучше понимаю, почему в литературе матери — либо святые, либо чудовища. Мы действительно отличаемся от других людей, по крайней мере пока не выросли наши дети. Мы монстры опеки и, служа бренному телу, нередко забываем о нетленной душе.

Большую часть дня я проводила в обществе Ребекки и Эрика. С появлением Марлис и Герт мальчикам стало чуть полегче, но все равно мое время распределялось преимущественно между двухлетней и умирающим.

Я брала напрокат видеокассеты и разливала по чашкам сок. Я начала приучать Ребекку к горшку и периодически меняла засаленные простыни Эрика. У Эрика бывали сносные дни и дни похуже, когда он мог вдруг раскапризничаться. Например, заявить: «Как? Опять яблочный сок! Я уже видеть его не могу, неужели нельзя было купить что-нибудь еще!» Или вознегодовать, что я принесла не тот фильм: «Миссис Минивер!

Боже, что, больше у них ничего не было?»

Но он никогда не позволял себе раздражаться на Ребекку. Иногда, особенно в те дни, когда он не вставал с постели, они смотрели видео вместе. Я брала напрокат «Дамбо», «Белоснежку» и кассеты с «Маппет-шоу».[53] Эрику тоже нравились эти фильмы. Эрик не завораживал Ребекку, как Джонатан, но он, что называется, держал ее внимание. Он умел быть собранным, и, подозреваю, с ним она чувствовала себя защищенной. Он потрясающе похоже изображал человека, умеющего обращаться с детьми. Он подчинялся моей дочери во всем. По ее требованию он исполнял особый судорожный танец с игрушечной обезьянкой, которую Ребекка загадочным образом назвала Шиппо. Сама Ребекка в этот момент размахивала в воздухе негнущимися ножками пластмассовой куклы по имени Бэби Лу, держа ее вниз головой. Он соглашался играть во все изобретаемые ею игры и мог бесконечно перебрасываться с ней резиновым динозавром, выслушивая длинный, постоянно меняющийся список требований. Он

[53] Примечания: 53

Кукольный сериал, созданный художником и кукловодом Дж. Хенсоном. Хенсон является автором самого слова «muppets», составленного из слов «marionette» и «puppet» (оба слова значат «кукла»).

умел изображать голос Лягушонка Кермита,[54] повергая Ребекку в состояние какой-то блаженной печали.

Нередко, принося им что-нибудь перекусить, я заставала их рядышком на кровати Эрика перед телевизором посреди разбросанных игрушек. У меня невольно сжималось сердце, когда я видела, как Ребекка, что-то лепеча, двигает по Эрикову костлявому колену свою пластиковую корову или овечку, а Эрик рассеянно гладит ее по голове. Независимо от своего самочувствия в данный конкретный день он был неизменно внимателен к моей дочери. Его способность к концентрации была просто невероятной. Можно было подумать, что он дал себе клятву: никогда не демонстрировать перед этой маленькой девочкой ничего, что могло бы ее расстроить или напугать, всегда быть с ней ласковым и веселым. Нет, это не был второй Джонатан. Он не любил ее. Она ему просто нравилась. Быть внимательным к Ребекке стало одним из принципов, вокруг которых он строил свое теперешнее существование. Он сделал это своей работой.

Сначала это казалось чем-то вроде чувства

---

[54] Примечания: 54
Один из главных персонажей «Маппет-шоу».

смутного непокоя, пульсировавшего где-то в районе желудка, нечто среднее между тошнотой и коликой. Я даже стала подумывать, что у меня развивается язва или хуже, но врач сказал, что это просто нервы. И через несколько месяцев я поняла. Я приходила к решению. Или, правильнее сказать, решение приходило ко мне. Подсознательно во мне происходила внутренняя работа воли.

Но окончательно все сложилось у меня в голове только в мае, когда я лежала в кровати рядом с Ребеккой. В последнее время она соизволяла поспать днем лишь в том случае, если я тоже ложилась и читала ей книжку. Ей исполнилось уже два с половиной, и у нее было несколько маниакально любимых книг. Из них она особенно выделяла две: про кролика, говорящего «спокойной ночи» каждой вещи в своей комнате, и про поросенка, нашедшего волшебную косточку. Мы по два раза прочитали и ту и другую и соскользнули в сон. Я проснулась через двадцать минут от голоса Ребекки. Она лежала и разговаривала сама с собой. Это было ее новой привычкой. Она могла вот так болтать часами. Я лежала и слушала.

— Я пошла в магазин, — рассказывала она, — и купила говорящую косточку. Девочка ее никогда

раньше не видела. Она взяла косточку и пошла к Кролику. А там был Джонатан. И они сказали: «Ух ты, какая хорошая киска». И Джонатан взял косточку и сказал: «Сейчас я что-нибудь из нее приготовлю». И он приготовил… кашу. Каша была очень, очень вкусная. И Кролик сказал «ам», а потом мама, Бобби и Эрик тоже сказали «ам». А потом я дала Эрику салат, потому что Эрик болен. И Джонатан тоже ел салат. А потом наступила ночь, и Кролику пора было ложиться спать. А потом наступило утро, и котенок опять пошел в город. «Вот это да!» — сказал котенок. Представляете, как он удивился!..

Я слушала ее и чувствовала, как у меня сжимается сердце и кровь приливает к лицу. Мне было трудно объяснить, что именно так взволновало меня в ее рассказе. Это был обычный полубессвязный лепет, который я слышала от нее уже больше месяца. Но вдруг я поняла: в ней пробуждается сознание. Она выныривает из тумана младенческой самозамкнутости и начинает воспринимать независимость чужих существований. Совсем скоро она покинет мир детства и начнет запоминать окружающее. Она превращалась в фотоаппарат, настроенный на резкость. Щелк — коричневый дом с синей дверью. Щелк

— любимые игрушки. Щелк — Джонатан, наклонившийся утром над ее кроваткой. Эти снимки останутся с ней на всю жизнь.

Что, если как раз в тот момент, когда она станет совсем разумной, умрет Эрик и заболеет Джонатан? Что будет с ней, если ее первые воспоминания окажутся связанными с увяданием и исчезновением людей, которых она больше всех любила?

Прошло несколько недель. Однажды утром я лежала в кровати с Ребеккой, Бобби и Джонатаном. Это было обычное утро. Ребекка проснулась в хорошем настроении и теперь рассказывала очередную импровизированную историю о Кролике и Летающем Слоне. Через минуту Бобби прошкрабает вниз варить кофе. Эрик спал в своей комнате, а Джонатан сидел рядом со мной, подтянув простыню до самого подбородка.

— После работы я хочу подремонтировать крышу, — сказал Бобби. — Вы видели, она уже вся облупилась. Откладывать некуда.

— На самом деле нужно поменять ее целиком, — сказала я. — Надо вызвать кровельщиков.

— Когда здесь все будет более или менее в презентабельном виде, — сказал Джонатан, — я хочу еще раз пригласить мать. Мне кажется, ей было

бы легче поверить в реальность того, что со мной происходит, если бы она просто почаще видела нас вместе.

— Родители, родители, — сказала я. — Знаете, наверное, мне все-таки следует хотя бы на несколько дней съездить с мисс Ребеккой в Вашингтон повидаться с матерью.

Бобби вылез варить кофе на полсекунды раньше, чем я предполагала.

— А почему бы не позвать ее сюда? — сказал он.

— Потому что ей шестьдесят пять и либеральностью взглядов она не отличается. Поверьте, вам не слишком понравится, когда Амелия начнет прохаживаться тут по поводу нашего образа жизни. А у нас, по ее мнению, именно это. Не жизнь. А образ жизни.

— А тебе не кажется, что неплохо было бы ей начать привыкать к тому, что есть? — сказал Джонатан.

— Дорогой, моя мать еще не привыкла к тому, что у меня груди. Когда она видит меня голой, ей до сих пор как-то не по себе. Нет, поверьте, уж лучше нам с Ребеккой съездить к ней на несколько дней.

— Ну, тебе решать, — сказал Бобби и пошел

выполнять свои утренние обязанности.

— Но не больше чем на несколько дней, — сказал Джонатан. — Ладно? Денька на два-три?

Я кивнула и погладила Ребекку по голове. У меня мелькнула мысль о том, что она может почувствовать мою напряженность и заплакать. Но она ничего не заметила. Наша внутренняя ложь совсем не всегда оставляет улики во внешнем мире.

На самом деле я не вполне представляла себе, что именно собираюсь делать. У меня не было никакого предварительного плана, и только начав предпринимать конкретные шаги, я поняла, что план был и я действую по давно намеченной схеме, которую продумывала уже в течение многих последних месяцев, если не лет. Я упаковала вещи Ребекки: ее одежду, несколько самых главных игрушек, прогулочную коляску и высокий стул. Джонатан, помогая мне загрузить вещи в машину, сказал:

— Дорогая, можно подумать, что ты едешь на сто лет.

— Нам нужно быть полностью экипированными, — сказала я. — Чтобы избежать совместных походов в магазин. Если кончатся подгузники, мать потащит меня в «Сакс».

— Честно говоря, не вижу в этом ничего страшного, — заметил Джонатан.

На нем был хлопчатобумажный пиджак, к лацкану которого он пришпилил значок с нежным бледным лицом Альберта Эйнштейна. Стайка красно-черных тюльпанов пробилась на газоне. Сумасшедшая ласточка бешено гневалась на нас с нижней ветки дуба. Я запихала в багажник коляску, а Джонатан распределил вокруг нее пакеты с подгузниками.

— Чувство вины, — сказала я. — Даже мое чувство вины из-за материных денег иногда кажется мне декадентским. Лучше просто не провоцировать ее, не давать возможности купить мне платье за пятьсот долларов, а-ля жена астронавта. Нет, лучше уж взять побольше вещей и сидеть с ней дома.

Не слишком ли старательно я все объясняю, подумала я. Мне бы не хотелось уподобляться преступнице с подозрительно безупречным алиби и чересчур безошибочными движениями.

— Как скажешь, — отозвался Джонатан. Недоверия в его голосе я не услышала. Он захлопнул багажник.

— Я буду скучать, — сказал он.

Еще через минуту из дома появятся Бобби с

Ребеккой. Я протянула руку и взяла Джонатана за рукав.

— Послушай, — сказала я. — Прости.

— Что?

— Прости, что я так трушу перед матерью. В следующий раз приглашу ее сюда. Ты прав. Ей придется с этим смириться.

— Ну, родители — особая статья. Мне ли этого не знать, — сказал он.

— Нет, серьезно, прости, пожалуйста, — сказала я. Еще немного, и я бы расплакалась.

— Милая, что случилось?

И в этот момент я поняла, что он обо всем догадался. Я потрясла головой.

— Ничего.

В качестве утешения он обнял меня.

— Глупая Клэр, — сказал он. — Добрая сумасшедшая старушка.

Нет, на самом деле он ничего не понял. Он так и не развил в себе интуицию потери. Он по-прежнему думал, что его жизнь с каждым годом будет все богаче и интересней. Похоже, именно это ощущение лежало в основе его мироощущения. Возможно, именно оно и не позволило ему влюбиться.

— Слушай, кончай молоть эту хреновину про

«добрую сумасшедшую старушку», ладно? Я давно выросла. Я не твоя подружка для игр.

— Ну извини.

— Серьезно, Джонатан, мне бы действительно хотелось, чтобы ты…

— Чтобы я что?

— Не знаю. Ты всю жизнь собираешься оставаться мальчиком?

— А ты мне предлагаешь сделаться девочкой?

— Я предлагаю… Впрочем, не важно. Я действительно невыносимая сегодня. С самого утра.

— Позвони, пожалуйста, когда доедешь. Просто чтобы я не дергался.

— Хорошо. Конечно.

Какое-то время мы молча разглядывали окружающий пейзаж, как будто видели его впервые. Как будто мы только что вылезли из своей «уиннебаго» размять ноги и повосхищаться данным конкретным участком Национального парка.

— Господи, почему все так непросто? — воскликнула я.

— Бобби говорит, что мы живем в новом мире. Он говорит, что теперь можно все. Границы существуют только в нашем воображении.

— Это потому, что Бобби обманутый придурок. Говорю это в самом комплиментарном смысле.

Я заметила, что все еще держусь за рукав Джонатана. Когда я разжала пальцы ткань сохранила форму моей горсти.

— Пойду посмотрю, чего он там копается, — сказала я. — Надо ехать, а то мы попадем в час пик.

— Хорошо.

Джонатан, глубоко засунув руки в карманы брюк, остался ждать возле машины. Его светлые волосы поблескивали на солнце. Подойдя к крыльцу, я оглянулась, и он улыбнулся мне ироничной, сестринской улыбкой.

Когда я вошла в дом, Бобби с Ребеккой на руках спускался по лестнице.

— А я уже пошла тебя подгонять, — сказала я. — Пойми, если мы не проскочим Манхэттен до…

Он приложил палец к губам.

— Эрик спит, — прошептал он. — У него было сегодня трудное утро.

Я взяла у него Ребекку. У нее тоже было трудное утро.

— Я не хочу, — сказала она.

— Ты ничего не забыла? — прошептал Бобби.

— Нет. Машина забита под завязку. Попрощайся за меня с Эриком, хорошо?

— Хорошо.

— Я не хочу, — сказала Ребекка.

Бобби стоял на нижней ступеньке. Его живот немного натягивал футболку. Он выглядел таким невинным, таким добропорядочным. Мне хотелось поколотить его за то, что он такая размазня, такой бесхитростный, жизнерадостный простак. Я увидела его в старости: шаркающего в домашних шлепанцах; уверяющего, что санаторий просто замечательный. В пятницу давали шоколадный пудинг. Медсестру зовут Харриет, она показывала ему фотографии своих детей.

— Послушай, — сказала я. — У меня сумасшедшее предложение. Хочешь, поедем вместе?

— А?

— Только не откладывая. Просто побросай в сумку самое необходимое и поедем.

— Мне казалось, что твоя мать меня не очень-то одобряет. В смысле, нас.

— Плевать! Ты хочешь поехать со мной?

— А как же Эрик? — сказал он.

— Джонатан за ним поухаживает. Тебе не кажется, что ему пора брать на себя больше ответственности? Они прекрасно справятся вдвоем. Им будет хорошо вместе.

— Клэр, в чем дело? Что на тебя нашло?

Я прижала к себе Ребекку.

— Ничего, — сказала я. — Не важно. Я просто

«добрая сумасшедшая старушка».

Я вынесла Ребекку на улицу. Бобби вышел следом. Когда я усадила и пристегнула Ребекку ремнями, она начала выгибаться и хныкать. В конце концов езда убаюкает ее, но некоторое время она будет безутешна. Надо готовиться выслушивать вопли.

— Пока, мальчики, — сказала я.

— Нет, — сказала Ребекка со своего места. — Нет, нет, нет, нет, нет.

Они оба поцеловали меня и попросили быть осторожной. Они поцеловали Ребекку. Их нежность стала той самой последней каплей. Она просто зашлась от рева, на который настраивалась с самого завтрака.

— Пока, мисс Ребекка, — сказал Джонатан через окно. — Мы все равно тебя любим, хотя иногда ты и ведешь себя как настоящее чудовище. Желаю тебе хорошо провести время с твоей ужасной бабушкой.

— Счастливо, — сказала я.

Я дала задний ход и вырулила на дорогу. Я помахала мальчикам, и они помахали мне. Они стояли рядом перед полуразвалившимся домом. Когда я поехала, Джонатан вдруг бросился за машиной. В первый момент я подумала, что он хочет мне

что-то сказать, но потом поняла, что он просто решил пробежаться несколько метров, глупый и преданный, как пес. Он поравнялся с машиной и какое-то время трусил рядом, посылая воздушные поцелуи. Я опять помахала ему, в последний раз. Перед поворотом я поглядела в зеркало заднего вида и увидела их обоих, Джонатана и Бобби, посередине дороги. Они напоминали двух небрежно одетых битников из глухого, ничем не примечательного местечка. В солнечных очках, майках, с растрепавшимися от ветра волосами, они словно стояли на границе старого цикла: вот-вот раздастся взрыв, и от шестидесятых с их бурей любви, ненависти и несбывшихся надежд не останется и следа. Бобби положил руку на плечо Джонатана. Они оба махали.

Шоссе серебрилось под утренним солнцем. Погода для автомобильного путешествия была просто идеальной. Ребекка продолжала рыдать на заднем сиденье. Мили тикали под колесами. Я понимала, что нам будет нелегко. Я хорошо представляла не слишком уютную квартиру в каком-нибудь Сан-Франциско или Сиэтле с чужими людьми, скандалящими за стеной. И как я толкаю ее коляску, рыская по незнакомым улицам в поисках продуктового магазина. Поначалу наша

жизнь не будет казаться ей странной, но потом она вырастет и увидит, что другие девочки живут совсем не так. И тогда она начнет ненавидеть меня за то, что я одна, за то, что я старая и чудная, за то, что я не обеспечила ей задний дворик, игровую комнату и отца. Было мгновение, когда я чуть не повернула назад. Если бы не двойная желтая линия, я бы развернулась. Но в этом месте шоссе разворот был запрещен. И я продолжала мчаться вперед до тех пор, пока импульс не растворился в неуклонно увеличивающемся расстоянии. Я держала руки на руле и думала только о дороге, о мелькающих милях. Я поглядела на Ребекку. Мало-помалу она успокоилась и теперь начинала засыпать, но прежде чем ее глаза закрылись, она гневно взглянула на меня из-под съехавшей набок панамки и сказала всего одно слово: «мама». С явственно слышимым отчаяньем в голосе.

— Солнышко, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо, — сказала я. — А может, и нет.

Теперь я осталась один на один с этой любовью. Любовью, пронзающей насквозь, как рентгеновские лучи, любовью, не имеющей прямого отношения ни к милосердию, ни к доброте.

Простите меня, мальчики. Похоже, в конце концов я все-таки получила то, чего хотела. Соб-

ственного ребенка и дорогу. Может быть дом и ресторан это не так уж много, но это все, что я могу предложить вам взамен.

Я съехала с автострады и помчалась на запад.

Бобби

Белый серп луны скользит следом за нами по рыхлому голубоватому небу. Мы возвращаемся из продуктового магазина. Мы ездили все вместе: Эрик, Джонатан и я. Эрик последние дни — человек-призрак. Он то с нами, то где-то еще. Если бы я не сидел за рулем, то придержал бы его, чтобы он не выплыл из машины.

— Как он там? — спрашиваю я у Джонатана. Джонатан оглядывается.

— Эрик, все нормально?

Эрик молчит. У него приступ отсутствия. Кто знает, слышит ли он что-нибудь вообще, а если слышит, то что именно.

— По-моему, он ничего, — говорит Джонатан.

Я киваю. По обе стороны шоссе мелькают фермы. Коровы занимаются своими будничными коровьими делами, постоянными, как сама история.

Приехав домой, мы помогаем Эрику вылезти из

машины и забраться по ступенькам. Он улыбается старческой блаженно-недоуменной улыбкой. Может быть, ему приятно, что он снова дома. Может быть, он вспомнил игрушку, подаренную ему в четыре года. Мы идем на кухню выложить из сумок продукты.

— Может, сделаем ему ванну? — предлагаю я.

— Думаешь, она ему нужна? — спрашивает Джонатан.

— Думаю, он был бы рад.

Мы под руки ведем его наверх и включаем воду. От пара на белом щербатом кафеле вспыхивают искорки. Мы помогаем Эрику раздеться. Он не сопротивляется, но и не участвует. На его лице — особое, неподвижное выражение, застывший взгляд устремлен в одну точку. Но это не простая неподвижность, в ней есть отсвет немого удивления, словно он сам до конца не может поверить в открывшуюся ему пустоту. Это изумление без страха и любопытства. Это лицо новорожденного.

Раздев, мы сажаем его на крышку унитаза. Ванна наполняется очень медленно. Эрик сидит тихо и покорно, безжизненно свесив руки между коленями. Его ноги похожи на две бамбуковые палки. Джонатан гладит его по голове.

— Я включу музыку, — говорю я.

— Хорошо, — отвечает Джонатан. Он стоит рядом с Эриком, одной рукой поддерживая его за плечо, а другой продолжая ободряюще поглаживать его по волосам.

Я иду в спальню и включаю радио, настроенное на ретро-волну, музыку нашего детства. Ван Моррисон поет «Madame George».[55] Я прибавляю звук, чтобы было слышно в ванной.

Когда я возвращаюсь, Джонатан говорит:

— Это гениальная песня. Одна из моих любимых.

— Потанцуем? — предлагаю я.

Он растерянно смотрит на меня. Может, я шучу?

— Давай, — говорю я, протягивая руки. — Эрик не упадет. Верно, Эрик?

Эрик глядит на свои голые ступни. Джонатан осторожно снимает ладонь с его плеча. Эрик не опрокидывается. Джонатан подходит ко мне, и мы танцуем вальс. Наши ботинки цокают по кафелю. Я чувствую трепет его продолжающейся жизни. Это как ток, как сеть оголенных, проводов под кожей. Я бегаю пальцами по его позвоночни-

---

[55] Примечания: 55
«Мадам Джордж» *(англ.).*

ку. «Say good-bye to Madam George. Dry your eyes for Madam George»,[56] — поет Ван.

— Бобби! — говорит Джонатан.

— Угу?

— Нет, не важно. Я просто хотел сказать очередную глупость, вроде того, что «мне страшно». Естественно, страшно. Нам всем страшно.

— Угу. Ну, в смысле, наверное, страшно.

Мы танцуем, пока песня не кончается. Я был бы рад сказать, что Эрик улыбается или качает головой в такт. Было бы приятно думать, что, пусть таким скромным образом, он тоже с нами. Но в действительности он невесть где, погружен в созерцание дыры, становящейся все шире и шире. Перестав танцевать, мы помогаем ему забраться в ванну. Мы вместе с Джонатаном скребем его голову и тонкую шею, моем его впалую грудь и в углублениях под мышками. Улыбка бродит у него на лице; причина ли тому купание или что-то более частное — сказать трудно.

Потом мы укладываем его в постель. Дело близится к вечеру.

— Я смотаюсь в ресторан, — говорит Джонатан. — Сделаю перезаказ, хорошо?

---

[56] Примечания: 56

«Попрощайтесь с мадам Джордж, вытрите свои слезы» *(англ.).*

Я говорю ему, что займусь крышей.

Обычный день. Джонатан уезжает в город, а я приставляю лестницу и лезу наверх с пучком новых кедровых планок в руке. Они будут казаться такими сырыми и желтыми на фоне старых цвета кофе. Старая дранка, осыпанная сосновыми иглами, ломко похрустывает у меня под ногами и крошится под пальцами.

С крыши открывается даль. Я озираю наши скромные владения, поля и горы за ними. Красный кабриолет плывет по шоссе. В траве у крыльца валяется игрушка Ребекки — кукла Бэби Лу, с каменным восторгом глядящая в небо. Неужели Клэр просто забыла ее упаковать?

Меня охватывает ужас. Я знаю, что Клэр и Ребекка не вернутся. Наверное, нужно было что-то сказать до того, как они уехали, но я не решился: а вдруг бы Джонатан тоже уехал с ними? Я не могу позволить дому развалиться. Слишком много сил ушло на то, чтобы его построить. Мы с Джонатаном должны быть здесь. Клэр увезла Ребекку в мир живых, с его шумом, непредвиденностями и риском потерпеть неудачу. Возможно, она поступила правильно. Ребекка должна быть там. А мы — здесь, в этом тихом и менее требовательном месте. Я последовал в этот мир за своим братом,

да, в сущности, я никогда и не покидал его. На самом деле, нет.

Пора приниматься за работу — чинить крышу.

Ужас уходит.

Ребекка еще вернется сюда, и дом будет ее ждать. Он принадлежит ей. Это не много — изъеденное термитами деревянное строение, кое-как подновленное неопытными руками. Это не много, но это то, что есть сейчас, и то, что будет, когда ей исполнится двадцать. Я вижу ее с такой поразительной ясностью, как будто открыл окно в будущее. Я вижу женщину со светло-каштановыми волосами, отмеченную несомненной внутренней грацией и естественным, не нуждающимся в оправданиях умением держаться, хотя и не красавицу в общепринятом смысле этого слова. Я вижу, как она поднимается на крыльцо дома, доставшегося ей в наследство. Она не ждала этого и, в общем-то, не вполне представляет, что делать с этим непрошеным даром. На ней зимнее пальто, пар вырывается у нее изо рта, повисая в сверкающем воздухе. Это не какое-то значительное видение. Но оно отличается удивительной ясностью. Я вижу ее сапоги на дощатом полу, слышу сухое потрескивание ее волос на морозе. Я вижу, как она стоит перед домом, и отблеск

холодного света дрожит на ее подбородке. Я дотрагиваюсь до собственного подбородка. Потом опускаюсь на колени, чувствуя тяжесть своей нижней челюсти. Время идет, и я приступаю к работе. Молоток производит металлический музыкальный треск, разносящийся по всему дому. Я прибиваю одну планку, потом другую.

Ночью я просыпаюсь оттого, что кто-то дотрагивается до моих волос. Я открываю глаза и в полумраке спальни различаю над собой лицо Джонатана, так низко, что его дыхание щекочет мне щеку. Он прикладывает палец к губам и кивком головы показывает, чтобы я вышел с ним в коридор. Я выхожу. Горошины на его трусах белеют в темноте. Больше на нем ничего нет; я в трусах и майке. Он снова манит меня за собой и начинает спускаться по лестнице. Тени неровно пятнают его спину.

В гостиной он говорит:

— Извини, что разбудил посреди ночи. Но мне нужна твоя помощь в одном деле.

Я спрашиваю, что за дело. Он поднимает что-то со столика возле дивана. Мне требуется несколько секунд, чтобы сфокусировать зрение, — это шкатулка с прахом Неда. Держа шкатулку обеими руками, он идет к двери.

— Пошли, — говорит он.

Мы выходим на крыльцо и останавливаемся у перил, глядя в дрожащую черноту, как пассажиры на палубе океанского лайнера. В такие безлунные ночи мне кажется, что наш дом плывет — парит в космосе. Видны только звезды и трепещущие силуэты деревьев.

— Я решил, что нечего ждать, — говорит Джонатан. — Я вдруг понял, что это место ничем не хуже всех остальных.

— То есть ты хочешь развеять прах Неда прямо сейчас? Здесь?

— Да. И хочу, чтобы мы сделали это вместе.

— Мм… а ты не думаешь, что Элис бы тоже хотелось при этом присутствовать? Ну, в смысле, может быть, правильно было бы устроить, ну, типа какую-нибудь церемонию?

— Нет. Мать будет только рада, если я это сделаю без нее. В последнее время ей не до ритуалов.

— Ну…

— Пошли, — говорит он.

Он спускается с лестницы, и я иду за ним. Сойти на землю — все равно что выйти в открытый космос. Я испытываю что-то вроде состояния невесомости.

— Джон, — говорю я. — Джонни, может, все-та-

ки стоит подождать? Ты не будешь жалеть потом, что не устроил чего-то особенного?

— Я тебя не заставляю, — говорит он. — Я и сам справлюсь.

Он делает несколько шагов в направлении дороги, похожей сейчас на тусклое, расплывчатое пятно. Слышны пощелкивания и постанывания древесных лягушек. Семь сестер пульсируют над нашими головами — собранная в пучок маленькая звездная буря. Я иду за Джонатаном. Переходя дорогу, я вспоминаю, как когда-то давно бежал по кладбищу за своим братом, чтобы выпить за наше великое будущее. Джонатан продвигается вперед с торжественной, полуманиакальной целеустремленностью. Галактики взрываются над его головой, а он в одних трусах в горошек.

За дорогой — поле люцерны, которая, вздыхая, начинает тереться о наши голые ноги. Из дневного опыта я знаю, что за полем — кустарник и брошенный сарай, но все, что я вижу сейчас, это океан люцерны. Не останавливаясь, Джонатан говорит:

— Просто я понял, что нелепо хранить этот прах в ожидании какого-то идеального дома. По-моему, место вполне подходящее. Вот это поле. Я даже не знаю, кому оно принадлежит. А ты?

— Тоже не знаю.

— Эх, Бобби. Мне хотелось быть частью чего-то вечного, какого-то бессмертного целого.

— Так оно и есть.

— Нет. Мне тоже раньше так казалось, но на самом деле это не так.

— Джон! — говорю я. — Джонни!

Он ждет, что я скажу что-то еще, но я замолкаю. Я не могу выговорить того, что знаю: наши привязанности лежат за пределами этого мира живых. Вот что в действительности отделяет нас от Клэр и всех остальных. Вот что удерживает нас вместе, хотя, по идее, мы давно должны были бы вырасти и расстаться.

Подождав какое-то время, он говорит:

— В общем, я думаю, пора с этим кончать. Прямо сейчас. Вот здесь. Мне кажется, это хорошее место.

Мы так далеко зашли в поле, что дом и дорога остались за пологом темноты. Вокруг одна люцерна. Стрекочут сверчки, комары вьются над нашими головами, не смея поверить в свою удачу. Мы останавливаемся в звенящем звездном мраке на краю света.

— Здесь такая хитрая защелка, — говорит он. — Сейчас, минутку. Вот.

Он ставит шкатулку на землю.

— В это трудно поверить, — говорит он. — Отец носил меня на плечах. Однажды он защекотал меня до того, что я написал в штаны. Я до сих пор помню, как ему было плохо, когда он заболел. Я помню его растерянность и что-то вроде возмущения.

— Может быть, ты хочешь типа сказать несколько слов?

— А я, в общем-то, уже их сказал. Послушай, давай сделаем это одновременно.

— Хорошо. Как скажешь.

Мы нагибаемся.

— Я считаю до трех, — говорит он. — Раз, два, три.

Мы запускаем руки в шкатулку. Там еще пластиковый пакет, мы раздвигаем его и просовываем пальцы внутрь. На ощупь прах Неда сажисто-бархатистый. Попадаются мелкие кусочки костей. Джонатан делает глубокий вздох.

— Уф, — говорит он. — Так. Самое трудное позади. У тебя что-нибудь есть?

— Да.

Мы стоим с полными горстями пепла и кусочков костей.

— Она права, — говорит Джонатан. — Это имеет

к нему такое же отношение, как пара поношенных ботинок. Ладно. Начали.

Мы молча раскидываем прах по полю. Мы ходим неширокими кругами. Слишком темно, поэтому не видно, как он падает. Он просто исчезает из ладони. Звук, если он вообще издает при падении какой-то звук, тонет в стрекоте насекомых и шелесте люцерны.

Мы снова и снова подходим к шкатулке. Мы молчим, пока пепел не кончается.

— Ну вот, — говорит Джонатан. — Папа, я сделал это. Лучшего места я найти не смог.

Он поднимает шкатулку, и мы снова бредем в темноте в сторону дома. По крайней мере, нам хотелось бы в это верить. Разбрасывая прах, мы сбились с курса и поэтому немного промахиваемся. Мы выбираемся на дорогу метров за пятьсот от дома, немало удивив, наверное, водителя промчавшегося «вольво»: двое мужчин ночью в одном белье шагают по загородному шоссе с пустой коробкой в руках — такое не часто увидишь.

— Бобби! — говорит Джонатан.

— Что?

— Знаешь, почему я решил сделать это сейчас?

— Нет.

— Когда Клэр с Ребеккой уехали, я понял, что не хочу, чтобы они возвращались в дом, где наверху мучается Эрик, а на полке в гостиной стоит шкатулка с прахом моего отца. Мне вдруг показалось, что в нашем доме слишком много смерти. И я решил: хватит. Зачем, собственно, его хранить?

— Да в общем-то незачем.

— Я хочу перекрасить комнату Ребекки, — говорит он. — Она какая-то слишком тусклая. Может быть, завтра после работы. В какой-нибудь яркий цвет, чтобы она, знаешь, запрыгала от восторга. Скажем, в ярко-розовый. Никогда не подозревал, что у детей такой чудовищный вкус.

Я слышу его дыхание. Его кожа чуть светится в слабом дрожащем свете звезд. Несколько минут мы шагаем в молчании.

— Послушай, — говорит он.

— Да?

— Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы мой прах тоже развеяли здесь. Передай это, пожалуйста, матери. Скажи, что такова была моя последняя воля. Господи, если то, что останется от меня, тоже развеют здесь, рядом с отцом, куда же деваться матери после смерти?

— Ее тоже можно похоронить здесь.

— Верно. Она всегда жила не там, где хотела.

Почему же после смерти все должно измениться, да?

— Наверное. В смысле, мне кажется, что мы все как-то связаны с этим местом.

— А что, если это правда? — говорит Джонатан. — Вот это было бы да.

Больше до самого дома мы не произносим ни слова. Слишком много есть чего сказать. Мы одолеваем последний короткий участок дороги. Я чувствую, как из темноты за нами следят невидимые полевые зверьки. Это похоже на сон, один из детских снов о публичном конфузе — шагать вот так по шоссе в нижнем белье. Но в этом теперешнем сне я не испытываю никакой неловкости. Я просто иду по загородной дороге, обдуваемый темным ветром. В карликовом мире муравьев и неуклюжих бронированных жуков смешивается с землей прах Неда. Эрик спит своим неверным сном, запутанно расцвеченным сновидениями. Мир красив, но его красота жестче, чем представлялось. Она так же не похожа на осеннюю ферму на обоях в гостиной моего прежнего дома, как кость — на мужчину и женщину. Где-то в пределах этого континента, в мотеле или в гостиной у подруги, спят Клэр с Ребеккой. Когда впереди возникает голубоватый абрис дома, я вспоминаю,

что дом — это тоже способ бегства. Он наш, он дан нам, чтобы мы могли уходить и возвращаться.

Сейчас достаточно темно, чтобы можно было различить будущее: холодные рассветы, длинные ночи, музыку днем. Мы с Джонатаном не должны позволить дому развалиться, мы обязаны сохранить его в таком виде, чтобы люди могли вернуться сюда, когда их грядущее окончательно истощится. Наш собственный путь был довольно извилистым. Мы выходим на подъездную дорожку, и вдруг я вижу, как в окне спальни шевельнулась занавеска. Господи, неужели Клэр вернулась? Я хватаю Джонатана за плечо.

— Что? — спрашивает он. — Что такое?

— Ничего. Нет. Не важно.

Я уже успел опомниться. Клэр не вернулась. Это просто сквозняк. Или дух дома слегка встревоженный нашим ночным отсутствием, но слишком дряхлый для того чтобы всерьез интересоваться делами, рождающимися в зазоре между нашей воображаемой и реальной жизнью.

Джонатан

Однажды в апреле, за несколько месяцев до смерти Эрика, мы с Бобби повезли его на лесной

пруд. Проехав миль десять, мы затормозили перед блюдцем мерцающей черной воды, опоясанной соснами. В это время года там не было ни одного человека.

— Открываем купальный сезон, — заявил Бобби, когда мы вылезли из машины. — Это наша традиция.

— Красиво, — сказал Эрик.

Он совсем ссохся к тому времени. Ему было больно ходить, и у него появились проблемы с вестибулярным аппаратом — болезнь сжигала его даже быстрее, чем это обычно бывает. У него изменилось лицо: глаза увеличились, а челюсть стала казаться квадратнее — я подозревал, что начинала проступать форма черепа.

— Мы не были здесь с прошлого лета, — сказал я.

Мы с Бобби помогли Эрику справиться с коротким спуском, ведущим к серповидной полоске земли, усыпанной сосновыми иголками, — местному пляжу. Вода была почти неестественно неподвижной — было еще слишком рано и для пчел, и для стрекоз, и для отражений листвы. Меньше месяца назад в тени еще лежал снег. Сейчас древесные стволы были мокрыми и блестящими, как звериный мех, а солнце — теплым,

хотя все еще по-зимнему белым и словно стесняющимся той радужности которую приобретет ближе к маю. Через весь пруд тянулось отражение одного-единственного сигаровидного облака. Мы стояли на узкой полосе пляжа, и Бобби швырнул плоский камешек, запрыгавший по гладкой и безжизненной, как сланец, поверхности пруда.

— Вы летом ездите сюда купаться? — спросил Эрик.

— Мм… — сказал я. — Летом тут слишком много народу, местный Кони-Айленд. Дети, собаки, восьмидесятилетние старики и старухи, плавающие в чем мать родила. В общем, паноптикум.

Он многозначительно кивнул. Я сразу же пожалел, что поддержал разговор о будущем лете, которого он, возможно, не увидит. Я так и не освоился до конца с особыми правилами вежливости, действующими при общении с больными. Это как принимать у себя обедневшего родственника, при том что твое собственное дело продолжает приносить доход. Лишь на фоне чужого неблагополучия начинаешь понимать, сколь сильно твой достаток определяет все, что ты делаешь и говоришь.

— Ну что? Будем купаться? — спросил Эрик.

— Холодно, — сказал Бобби.

— Но вы же сами говорили: открытие купального сезона — традиция.

— Фигура речи, — сказал я. — Мы просто приехали засвидетельствовать свое почтение. Нужно подождать еще хотя бы месяц, пока прогреется.

Эрик, конечно, говорил не вполне серьезно, но и не вполне в шутку, я почувствовал это по его тону. Он не мог доверять смене сезонов — не исключено, что к тому времени, как потеплеет, он вообще уже не сможет ходить. И даже если бы физически он был еще на это способен, ему вряд ли бы захотелось демонстрировать свое скомпрометированное тело толпам незнакомцев, наезжающих сюда с приходом тепла.

— Ты действительно хочешь искупаться? — спросил я его.

— Да.

В его голосе прозвучало ребяческое упрямство.

— Отличный способ заработать пневмонию, — сказал Бобби.

— Ладно, — сказал я. — Давайте! Вода нормальная. Лед растаял уже недели три назад.

— Ты что, с ума сошел? — сказал Бобби.

— Это точно. Давай, Эрик. Давай окунемся.

— Ни в коем случае, — сказал Бобби. — Еще слишком холодно.

Я начал раздеваться. Эрик тоже. Мы не были ни изящны, ни привлекательны в нижнем белье — ничего сексуального в этом не было. А если что и было, то так глубоко, как у каких-нибудь спортсменов перед игрой, когда восхищение собственным телом настолько безгранично, что включает в себя и другие тела просто потому, что они оказались поблизости и, в общем-то, довольно похожи. Пока Бобби информировал нас о плачевном состоянии нашего рассудка, мы стаскивали с себя куртки и башмаки, бросая все прямо на землю. Наконец мы разделись догола, чувствуя кожей белое солнечное тепло. Тогда Бобби тоже начал раздеваться, как бы решив, что не может не участвовать в безумии, которое не в силах предотвратить.

Пока Бобби вылезал из своей одежды, мы с Эриком, голые, стояли рядом, глядя на воду. У нас не хватало смелости взглянуть друг на друга, но я и так видел достаточно боковым зрением. Его руки и ноги с припухшими шишковатыми суставами были сплошь усеяны мелкой красной сыпью. На груди и животе тоже были пятна, похожие на невыводимые следы старой татуировки. Я испытал отвращение — даже не от самого его изменившегося тела как такового, а от явных

признаков болезни. В джинсах и свитерах он выглядел просто нездоровым человеком; голым — казался как бы самой болезнью, целиком вытеснившей человеческую составляющую и заместившей ее чем-то еще.

Я взял его за руку, чтобы защитить нас обоих. И, делая это, совпал со своим жестом. Я вдруг почувствовал его, испуганного и так же плохо готового к смерти, как и я, окажись я на его месте. Мое лицо горело.

— Готов? — спросил я.

— Да.

Мы вместе вошли в воду, между тем как Бобби все еще возился с джинсами. В первую секунду показалось, что вода почти теплая, но это был только тонкий поверхностный слой сантиметра в два-три, а под ним — убийственный холод.

— Ого, — воскликнул Эрик, когда вода покрыла его лодыжки.

— Может быть, все-таки не стоит, — сказал я. — То есть, может быть, действительно тебе это не слишком полезно.

— Стоит, — сказал он. — Просто давай потихонечку. Мне хочется, ну просто хочется.

— Хорошо, — сказал я.

Я продолжал держать его за руку. Впервые в

жизни я ощутил свою близость с ним, хотя знал его много лет и сотни раз занимался с ним любовью. Мы осторожно прошаркали по дну еще чуть вперед. Прикосновение воды к каждому новому участку кожи было мучительным. Песок под ногами напоминал гранулированный лед. К нам прошлепал Бобби.

— Сумасшествие, — сказал он. — Бред. Эрик, даю тебе две минуты и вытаскиваю.

Он не шутил. В случае чего он бы и вправду просто сгреб Эрика в охапку и выволок на пляж. Вытаскивать дураков из ледяной воды стало его профессиональным занятием еще с детства.

Но две минуты у нас все-таки было, и мы продвинулись еще на несколько шагов вперед. Вода была абсолютно прозрачной: солнечная паутина оплела наши голые ступни, стайки мальков метнулись в разные стороны — самих рыбок было не видно, только их тени скользнули по дну. Я посмотрел на Бобби. Он был большим и кряжистым, как пароход, — в отличие от Эрика время укрупнило его. У него теперь был широкий выпирающий живот, а маленький островок волос на груди потемнел и разросся, пустив вьющиеся усики к плечам и вниз по спине. Сам я лысел — граница волос на лбу за последние десять лет

уехала вверх минимум сантиметров на пять. На макушке прощупывался жестковатый участок кожи, где волосы тоже изрядно поредели.

— Хорошо, — сказал Эрик, — в смысле, приятное ощущение.

Ничего приятного на самом деле не было, это была настоящая пытка. Но мне показалось, что я его понял: это было сильное ощущение, пришедшее к нему не изнутри, а извне. Он прощался с определенным видом боли.

— Ты дрожишь, — сказал Бобби.

— Сейчас. Еще минута, и выйдем.

— Хорошо. Ровно одна минута.

Мы стояли в воде, глядя на безупречно ровную линию деревьев на противоположном берегу. Вот, собственно, и все. Мы с Бобби привезли Эрика на пруд, где он — как оказалось, в последний раз — искупался. При этом мы так и не смогли зайти в воду глубже чем по колено. Но пока я стоял в этом пруду, со мной что-то произошло. Я не уверен, что смогу это объяснить. Что-то оборвалось. До этого дня я жил будущим, постоянным ожиданием чего-то, что только должно наступить, и вдруг, когда я, голый, стоял рядом с Бобби и Эриком в блюдце ледяной воды, это кончилось. Мой отец умер, не исключено, что и я умирал. У матери бы-

ла новая прическа, собственное дело и молодой любовник — новая жизнь, устраивающая ее значительно больше прежней. Я не был физическим отцом Ребекки, но я любил ее как родную дочь — этот опыт у меня был. Я бы не сказал, что я был счастлив. Дело обстояло несколько сложнее. Но, может быть, впервые за всю свою взрослую жизнь я был здесь и сейчас. В самом этом моменте не было ничего исключительного. Но я пережил его, пережил всем своим существом. Я был полон им. Даже смерть не смогла бы уничтожить то, что я испытал тогда, — невыдуманную связь с собственной жизнью, с ее ошибками и кособокими свершениями. Вот эту возможность быть одним из трех обнаженных людей, стоящих в неглубокой чистой воде. Теперь я не мог бы умереть несостоявшимся, потому что я был здесь, здесь и нигде больше. Я молчал. Бобби объявил, что минута истекла, и мы повели Эрика к берегу.